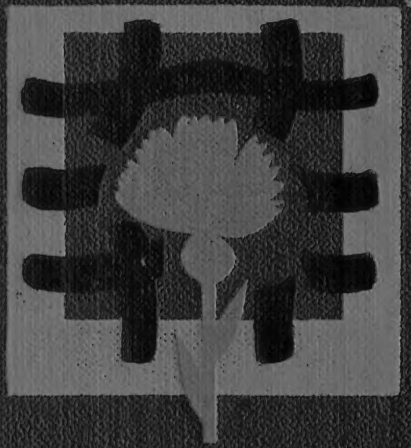
НИКОЛАЙ КОЛЯДЬЕВ



ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ

Документальная повесть о Германе Лопатине

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ

ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ

ЛЕНИЗДАТ . 1975 .

9(С)16
К64

Книга посвящена жизни выдающегося русского революционера, талантливого публициста, поэта и переводчика — Германа Александровича Лопатина (1845—1918).

Используя опубликованные и архивные материалы, автор создает яркий образ героя-революционера, обладавшего безудержно-дерзкой отвагой, беспримерным мужеством и стойкостью. Смело и расчетливо Герман Лопатин организовал побег из ссылки Петра Лаврова и предпринял героическую попытку освободить из каторги Н. Г. Чернышевского. Лопатин несколько раз арестовывался царскими жандармами и совершил пять побегов на волю.

В книге показана длительная, плодотворная дружба члена Генерального Совета I Интернационала Германа Лопатина с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, которые называли его — «наш общий друг». В повести рассказывается также о других многочисленных друзьях и соратниках Германа Лопатина и печатаются их редкие фотографии.

Писатель Николай Кондратьев — автор ряда книг о героях гражданской войны и большевиках-ленинцах. В нашем издательстве вышла его книга «Идем за Лениным» (1969 г.).

К $\frac{10604-077}{М171(03)-74}$ 92—74

© Лениздат, 1974

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

А. С. Пушкин. К Чаадаеву

Известия, которые Вы сообщили о нашем *общем друге,* очень обрадовали меня и мою семью. Немногих людей я так люблю и уважаю, как его.

К. Маркс о Германе Лопатине
(Из письма Н. Ф. Даниельсону
28 мая 1872 г.)

ПИТОМЕЦ УНИВЕРСИТЕТА

1

20 декабря 1865 года в час пополудни преподаватель физики Р. Э. Ленц вошел в первую аудиторию Императорского Санкт-Петербургского университета. Небрежно кивнув собравшимся, молодой доцент направился к кафедре. Навстречу ему поднялся студент четвертого курса естественного отделения физико-математического факультета Герман

Лопатин и вздрагивающим от волнения голосом громко произнес:

— Милостивый государь! Мы не желаем вас слушать. Вы скверно читаете лекции. Извольте оставить аудиторию.

Ленц посмотрел на гневное лицо юноши, недоуменно пожал плечами:

— Позвольте! Какая неслыханная выходка! Если *вы* не желаете... так и покиньте. Я вас не задерживаю.

— Вы — дурной преподаватель, сударь. *Мы* не хотим вас слушать.

— Не вам судить, молодой человек, — усмехнулся Ленц, подошел к кафедре и положил бумаги.

— Долой! Убирайтесь домой! Вон! — Крики, свист, топот со всех сторон рассердили Ленца. Он пригрозил:

— Вы еще пожалеете! — и вышел из аудитории.

К Лопатину подошел его друг Сергей Неклюдов, пожал руку:

— Победа! Изгнали презренного...

— Погоди. Сейчас явится с местными жандармами.

— Выставим!

Не прошло и минуты, как снова вошел Ленц, привычно кивнул головой и не спеша подошел к кафедре.

— Какая наглость! Вон! Не хотим слушать фискала! — закричали, засвистели студенты.

Дверь распахнулась. В аудиторию влетел инспектор студентов Озерецкий:

— Тихо! Что здесь происходит? Бунт!

— Вон Зверецкого! Долой доносчика! Изыди, жандарм!

— Ах, вот вы как! — побледнел Озерецкий, пристально осмотрел кричащих, ткнул длинным трясущимся пальцем в грудь Неклюдова и угрожающе громко приказал:

— Пойдемте со мной... В сборную комнату.

Сергей Неклюдов поклонился:

— Охотно следую за вами, господин инспектор.

Еще не закрылась дверь за Озерецким, как Герман Лопатин широко, призывно махнул рукой:

— Пошли и мы в сборную. Выручим товарища.

В аудитории осталась ничтожная горстка «тихих». Прошелестели листы тетрадей. Заикаясь и оглядываясь на дверь, Ленц начал лекцию.

А «шумные», во главе с Германом Лопатиным, толпой ввалились в сборную комнату.

Инспектор Озерецкий, словно отталкивая вошедших, выставил узкую, иссеченную морщинами ладошку:

— Куда вы? Я вас сюда не вызывал.

— Господин инспектор, не считайте виновным одного Неклюдова. Прислушайтесь к голосу справедливости, — попросил Герман Лопатин.

— Все шумели. Все и отвечать будем. Дело общее, — поддержали Германа товарищи.

— Все мне сейчас не нужны. Отвечать будут только зачинщики. Не мешайте, уходите немедленно...

В открытую сборную комнату незаметно вошел ректор университета А. А. Воскресенский. Его гневный вопрос: «Что здесь происходит?» — вызвал замешательство. Некоторые из «шумных» юркнули за дверь.

— Неклюдов, расскажите, что случилось?

С трудом преодолев волнение, Сергей Неклюдов довольно толково, подробно рассказал о происшествии в первой аудитории.

Ректор подошел к Озерецкому, тихо спросил:

— Доцент Ленц читает лекцию?

— Читает, но при ограниченном числе слушателей.

— Значит, лекция все же состоялась. Это хорошо. Наведите должный порядок. Всех крикунов выдворить из университета.

Ректор ушел.

В сборной комнате остались два студента: Сергей Неклюдов и Герман Лопатин.

Озерецкий выписал столбиком вопросы и протянул листок Лопатину:

— Извольте ответить правдиво и обстоятельно.

Сергею Неклюдову выдал чистый лист:

— А вы напишите объяснение своего поведения в первой аудитории. Я не буду вам мешать, господа. И дверь закрою, чтобы вас не отвлекать.

Звонко щелкнул ключ.

— «Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети!» — с грустной усмешкой продекламировал Неклюдов. — Боится, что улечу.

— Неподходящий эпиграф, Сережа. Все надо во множественном числе.

— Ни в коем случае! Инспектор слышал, как я кричал: «Вон Зверецкого!» Сейчас строчит на меня донос. И судить будут меня одного. И выгонят одного меня.

— А я думаю, что суда не будет. Заметил, как ректор обрадовался, что лекция Ленца все-таки состоялась. Им выгоднее замять дело, не выносить за стены университета. Ограничатся строгим внушением или предупреждением.

— Надо готовиться к худшему. И все же на университетском суде у меня будут два бесспорных преимущества: я окончил гимназию с золотой медалью и за три курса университета имею только отличные оценки. Думаю, что и роль юного раскаявшегося грешника сыграть удастся.

— Может, ты и прав. Ну что же, чем могу — помогу! Если дело дойдет до суда, готов быть свидетелем.

— Согласен. А теперь садись к столу и отвечай на вопросы.

— А ты когда будешь сочинять объяснение?

— Мне нужно узнать, что напишет Зверецкий. О черт, как привязалась твоя выдумка к инспектору! Не дай бог при начальстве ляпнуть.

— Да. А Зверь-ецкий что-то к нам не спешит. Может, за жандармом пошел. Или остальных зачинщиков ловит. Любавин, наверное, улизнул, а вот Буняковский где-нибудь здесь: любит поболтать. Ну что же, будем пока отвечать на вопросы. Первый — пустяшный: «Какого курса?» Пометим: «Четвертого, естественного отделения». И второй нетрудный: «Экзамены по физической географии сдали?» Вестимо: «Сдал». А вот третий.. «Для чего посещали лекцию Ленца, если знали, что будут беспорядки?»

— Ого! И крючок и червячок — попадайся судачок. Не спеши, Герман. Здесь нужна святая ложь.

— Вот именно. Самая святая. Она будет выглядеть так: «Из любопытства, как пробную лекцию. О беспорядке узнал уже на месте. До двадцатого числа не посещал университет по случаю болезни. О предстоящих беспорядках ничего не знал».

Перечел, поморщился:

— Не очень складно получилось, но логично. И четвертый вопрос с подвохом: «Для чего были в сборной комнате вместе с вышедшими из аудитории студентами?» Ну что ж, придется выкладывать сущую правду: «Интересуясь историей Неклюдова».

— Слишком лаконично. И неубедительно, Герман. А впрочем, ничего иного и не придумаешь.

— А мы сделаем примечание: «Сохраняю за собой право представить более подробные объяснения».

— Это право они за тобой охотно сохранят.

— А ведь это похоже на арест, Сергей. Сколько он нас еще будет держать под замком? Уже стемнело, а у меня сегодня свидание назначено.

— С невестой?

— Зачем мне невеста, когда милые вдовушки сами приглашают. Однако сегодня, кажется, ничего не получится.

— А я билет купил в Мариинский театр на представление «Хоть шуба овечья, да душа человечья». Собирался на комедию, а попал на драму. Черт бы побрал этого окаянного Ленца...

— Удивительное убожество. Полнейшее отсутствие самолюбия. Ему в глаза говоришь: «Вы дурной преподаватель, сударь», а он лишь сопит да на кафедру лезет. Вот уж не в отца пошел. Мне довелось слушать лекции по физике академика Эмилия Христиановича Ленца и экзамены ему сдавать. Выдающийся...

— Тихо, Герман. За дверью кто-то копошится. Похоже — подслушивает.

Помолчали.

Лопатин встал и тихонько зашагал к двери.

Щелкнул ключ. Вошел инспектор Озерецкий. Сказал:

— Я нарочито задержался. Предоставил вам возможность все обдумать, обсудить, наметить единую линию поведения.

Зажег настольную лампу, повернулся к Герману:

— Позвольте ваше показание, господин Лопатин.

Быстро прочел:

— Почерк мелкий, но четкий. Не буду больше задерживать. А вы, Неклюдов, написали объяснение?

— Не успел. Темно. К тому же я прошу вас, господин инспектор, если это только возможно, ознакомить меня с вашим донесением в правление Императорского Санкт-Петербургского университета. Это значительно облегчило бы мою труднейшую задачу...

— Вы сами придумали себе эту труднейшую задачу. Я собирался писать донесение, получив ваше объясне-

ше. Ладно. Приходите завтра сюда до занятий. Я весьма уважаю вашего батюшку Михаила Михайловича и посему уступаю вашей просьбе...

2

...Проводив до самого дома Неклюдова и условившись о встрече рано утром в университете, Герман Лопатин пошел к Фонтанке. Не спешил. Торопиться некуда. Надо все обдумать. Герман любил шумный, нарядный, богатый Невский проспект, но сегодня решил обойти его стороной.

Стояла морозная погода, но снега на улицах и в скверах не было. И как-то не верилось, что через три дня начнутся праздники рождества Христова. Наступят долгожданные, радостные рождественские каникулы. Только сегодня нет радости, а может, и каникул не будет. Завтра соберется университетский суд и за нарушение правил постановит: исключить с лишением права на поступление. Так было в феврале прошлого года, когда власти подавили так называемое «малое волнение», длившееся от понедельника 17-го до понедельника 24 февраля. Студентами затевался публичный суд над вором и шпионом Колькой Новопашенным. На подоконниках появились объявления, написанные крупными печатными буквами: «В ПОНЕДЕЛЬНИК СХОДКА В 12 ЧАСОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ. ПРОСЯТ БЫТЬ ВСЕХ ЧЕСТНЫХ СТУДЕНТОВ». Сходка не состоялась. В субботу 22 февраля инспектор Озерецкий, при помощи Новопашенного и его дружков, выявил всех зачинщиков, написал донесение, и университетский суд «уволил за принесенные объявления о сходке» студентов Николая Макарова, Александра Евдокимова, Виктора

Лупина, Александра Никольского, Николая Юренева, Николая Долгова и Николая Карамышева.

Заодно пришлось «уволить» замешанного в неблаговидных поступках тайного агента полиции Новопашенного.

Запомнилось как-то вдруг осунувшееся, бледное лицо Николая Макарова и его слова: «Все пропало. Домой не вернусь. У меня отец такой крутой на руку — убьет».

Пробовал утешать друга — не получилось. Слова были какие-то незначительные, жалкие, да и место неподходящее. Только спросил: «А куда теперь, Коля?» Тот усмехнулся: «С четвертого курса — на завод. Мальчиком на побегушках. Может, и выбьюсь в мастеровые. И никому из родни писать не буду. Считай, осиротел. Умер я для них. Понял — умер».

Чужую беду понять можно. А как быть, что делать, когда своя пришла, точно такая же, и надо решать: куда идти, кем быть, сообщать ли об «увольнении» родителям или поступать так, как поступил Николай Макаров, — осиротеть, отказаться от матери и отца, сестер и братьев? Страшно. Жестоко. Невозможно. Не хочется даже и думать. Надо все скрывать. Нагло лгать. Вот сейчас добрейший дядюшка, Алексей Никонович, прищурив зоркие глаза, строго спросит: «Чего это так поздно, Герман? Где изволил пропадать?» Можно сказать, что задержался в императорской Публичной библиотеке, но она закрывается в девять часов вечера, точнее полдевятого, а сейчас, наверное, уже одиннадцать. Ходьбы от нее до дома десять минут. Неладно получится. Соврать — гулял по Невскому, ходил по магазинам? Ерунда! Кто же гуляет семь часов подряд? Да и зачем бродить по магазинам, если нет денег и купить ничего не можешь? Что еще придумать? Зашел в гости к другу Николаю Любавину? Значит — сыт, а есть очень хочется. Как трудно врать, если с пеленок учили, а потом

и требовали: «Говори только правду, сынок. Никогда не лги». Так и было до сегодняшнего дня. Что же сказать дяде? Как его успокоить? А может, сознаться? Нельзя. Надворный советник Алексей Никонович Лопатин служит в медицинском управлении Министерства государственных имуществ. Всеми уважаемый человек. Побоится, да и не потерпит такого позора — выгонит на улицу...

Большой кирпичный пятиэтажный дом № 102 по Фонтанке (известный, как дом Тарасова) мирно спал. Герман быстро поднялся на третий этаж, тихонько постучал в дверь 18-й квартиры. Открыла кухарка. Спросил:

— Алексей Никонович спит?

— Почивает. А супруга недавно улеглись.

— Вот и хорошо. Я тоже сейчас лягу.

— Молоко и хлеб на столе в кухне.

— Спасибо, Аннушка.

Герман на цыпочках прошел на кухню. Поужинал. И так же тихо лег в постель. Гнетущее чувство неопределенности чуть-чуть притупилось. Объяснение с дядюшкой, точнее, с надворным советником Алексеем Никоновичем Лопатиным, переносится на завтрашний вечер. К этому времени кое-что прояснится в окаянной ленцевской истории. Будет известно, что написал в донесении инспектор Озерецкий и кого предадут университетскому суду. Ясно, что одним Неклюдовым не обойдутся. И надо прямо смотреть в глаза горькой правде — все собравшиеся в первой аудитории видели Германа Лопатина и слышали его слова: «Милостивый государь! Мы не желаем вас слушать. Вы скверно читаете лекции. Извольте оставить аудиторию». Конечно, Ленц запомнил и лицо и эти обиднейшие слова. Фамилию может узнать у тех, что остались до конца на его пробной лекции. А если сын знаменитого ученого даже не

пожелает копаться в этой неприятной для него истории — найдутся среди студентов добровольные фискалы-доносчики и сообщат Озерецкому, кто выступил первым против доцента Ленца. И не только фискалы, но и прямые последователи Кольки Новопашенного — платные агенты III отделения собственной его императорского величества канцелярии. И они донесут своим хозяевам о новом волнении студентов в университете и назовут зачинщиков.

...Это предположение Германа Лопатина оказалось правильным. Вечером 21 декабря в III отделение поступило агентурное донесение. В нем говорилось:

«В понедельник в университете читал пробную лекцию преподаватель физики в технологическом институте доцент Ленц (сын известного, недавно умершего профессора). Ленца этого студенты считают дурным преподавателем своего предмета и потому решили на первой его лекции объявить ему, что его слушать не будут. Для объявления этого избраны были студенты естественного факультета *Лопатин* и *Неклюдов,* и первый из них тотчас же по входе Ленца в аудиторию исполнил задуманное. Но когда Ленц продолжал читать, то студенты начали шикать и свистать, так что он должен был оставить аудиторию, в которую, однако ж, вскоре возвратился...

Вскоре за сим вошел инспектор *Озерецкий.* Неклюдов объявил инспектору, что его в аудиторию не требовали. Вследствие сего Лопатин и Неклюдов были арестованы, а Ленц дочитал лекцию при весьма ограниченном числе слушателей» [1].

Агент, неизвестный студент, «был на лекции по юридическому факультету», но, как он сообщал, «успел выйти и быть свидетелем конца шума. Быв после того постоянно окружен товарищами, из которых некоторые отправились к нему на дом, он только вечером мог со-

общить подробности о происшествии». Одна из таких подробностей явно не соответствует действительности: Лопатин и Неклюдов не были арестованы 20 декабря. В деле «О принятии деятельных мер к прекращению беспорядков в университете между студентами» сохранились объяснения, написанные Сергеем Неклюдовым и Германом Лопатиным 21 декабря в университете, да и в донесении инспектора Озерецкого, очень пунктуального в подобных вопросах, ничего об аресте этих студентов не говорится. Не подтверждают факт ареста и материалы университетского суда.

...Всю ночь Герман Лопатин не мог уснуть. Он думал о том, как встретят весть об его исключении из университета отец, мать, братья и сестры. Дядюшка сообщит им эту грустную новость. А если он промедлит или не захочет огорчать родителей, непременно напишет приятельница отца Александра Осиповна Ишимова. Это она в свое время долго и упорно уговаривала милейшего (по ее определению) Александра Никоновича не отдавать сына в университет. Об этом разговоре Герман сообщил сестре Ольге 6 июня 1862 года: «Я боюсь, чтобы отец не увез меня назад. Старая боговдохновенная дева Ишимова имела с отцом на лестнице долгий разговор, из которого я только расслышал: „Отдать его в здешний университет — значит проститься с его нравственностью"».

В этом же письме обещал: подробнее «об Ишимовой расскажу позже». И 16 августа 1862 года сдержал слово:

«Об Ишимовой. Сердце у этой женщины давно высохло; все особенности личного характера повыдохлись, молодость она ненавидит от всей души; всякое свободное движение готова подавить, преследовать из всех сил. Посадите ее на трон, и она затмит славу Николая»[2].

И сейчас Герман представлял, с каким торжеством дочь надворного советника, гордящаяся своей полезной деятельностью в Комитете главного попечительства детских приютов, Александра Осиповна Ишимова сообщит в Ставрополь, что ее опасения подтвердились, университет развратил Германа и он потерял самое ценное — нравственность. И не дай бог, если отцу попадется на глаза письмо, в котором сын его дал резкую характеристику госпоже Ишимовой. Ведь милая Оленька любит братца и письма его свято хранит, хотя немало кощунственного в его посланиях старшей сестре. И если сочинителя их арестуют, жандармы учинят и в Ставрополе обыск и найдут в письмах важные улики. Если вспомнить... Вспомнить...

О столичных пожарах писал? Да, 6 июня 1862 года: «Петербург находится теперь в возбужденном состоянии: на Троицу были страшные пожары, выгорели: Щукин двор, Апраксин двор, Охта, Грязная, Болотная и прочие. Виною их поджог...

Школы закрыты. Вся полиция на ногах, схватывают всякого подозрительного человека. Некоторые находят выгоду распускать в народе мысль, что виновники поджогов — студенты. Ожесточенный разорительными пожарами народ, не понимая разницы между социалистами и учеными вообще, т. е. студентами, злится на них. Выйти со двора такой риск, что никто не решается на него. Даже студенты медицинской академии не носят формы, хотя она и не отменена у них...

На улицах же никто не говорит ничего, да и дома опасаются. Полиция уж очень бдительна. Дворники караулят дома день и ночь, арестовывая всех подозрительных людей... Меня было изловил наш дворник и едва выпустил, удостоверившись, что я жилец этого дома. На молодежь здесь косятся и на университет

Герман Лопатин — студент С.-Петербургского университета *(1862 г.)*.

смотрят как на ад, на вертеп разврата, измен, крамол и всяких ужасов»[3].

О полюбившихся журналах «Современник» и «Русское слово» имел письменные суждения? Имел. И неоднократные:

«„Современник" и „Русское слово" запрещены за излишнее пристрастие к философии и вообще к умственным исследованиям, находящимся в области действия русского правительства, а главное — за проведение идеи социализма. Известие о запрещении этих журналов поразило меня так, что я даже присел на месте, я даже думаю, не оттого ли в тот день у меня болела голова, а к обеду сделались небольшие спазмы? Не шутя, мне это очень больно: с кем же я теперь отведу душу?.. «Современник» и «Русское слово» закрыты! О, господи! Боже мой. Да что же это такое, наконец? Тоска-то, тоска какая: давящая, мертвящая, убивающая. Бывало, хоть за «Современником» отдыхал я здесь, а теперь? Тут-то бы и должен утешить меня философский эпиграф: «О, смертный, будь терпелив и безропотно рока удары сноси», но вера моя в философию подорвана запрещением представителей философии русской; значит, и этот эпиграф не подходит».

И еще:

«...Вы спрашиваете, за что запретили «Русское слово». За социальное направление, так же как и «Современник». Наверное могу сказать, что они более не возобновятся. Если вы внимательно прочтете последнюю книжку «Русского слова», то легко можете заметить направление, которым проникнуты все статьи. Я хотел говорить с вами про некоторые из них, но нет времени».

А кто они, «представители философии русской»? И они названы в письме:

«...Вы спрашиваете еще, почему взяты Чернышевский и прочие? Никто даже здесь об этом хорошенько не знает; все они как в воду канули, ни слуху ни духу. Говорят, что у их английского корреспондента (фамилию позабыл), который недавно был вызван редакцией в Петербург, были найдены бумаги, доказывающие связь их с заграничными социалистами и усилие распространить это учение в России».

«...Михайлова предал Всеволод Костомаров (не профессор). Все журналисты отвернулись от него, и только Катков принял его в «Русский вестник». Это может объяснить Вам некоторые смешные карикатуры „Искры" насчет Каткова и В. Костомарова. Вообще я здесь иначе понимаю многие вещи в „Искре", чем там у Вас»[4].

Не задумываясь о последствиях, весьма одобрительно отозвался о «главном вольнодумце и смутьяне» (так о нем сейчас говорят и пишут), о самом Герцене-Искандере:

«Я много читал из его сочинений; читал с удовольствием, во-первых, как остроумного памфлетиста, во-вторых, как человека, рассказывающего очень интересные факты, о которых я не мог бы узнать другим путем...»

Герман ворочался и ругал самого себя за то, что в письмах к родным был слишком откровенен и сообщил им много лишнего, такого, о чем можно говорить только верному человеку с глазу на глаз. Да и то шепотом. И не следовало посылать Ольге и Всеволоду фотографические карточки Чернышевского и Герцена вместе с Огаревым. И, конечно, безрассудно хранить портреты этих революционеров в письменном столе. В семье дядюшки бывают служители III отделения Майвалдов и Логиновский. У жандармов зоркие глаза. Портреты надо утром сжечь...

3

...Герман Лопатин думал, что он придет в университет первым, но его опередил Сергей Неклюдов.

Здороваясь и всматриваясь в лицо друга, Герман определил:

— И ты, видно, всю ночь не спал. Озерецкого видел?

— Да. Он сдержал слово и передал мне копию своего донесения. Вот оно, прочти.

Почерк был довольно четким, разборчивым:

«В Правление Императорского
С.-Петербургского университета
Инспектора студентов Озерецкого

Донесение

Декабря 20 дня, в час пополудни в 1-й аудитории, на лекции доцента Ленца, я услышал страшный шум. Желая узнать тому причину, я вошел туда, тогда толпа закричала: вон Озерецкого. Не желая объясняться со всей массой и дабы дать возможность г. Ленцу читать лекцию для желающих его слушать, я заметил одного из кричавших студентов Сергея Неклюдова и как лицо, принимавшее с прочими студентами — 2-й и 3-й курсы естеств. отд.— живое участие в этом деле, просил пожаловать ко мне в сборную комнату для объяснения. Он это исполнил, и толпа недовольных лекциями последовала за ним, оставив г. Ленца читать лекцию для студентов 2-го курса математич. отд. Когда я пришел в сборную комнату, то многие студенты 2-го и 3-го курса ест. отд. окружили меня и просили не делать виновным в их общем деле одного студента Неклюдова. В это самое время пришел г. ректор и имел с ними окончательное объяснение.

Обо всем этом имею честь донести до сведения Правления Императорского С.-Петербургского университета. Инспектор студ. Н. Озерецкий. 20 декабря 1865 г.»[5]

Герман вернул листок Сергею, сказал:

— Оставим на совести господина инспектора его донос. Однако странно, что он заметил только *одного* из кричавших.

— А что ты посоветуешь делать этому *одному*?

— Все отрицать с изящной вежливостью и убедительностью. Сейчас же нужно написать в правление университета разъяснение к донесению инспектора. Указать, что на лекции господина Ленца действительно был, но участия в шуме не принимал, однако, неукоснительно соблюдая правила для студентов, немедленно исполнил требование господина инспектора и последовал за ним в сборную комнату. Остальные же студенты вышли из аудитории, дабы прекратить шум, а не затем, чтобы следовать за мной...

— Врешь довольно складно. Сейчас же напишу.

— Обезоруживай препочтеннейших судей покорностью и вежливостью. Будь джентльменом... до невозможности. Всех величай господами, и непременно с большой буквы.

— Донос написан — значит, будут судить. Ты обещал пойти свидетелем. Пойдешь?

— Готов служить хоть защитником.

— Спасибо, Герман! Да, чуть не забыл — тобой интересовался Озерецкий.

По пути к инспектору Лопатин встретил однокурсника Александра Буняковского. Спросил:

— Ты чего такой хмурый?

— Был у господина Озерецкого, отвечал на его вопросы и явно неудачно.

— Письменно?

— Да, оставил так называемое показание. И вот на вопрос: «Для чего приходили, если знали, что будет беспорядок?» — второпях написал: «Знал, что будет беспорядок. Из любопытства, а участия в беспорядках не принимал».

— Не очень логично. Просто глупо. Нужно было все отрицать. Высочайшее повеление не допускает ни под каким предлогом и ни в каком виде шумного одобрения или порицания преподавателя.

— Это самое мне только что Озерецкий напомнил. Я сделал приписку: «Дальнейшее объяснение обязываюсь представить после».

— Весьма благоразумно. Вечером подумаем вместе, как исправить ошибку. А сейчас спешу к Озерецкому.

Инспектора студентов на месте не оказалось. Его помощник Е. С. Степанов угрюмо сказал:

— Николай Васильевич понес какие-то бумаги в правление. Подождите самую малость.

«Надо посмотреть сегодняшние газеты», — решил Герман и направился в библиотеку. Вздрогнул, услышав:

— Господин Лопатин, одну минутку!

Багрово покраснел: его догонял профессор технической химии Дмитрий Иванович Менделеев.

Поклонился, хотел поздравить с наступающим праздником, но Дмитрий Иванович положил на плечо руку и заговорил негромко и осуждающе.

— Слышал о ленцевской истории и весьма огорчен. Вы способный, более того, талантливый человек, а занимаетесь сущей ерундой. Считаю своей обязанностью подчеркнуть — вы русский человек, вы рождены для науки и извольте заниматься чистой наукой, посвятите себя целиком служению отечественной науке. Уясните, юноша, очевидную истину: вы сами себя освистали, опозорили себя и своих близких. Оставьте это мальчишество, эту игру в политику. И для вас, и для нас, и для

всего университета нужно это оставить. И не пытайтесь возражать. Я счел нужным попросить ректора университета, моего учителя и друга, пощадить вас, сохранить для русской науки. Поручился за вас. Извольте вести себя благоразумно. Не подводите меня.

— Я не знаю, как вас и благодарить, господин профессор.

— Нет, нет, это ни к чему. И пусть все это будет между нами! — Сутулясь и резко махая правой рукой, Менделеев быстро зашагал по коридору.

Герман вытер с лица пот, прислонился к стене. Как это все неожиданно и невероятно! Сам Менделеев просил ректора и даже поручился!.. Не потому ли и в донесение инспектора Озерецкого «попался» один Сергей Неклюдов. А выступивший первым 20 декабря Герман Лопатин как бы остался в стороне и будет присутствовать на суде в роли свидетеля. Решили «сохранить для русской науки». С чего бы это? Конечно, ни одной лекции Менделеева не пропустил. Спешил занять самое удобное место. Однако первое впечатление было каким-то противоречивым и весьма сумбурным. Знали, что профессор недавно защитил диссертацию «О соединении спирта с водой», и некоторые остряки даже пытались зубоскалить о процентном отношении H_2O и C_2H_5OH, приводящем к быстрому и полнейшему опьянению. И вот на кафедре появился не по возрасту грузноватый и сутуловатый, с непричесанной копной длинных волос и «необхоженной» мужицкой бородой профессор. И костюм мешковатый, дюже потертый и измеченный разноцветными и разнокалиберными пятнами. Заговорил, и голос показался неприятным — очень низким и сильным. И вроде бы «на ровном месте» вдруг споткнулся и несколько раз невнятно повторил: «Мм, мм, как сказать, как сказать?» — и стало так неловко, что захотелось отыскать и немедленно подсказать

утерянное слово, но он стремительно вытянул крупную ладонь и словно подал слушателям только что открытое, очень точное и образное слово. И не пытайся — лучше не скажешь! И постепенно речь совершенно наладилась, да и нет охоты за ней следить, думаешь только о предмете лекции, о мыслях, удивительно свежих, только сейчас рожденных. И не нужны ему цитаты, заимствованные у великих зарубежных ученых, ничего чужого, все свое. И поразительная память, и смелое до дерзости вторжение в смежные науки — в механику, физику, астрономию, метеорологию, геологию, физиологию животных и растений, агрономию. И умнейшие практические советы: как неисчислимые богатства русской земли поставить на службу отечественной промышленности и земледелия. И все из опыта, из личных наблюдений. Оказывается, еще с детства крутился на приобретенном матушкой стекольном заводе, и сам пробовал выдувать колбочку, вот примерно такую, что стоит на столе. И видел, как добывают нефть на бакинских промыслах, и рассказывал, как советовал хозяину их Кокореву провести гигантский нефтепровод из Баку к Черному морю и построить специальные суда-хранилища, и досадливо морщился: «Испугался нефтепромышленник, не под силу, дескать, не по мошне». И не без гордости хвалился, как на опытном поле в Боблове, что в Московской губернии, прошлой осенью снял урожай четырнадцать четвертей с десятины, а соседи получали в лучшие годы шесть четвертей. И забавно, но без шаржирования, передавал разговор с местными мужиками: «Скажи-кася ты, Митрий Иваныч, хлеб-то у тебя как родился хорошо за Аржаным прудом... Талан это у тебя, али счастье?» И раскрывал, чем талантливому земледельцу может помочь химия.

И слушать Дмитрия Ивановича Менделеева и сдавать ему экзамены было очень приятно. И по каждой

теме хотелось узнать как можно больше сведений в своей и заграничной литературе. По-видимому, профессор заметил у Германа эту необычную осведомленность и смелое стремление поспорить с авторитетами в органической химии и счел нужным ввести приглянувшегося студента в русскую науку.

...Весь день Лопатина не покидало щемящее чувство вины — оказывается, обидел очень хорошего человека, заставил его волноваться и огорчаться по делу, которое, по его справедливой и строгой оценке, оказалось мальчишеством, игрой в политику.

4

...22 декабря Герман, как обычно, пришел на лекции, но позаниматься так и не удалось, — вызвал Озерецкий и объявил:

— Правление Императорского Санкт-Петербургского университета вчера вечером приняло решение: просить господина ректора передать дело студента Неклюдова на рассмотрение университетского суда. Мне стало известно, что суд состоится завтра в семь часов вечера. Подсудимый выставил вас свидетелем. Вам надлежит принять клятвенное обещание. Извольте последовать за мной к протоиерею нашей церкви магистру Сорярскому.

Не желая раздражать пунктуальнейшего инспектора студентов, Герман торопливо произнес:

— Если надлежит... я готов...

Протоиерей Павел Сорярский, по-видимому, был предупрежден и ждал в полной готовности. Он передал Герману продолговатый, с черным печатным текстом листок и потребовал:

— Прочти громко и внятно.

От тонких длинных свечей падал на листок жидкий желтоватый свет. Буквы были мелкими, нечеткими, старославянскими, и Герман читал медленно, часто спотыкался на незнакомых словах:

«Клятвенное обещание

Аз, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его евангелием и животворящим крестом Господним в том, что по делу, по которому призван и спрашиван буду, имею показать сущую правду, никому не нарове и ни на кого не посягая ни для дружбы, вражды, страха ради, или дать каких-либо, а все так чисто и явственно, как стать мне на Страшном суде Христове; в чем мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

По сему клятвенному обещанию присягал студент...»

— Остановись, отрок! — сказал Сорярский и поднес к лицу присягающего крест. Герман вытянул трубочкой губы и, не касаясь холодно мерцающего металла, выразительно чмокнул.

И сразу же Озерецкий вложил в руку Германа вставочку:

— Извольте подписаться под словами: «По сему клятвенному обещанию присягал студент...»

Герман расписался. Сорярский взял вставочку и под словами: «К присяге приводил протоиерей университетской церкви магистр...» — поставил: «П. Сор...»

— Вы нам больше не нужны, — сказал Озерецкий. — Ступайте куда следует.

Герман вышел. Зябко потер неприятно дрожащие ладони. Что это они придумали: «Обещаюсь и клянусь всемогущим богом перед святым его евангелием и жи-

вотворящим крестом... показать сущую правду»? Иначе недобровать на «Страшном суде Христове». Запугивают именем всемогущего бога.

Даже не верится, что может существовать такое кощунственное клятвенное обещание. Ведь было детство, и невозможно забыть дивный, наполняющий весь город звон колоколов церквей и монастырей Нижнего Новгорода. Добрая, по-праздничному одетая мама ведет за руку в старинную церковь Рождества богородицы. В высоком гулком зале мама чуть слышно шепчет: «Смотри, сынок, — это храм божий». А смотреть почти невозможно, — так сверкает, так горит огромный, во всю-то алтарную стену, щедро позолоченный иконостас. А позже, когда переехали в Ставрополь-Кавказский [6], в престольные праздники ходили в Варваринскую церковь. И каждый день начинался и кончался молитвой. И первое стихотворение, которое запало в память после частых материнских повторений, славило царя земного и царя небесного:

О Провидение,
Благословение нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастьи смирение,
В скорби терпение
Дай на земли.

В семье строго соблюдались все посты, и особенно длинным казался семинедельный великий пост. Отказывались от всех житейских радостей. И отец был доволен — хоть на пище можно сэкономить. А какая радость входила в дом в великую субботу: все прибрано, все светится предельной чистотой, и все близкие с чувством благоговейного трепета ждут, когда десять церквей ударят в колокола... Мать похристосуется первой и привычно произнесет: «Да будет, сын мой, над тобой благосло-

вение отца небесного, да сохранит он в тебе навсегда веру, кротость и смирение».

Хорошо, очень хорошо, что матушка, Софья Ивановна, никогда не узнает, какую бумагу подписал сегодня ее старший сын. Пожалуй, пока она и не догадывается, что нет у него ни веры, ни кротости, ни смирения. И каким бы страшным судом его ни пугали, он не скажет сущей правды, он не предаст своего товарища...

5

...В час ночи 24 декабря 1865 года профессор полицейского права И. Е. Андриевский писал:

«Его Превосходительству Ректору Императорского
С.-Петербургского университета
Председателя университетского суда

Донесение

Вследствие предложения Вашего Превосходительства от 22 сего декабря за № 1391 и приложенного при оном определения Правления, 21 декабря состоявшегося, о предании студента 3 курса физико-математического факультета, разряда наук естественных, *Сергея Неклюдова* суду за нарушение университетских правил, мною открыто было 23-го сего декабря заседание суда, в которое и произведен суд над студентом Неклюдовым.

По прочтении журнала Правления, обвинения, представленного господином инспектором, и объяснения, написанного подсудимым, выслушав объяснения г. студента Неклюдова и приведенных им свидетелей — студентов физико-математического факультета, разряда наук естественных, Лопатина Германа (IV курс), Бу-

няковского Александра (IV курс), Эйспера Владимира (III курс) и вольнослушателя Любавина. По тщательном обсуждении объяснения студента Неклюдова и четырех свидетелей, студент Сергей Неклюдов признан виновным:

1) в том, что хотя и не принимал деятельного участия в беспорядке, происходившем 20-го сего декабря на лекции г. доцента Ленца, однако не принял никаких стараний к ослаблению или предупреждению беспорядка, что обязан был сделать, как студент 3-го курса, долженствующий показывать пример вновь вступающим в университет, и как отлично занимающийся, прямо заинтересованный в сохранении порядка на лекциях и вообще тишины в университете;

2) в том, что при входе в аудиторию г. инспектора, услышавшего в оной шум, наравне с другими участвовал в поднявшемся крике, хотя прямо и не доказано, чтобы им были произнесены слова: «вон Озерецкого», — при точном применении п. 5 установленных для С.-Петербургского университета правил о взысканиях, студент Сергей Неклюдов должен быть удален из университета; но, принимая во внимание:

1) отличные занятия студента Неклюдова, обратившего на себя внимание как начальства 1-й С.-Петербургской гимназии, в которой он воспитывался и окончил курс с награждением золотой медалью, так и физико-математического факультета, по определению которого переведен на 3-й курс как получивший по всем предметам отличные отметки;

2) точное и беспрекословное повиновение его г. инспектору, по требованию которого он немедленно отправился с ним для представления формального объяснения;

3) прекрасное, свидетельствующее об отличном образовании его обхождение в суде и

4) предполагая, что удаление его из университета может помешать ему в дальнейших, так прекрасно начатых занятиях,

определил: подвергнуть студента Сергея Неклюдова аресту на 7 (семь) дней и вместе с тем представить в Совет университета о необходимости предписать г. инспектору студентов, в случае возникновения подобного беспорядка в стенах университета, начать немедленное преследование главнейших виновников, не ограничиваясь случайною схваткой одного из участвовавших в беспорядке.

Донося об этом определении университетского суда, имею честь присовокупить, что, на основании Правил о порядке делопроизводства в университетском суде, такое определение его не требует особого утверждения, но проводится, по распоряжению Вашего Превосходительства, в исполнение г. инспектором.

При сем имею честь возвратить журнал и дело о вступлении г. Неклюдова в студенты университета.

Председатель университетского суда
ординарный профессор
И. Андриевский»[7].

...Шеф корпуса жандармов генерал-адъютант князь В. А. Долгоруков доложил государю Александру II о беспорядке в университете, происшедшем на лекции доцента Ленца. Царь выразил свое негодование министру просвещения статс-секретарю, тайному советнику А. В. Головину. Напуганный министр излил свой гнев на попечителя С.-Петербургского учебного округа тайного советника И. Д. Делянова. 23 декабря 1865 года Делянов направил ректору С.-Петербургского университета А. А. Воскресенскому грозное распоряжение:

«...*Его Императорское Величество высочайше* повелеть изволил:

1) принять энергические меры к прекращению беспорядков и

2) доносить *Его Величеству* о ходе этого дела.

О таком *высочайшем* повелении, объявленном мне в предложении г. Министра Народного Просвещения 22 декабря № 10308, имею честь согласно с предложением г. Министра сообщить Вашему Превосходительству, покорнейше прося принять самые деятельные меры к раскрытию виновных в произведенном беспорядке на лекции доцента Ленца и доставлять мне постоянно сведения о ходе этого дела.

Попечитель И. Делянов,
Правитель канцелярии А. Нейлисов»[8].

Не полагаясь на осведомленность и распорядительность университетского начальства, попечитель Делянов 24 декабря послал ректору университета еще одно указующее распоряжение:

«До сведения начальства дошло, что студенты С.-Петербургского университета *Лопатин, Корсаков, Буняковский, Решеткин, Любавин, Вразский* подстрекают других к беспорядкам и вообще отличаются большою склонностью принимать на себя роль, не принадлежащую им, как недоучившимся и никакою властью не облеченным.

Вследствие сего имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение об учреждении над ними строжайшего надзора и об объяснении им, что в случае малейшего беспорядка в С.-Петербургском университете будут приняты против них особенные меры, независимо от тех, которые примет в отношении к ним начальство университета»[9].

«Покорнейшие просьбы» Делянова (правильнее было бы назвать их приказами) явно опоздали: дело Ленца-младшего было закрыто вечером 23 декабря. Ректор университета А. А. Воскресенский передал бумаги инспектору студентов Озерецкому для ознакомления и руководства.

6

...После суда Герман Лопатин возвращался домой вместе с Николаем Любавиным.

У Невского, расставаясь, Любавин порывисто потряс руку товарища, сказал:

— Ну, улыбнись же, что ли. Все позади. Все-таки мы одержали победу. Неклюдов вел себя превосходно, да и ты проявил похвальную выдержку.

— Хвалиться нечем. Скажи, пожалуйста, в газетах об этом самом шуме что-нибудь было напечатано?

Любавин поморщился, сказал с досадой:

— Ничего не видел. О черт, упустил из виду. Надо посмотреть.

— За вторник, я знаю, не было. А вот за среду и сегодняшний день газеты не успел проверить. Если что узнаешь, дай знать, и незамедлительно. До свидания!

— Если в праздники загрустишь — приходи к нам, «к студентам, гуляющим, вино обожающим».

— Буду читать. Отведу душу. А праздников, пожалуй, у меня не предвидится.

На Невском было светло, — ярко горели газовые фонари. Медлительно, важно шествовали прекрасно одетые, веселые люди. Несмотря на поздний час, магазины были еще открыты, и в них полно народу, — так всегда бывает в предпраздничные дни. Подходил к желанному концу рождественский пост. Герман был голоден. Захотелось зайти в булочную, купить свежий, до

хруста пропеченный оранжевый бублик и, по долькам отламывая, не торопясь, съесть до последней крошки. Сунул руку в карман, пощупал тощий кошелек и... пошагал дальше. С первого дня самостоятельной жизни Герман завел расходную книжку, в которой отмечал все покупки. В одном из писем к сестре Ольге Герман жаловался на столичную дороговизну:

«...Я должен покупать нужные книги, платить за стирку и починку белья, чернила, почтовые марки (самый большой расход после книг), одним словом *за все,* кроме квартиры, стола и питания. Я отказываю себе во всех глупостях, настольных безделушках и прочем, но деньги все-таки проходят между пальцами. Посмотришь в расходную книжку, одной странички не исписано, а 7 рублей нет. Пожалуйста, не намекните как-нибудь при отце на это место. Сохрани вас бог! Я нарочно посылаю письмо на ваше имя.

...Расходам веду я строгий счет, так что всегда могу представить мою книжку, где все учтено до копейки».

Хотя бублик и недорого стоит, но в какую статью расходов его отнести, если на еду и гроша не положено?

У Императорской Публичной библиотеки Герман остановился: надо бы зайти и посмотреть газеты, да, пожалуй, она уже закрыта. Не дай бог, если что-то напечатают о беспорядке в университете. Узнают знакомые и сообщат родным... Нужно прийти сюда завтра утром. Если будет закрыта — можно пойти в библиотеку евангелической общины, что на Большой Конюшенной.

...Утром в библиотеку выбраться не удалось: тетушка Амалия Эрнестовна попросила:

— Помоги мне покупки принести с Сенной площади. Думала вчера сходить, да ты куда-то ускакал на целый день. Что-то ужасное творится — рождество наступает, а у меня гуся нет.

Сестра Г. А. Лопатина Ольга.

— «Поймаем» гуся, только надо пойти пораньше. Может и улететь.

— Я почти готова.

...Гуся «поймали» быстро, и довольно увесистого. К нему любящая сытно покушать тетенька прикупила еще много всякой снеди. У Германа были сильные руки, но объемистая корзинка вогнала его в пот, пока дотащил ее до дядюшкиной квартиры. На часах было полдвенадцатого. Герман спросил:

— Чем я еще могу вам служить?

— Отдохни, голубчик, умаялся. Если чего и не хватит, я Аннушку пошлю. Столько хлопот, столько хлопот, ноги не держат. Да еще сплошное разорение.

— Тогда я отлучусь. Пойду в Публичную библиотеку.

— Только к обеду не опаздывай.

...В Публичной библиотеке в предпраздничный день было мало посетителей, и это обрадовало Германа. Пропуская официальные заграничные сообщения и крупные статьи, он быстро просмотрел «С.-Петербургские ведомости», «Северную почту», «Голос» и «Биржевые ведомости». И на сердце стало немного легче: среди многочисленных столичных происшествий не было ни строчки об Императорском университете. С трепетом, не спеша, читал на треть забитые различными объявлениями

«Ведомости С.-Петербургской городской полиции». Шрифт мелкий, сливающийся, утомительный. Каждый номер открывается подборкой, озаглавленной весьма примечательно:

«Часть официальная. С.-Петербург.
ДНЕВНИК ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Воистину удивительные приключения: арестован мальчик на побегушках Михайла Михайлов, укравший в питейном заведении в доме Костылева 90 рублей. «Принятыми полицией мерами он отыскан, доведен до сознания и отобрано от него 63 рубля, остальные им истрачены».

Какое жуткое, чисто полицейское определение — «доведен до сознания». Что же они с тобой сделали, Михайло Михайлов? И как это ты, миляга, сплоховал, успел только 27 рублей проесть? И что с тобой будет дальше, мальчишка на побегушках? И сколько подобных тебе мается в питейных, торговых и прочих, и прочих беспощадных заведениях?

И рядом совершенно непохожее «событие»: награда 25 рублей тому, кто доставит в дом князя Белосельского, что у Аничкова моста, пропавшую английской породы собачку, с приметами — шерсти желто-бурой мохнатой, хвост и уши обрезаны, кличка Томи.

Бедный князь Белосельский! Какая ужасная потеря, да к тому же накануне праздников. И где этот Томи носится, как бы его отыскать! Ведь это «бесхвостый клад» в 25 рублей. Не забрел ли на Фонтанку? Надо присмотреться. Такой вклад в отощавший бюджет!

А это что такое: выбросилась из окна четвертого этажа крестьянская девушка Афросинья Сивинова

(19 лет) в доме Лермонтова, в Коломенской части. «В последнее время скучала и часто плакала. Причина же самоубийства ее неизвестна».

Вот как! Причина неизвестна. Да и кто будет доискиваться, кто будет раскрывать причину гибели крестьянской девушки Афросиньи Сивиновой? Довели! Не от хорошей жизни кинулась на мостовую с четвертого-то этажа. А ведь, наверное, у нее есть и мать, и отец, и еще кто-то свой, близкий, любящий. Каково-то им будет, как получат казенную бумагу из Коломенской части столицы!

Герман перевернул последнюю страницу. В глаза бросилось крупно набранное объявление:

«ЧУДОДЕЙКА

По 80 копеек весьма занимательная игрушка как для малых, так и для взрослых детей, такого устройства, что посредством стакана воды птичка эта подражает пению соловья и канарейки. В магазине г. Декомб в Большой Мещанской, между Новым и Демидовым переулками, дом № 38».

А что, недурно было бы купить эту «чудодейку» и отослать в родной Ставрополь. В новогоднее утро проснулись бы Наденька и Любочка, и мамаша вручила бы такой необыкновенный подарок от братца: налей стакан воды в птицу, и запоет она соловьем, дай полстакана — прикинется канарейкой. Спасибо, господин Декомб, хорошую игрушку вы придумали, только не по моему карману. Можно посылать домой только письма. И поздравить всех сразу с рождеством Христовым, Новым годом и крещением. Ведь каждое письмо в 6 копеек обходится. И если ограничишься одним — сэкономишь, по крайней мере, 12 копеек.

...Ко дню рождения 13 января 1866 года Герман Лопатин получил много писем от родных и знакомых. Порадовал отец — прислал 15 рублей «на учебные расходы». Герман понимал, как трудно было отцу выкроить такую не предусмотренную домашним бюджетом сумму: семья большая, восемь детей, правда, Ольга вышла замуж, но ведь надо было справить приданое и свадьбу.

Большое и, как всегда, теплое, сердечное письмо прислала мама. Рассказала о всех ставропольских новостях, щедро высыпала в письмо без малого два десятка добрейших советов и всего один упрек: «Почему стал редко писать? Не волнуй меня столь длительным молчанием, сынок. Пока письмо дождешься — всего надумаешься».

Герман любил мать, но писал об этом не ей, а сестрам и братьям:

«...У меня нет секретов от матери, и только моя глубокая, преданная любовь к ней может заставить меня скрыть иногда что-нибудь». «...Только мамашу пощадите бога ради». «...Одна моя мечта теперь — увидеть как можно скорее мамашу, вас и всех наших, обнять вас крепко, переговорить все, что накипело на душе, насмотреться вдоволь на вас...»

Мама права: писать в Ставрополь нужно чаще. Вот сейчас же сесть и поведать ей обо всем, что пережил в конце прошлого года и как провел праздники. Только всего-то и не расскажешь. «Шумовая история» с Лопцем-младшим, как это ни горько, университетским судом не завершилась. Накануне Нового года совершенно неожиданно вызвал инспектор Озерецкий и предложил написать объяснение по делу 20 декабря. Герман вежливо отказался:

— Господин инспектор студентов, я уже писал объяснение и как свидетель рассказал все что знал на университетском суде. Это может подтвердить председатель суда экстраординарный профессор Иван Ефимович Андриевский.

— Я не стал бы тревожить в каникулярные, предпраздничные дни вас и ваших товарищей, если бы мы не получили весьма важные документы от попечителя Санкт-Петербургского учебного округа тайного советника Ивана Давыдовича Делянова. В одном из них прямо сообщается, что самому государю императору известно о беспорядке, происшедшем на лекции доцента Ленца. Его императорское величество лично повелеть изволили — принять энергические меры к прекращению беспорядков в университете и доносить ему о ходе этого дела.

Озерецкий умолк и пристально, в упор посмотрел в глаза студента. Герман выдержал этот испытующий взгляд и ничем не выдал своего волнения.

Инспектор вытащил из ящика стола бумагу, сказал строго:

— А вот и второй документ. Прочтите внимательно. Обратите особое внимание на вторую, заключительную, его часть.

Герман увидел фамилии «Лопатин, Корсаков, Буняковский, Решеткин, Вразский», и стало не по себе: перечислены все организаторы срыва лекции Ленца-младшего. Последние слова прочел дважды: «Сделать распоряжение об учреждении над ними строжайшего надзора и об объяснении им, что в случае малейшего беспорядка в С.-Петербургском университете будут приняты против них особенные меры, независимо от тех, которые примет в отношении к ним начальство университета».

Вернул документ Озерецкому, тихо спросил:

— Скажите, пожалуйста, господин инспектор, вы всех перечисленных уже вызывали?

— Да. Все они уже написали объяснения. В распоряжении ошибочно назван Решеткин, на самом деле это Павел Решетников.

— Не знаком. Разрешите еще один вопрос, господин инспектор. Прочитанный мною документ был написан двадцать четвертого декабря, а, судя по помете сверху, получен двадцать шестого декабря. Если бы это распоряжение поступило двадцать второго декабря, перечисленные в нем студенты, вероятно, предстали бы перед университетским судом как обвиняемые?

— Вопрос слишком сложный. Полагаю, что на него мог бы ответить только ректор. Благодарите бога, господин Лопатин, что документ написан после суда над Неклюдовым. А теперь вы извольте ответить на мой вопрос.

Озерецкий достал из ящика новый документ с печатным штампом «Попечитель С.-Петербургского учебного округа» и выразительно прочел:

— «Лицо, дерзко обратившееся с речью к господину доценту Лещу с заявлением, что студенты не хотят его слушать, было также постороннее, приведенное студентами Лопатиным, Буняковским и Корсаковым для такого заявления» [10]. Вы давали клятвенное обещание перед крестом господним, что будете показывать сущую правду, извольте подтвердить ее честным ответом: *кто это постороннее лицо, приведенное вами, Буняковским и Корсаковым?*

— Простите за прямоту, но это сущая нелепость. Я лично никого не мог привести, потому что был в первой аудитории, а потом у вас, в сборной комнате. И почему это так называемое лицо должны были вести сразу трое... С Корсаковым я не знаком, а Буняковский двадцатого декабря был вместе со мной...

— Корсаков и Буняковский ответили на этот вопрос примерно так же, как и вы. Похоже, что заранее договорились.

— Извините, господин инспектор, но я не улавливаю логической последовательности. Вы цитируете документ, как я вижу, помеченный двадцать седьмым декабря. С начала каникул я не видел Буняковского, а Корсакова я совершенно не знаю. И как можно договориться о единстве мнений по документу, о котором ничего не слышали...

— Ну что же, вы рассуждаете вполне разумно. Я выполнил свой долг, предупредил вас о последствиях малейших беспорядков в университете. Я лично знаком с тайным советником Иваном Давыдовичем Деляновым и не сомневаюсь в том, что он самостоятельно примет в нужный момент *особые меры,* и тогда никакие влиятельные профессора вас не спасут. Я все сказал и более не смею вас задерживать. Передайте надворному советнику Алексею Никоновичу Лопатину мое сердечное поздравление с Новым годом и пожелание всяческих успехов в его государственной деятельности.

— Благодарю. Передам дядюшке сегодня вечером...

После столь откровенного объяснения с Озерецким у Германа уже не было сомнений в том, что среди студентов есть опытный, наемный шпион, который многое знает и все обстоятельно доносит своему начальству. Как бы это раскрыть Иуду и воздать ему по заслугам! И Герман решил потолковать с Майвалдовым, служившим в III отделения собственной его императорского величества канцелярии. Познакомился с ним вскоре после приезда в С.-Петербург. Перечисляя новых знакомых сестре Ольге, 2 июля 1862 года Герман писал:

«...я бываю у Майвалдова... У Логиновского не бываю потому, что его нельзя застать дома (оба служат в III отделении, протекция-то какая!)»

И еще 1 сентября 1862 года:

«...Смотрел крестный ход на Невском проспекте с балкона Майвалдова. Пришел я к Майвалдову часов в 10. Его не было дома, но я вхожу к нему во всякое время дня и ночи, и при нем, и без него, совершенно свободно. Поэтому я отправился прямо на балкон.

...Вид был примечательный. По временам народ произносил «Ура», но не скажу, чтобы очень громко и дружно: местные жители уже попривыкли ко всяким церемониям...

Потом явился сам Майвалдов, окончив поздравления, началось смотрение церемоний. Майвалдов называл по имени генералов, составляющих свиту Императора. Видел я Адлерберга и других «препрославленных»... Суворовых и пр. и пр.»[11]

...На рождество у Майвалдова были гости. Катерина Александровна Ирман, с которой Герман познакомился еще в августе, безошибочно определила:

— У вас какие-то неприятности. Вы похудели и как бы потускнели. Что с вами, Герман?

— Ничего особенного. Немного устал. Переводил с английского. Охотился за гусями... на Сенной площади.

— А может, за гусынями? Признайтесь — влюблены без взаимности?..

— Пока бог миловал от такой напасти. И вот что я вам скажу, о перл создания, проведенный через горнило вдохновения, давайте-ка уединимся, и вы расскажете о своих новостях, а я буду слушать и любоваться.

Сели в уголок у балкона, и, пока хозяева суетились, накрывая стол, Герман слушал и смотрел на милейшую собеседницу. Когда-то она очень нравилась ему и вызвала восторженные строчки в письме к сестре Ольге:

«...Что это, скажу вам, за милая женщина, какая-то светлая, умная и хорошенькая головка! Какая женственность, обращение, манеры какие! Глаза, брови, зубы, губы обворожительные! Если вы подумаете, Оленька, что это мое первое увлечение, то вы горько ошибетесь. С тех пор как я здесь в Петербурге, это увлечение № 6».

Герман отдыхал, улыбался и не мешал милой болтовне хорошенькой женщины.

После сытного ужина гости быстро разошлись. Германа задержал хозяин:

— Хочу вам кое-что сообщить и посоветовать, Герман Александрович.

Лопатин уловил необычную строгость и официальность в обращении: всегда был «милый Герман» и вдруг — «Герман Александрович».

Тихо сказал:

— Слушаю вас.

— Дошли до меня слухи, что вы в университете завели «Акулину»...

Майвалдов снял с рукава пушинку, в упор посмотрел на собеседника, выжидая, что он скажет.

Герман знал, что «Акулиной» иносказательно называют тайную организацию, но осведомленности не проявил:

— Не имею понятия.

— Ну и хорошо, если с этой дамой не знакомы. Сообщу достоверные факты. У нас появилось дело об аресте студентов Петербургского университета Лопатина и Неклюдова за срыв лекции доцента Ленца.

— Сущая чепуха. Я арестован не был.

— Прошу не перебивать. Нам известно: Лопатин тотчас же по входе Ленца в аудиторию исполнил задуманное, объявил, что слушать его не будут.

— А кто этот доносчик? — не выдержал Герман.

— Не знаю. Но если бы и знал — не сказал. И спрашивать об этом бестактно. Я не нахожу в этой шумовой истории политического дела. Полагаю, что таково мнение и начальства. Все завершилось для вас благополучно. Однако должен вас огорчить: отныне и до конца жизни вы будете на особом учете Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Жандармы ничего не забывают и ничего не прощают. Искренне, как старший младшему, советую вам — будьте благоразумны, ведь вам двадцать лет, и, как говорят на святой Руси, пора остепениться и взяться за ум. Пора!

— Благодарю за все сказанное. Постараюсь остепениться. Час поздний, разрешите откланяться.

8

...Кончились у Германа Лопатина каникулы. И снова все пошло по установившемуся твердому порядку: когда бы ни лег — изволь встать в 7 часов, ни минуты на зевоту, разомнись, убирая постель, стол, комнату, завтракай быстро — помни постоянный афоризм тетушки Амалии Эрнестовны: «Обильная пища портит фигуру». В 8 часов — марш пешком в университет. После занятий нигде не задерживайся — в 4 часа после полудня будь за столом, дядюшка не терпит опозданий к обеду. А потом — занимайся хоть до полночи.

Еще в гимназии Герман установил для себя неуклонное правило — знать каждый предмет лучше своих сверстников, а если есть возможность — обойти в познании и преподавателей. И не случайно любимец гимназистов учитель естествознания считал Германа Лопатина своим помощником и разрешал ему самостоятельно ставить опыты и обстоятельно рассказывать о них това-

рищам. Это увлечение предрешило дальнейшее образование в университете — естественное отделение физико-математического факультета. И здесь встретил замечательного ученого ботаника Андрея Николаевича Бекетова, которому в ту пору исполнилось 38 лет. В нем было много привлекательного: и открытое, высоколобое, красивое русское лицо, и огромный запас знаний, и умение щедро и радостно раздать их своим друзьям-студентам, и неиссякаемая душевная доброта, и завидная работоспособность, и мужественная непримиримость к несправедливости, в какой бы форме она ни проявлялась. Он отдавал всего себя русской науке: создал прекрасный учебник «Курс ботаники для университетских слушателей», вобравший передовые научные исследования того времени, а затем выпустил выдающийся труд — «География растений».

Бекетов организовал студенческий научный кружок. Отбирал только подающих надежды, влюбленных в ботанику. Как-то после экзамена Андрей Николаевич спросил студента Лопатина:

— Позвольте узнать, откуда вам известны высказывания Спенсера о Дарвине? Где вы их нашли?

— В статье Герберта Спенсера «Гипотеза развития».

— А вот я ее не видел в русском переводе.

— Читал на английском языке. Я весьма уважаю Герберта Спенсера и кое-что перевожу, но пока очень медленно...

— Похвально! Весьма похвально. А что медленно переводите — это не беда. Дело, конечно, сложное. А где вы работаете?

— Преимущественно в Публичной библиотеке. К сожалению, я не могу купить нужные мне книги.

— А вы приходите ко мне. У меня довольно приличная библиотека. Подберу, что вам понадобится.

Полагаю, что вам нужны переводы не только для научного познания, но и для заработка.

— Не смею злоупотреблять вашей добротой, господин профессор.

— Пожалуйста, злоупотребляйте! Приходите в ближайшую субботу. Вечером — часикам к семи. Я буду вас ждать.

— Великое спасибо вам.

...Герман пришел к указанному часу и очень удивился, увидев в кабинете Бекетова своих товарищей: Николая Любавина, Александра Никольского, Сергея Неклюдова, Владимира Эйснера, Александра Буняковского, Ивана Амохина. У окна читал книгу высокий, с тонким, выразительным лицом, черноволосый юноша. Лицо его показалось знакомым, и Герман тихо спросил Любавина:

— Кто это у окна? Я его где-то недавно видел.

— Вольный слушатель университета Климент Тимирязев. Весьма начитан и умен.

В кабинете хорошо пахло засушенными цветами. Видно, Андрей Николаевич приобрел за минувшее лето новые экспонаты для пополнения университетской ботанической коллекции. Германа поразило изобилие книг: они плотно стояли на многочисленных полках, протянувшихся вдоль стен, лежали на столе и подоконниках. Они притягивали, и Герман, забыв обо всем, стал рассматривать надписи на корешках увесистых томов и названия тощих брошюр. Все подряд. Это увлекательное, приятнейшее занятие прервал хозяин дома:

— Друзья! Прошу вас подвинуться поближе к столу. Сегодня с рассуждениями о книге Дарвина и ее критиках выступит Климент Аркадьевич Тимирязев.

Герман Лопатин сел рядом с неразговорчивым, по-девичьи скромным и застенчивым однокурсником, выпускником Вологодской гимназии Иваном Амохиным.

Климент Тимирязев по настоянию профессора неохотно занял его место за столом, положил перед собой листки, но, проговорив час, в них так и не заглянул ни разу. Герман ожидал скучный ученический пересказ нашумевшего, всемирно известного труда «О происхождении видов» и был приятно удивлен глубокими познаниями вольнослушателя, его искренним восхищением научным подвигом гениального ученого и готовностью защищать каждый пункт теории Дарвина. Подкупала какая-то азартная беспощадность, с какой этот студент критиковал высокопоставленных соотечественников, пытающихся бездоказательно, невежественно охаять, предать анафеме, перечеркнуть труд, совершивший великий переворот в научном мировоззрении. Чудесные, большие серые глаза Тимирязева лучились особенным, подвижным блеском и отражали одновременно и глубокую мысль, и почти детскую наивность.

Герман вначале пытался найти в рассуждении какие-то ошибки, упущения, но никаких несуразностей так и не обнаружил. Удивительно, что самое изложение отличалось прекрасной логикой и ясностью — нет ничего лишнего, нет и намека на пустословие. Привыкший быть первым и на лекциях и на экзаменах, Герман Лопатин впервые увидел студента, превосходившего его в любимом предмете — естествознании. И еще отметил — доктор естественных наук коллежский асессор Андрей Николаевич Бекетов с глубоким вниманием, пожалуй даже с восхищением и гордостью, слушает своего ученика Климента Тимирязева. Как равного! И по всему видно — с высказываниями полностью согласен и замечаний не сделает. И захотелось отыскать какие-нибудь коварные вопросы и немножко принизить столь возвышенное впечатление от сообщения преуспевающего вольнослушателя. Было трудно одновременно улавливать смысл излагаемого и подыскивать каверзу. И все-таки

нашел пробел в рассуждении, и как только выступавший сел и Андрей Николаевич предложил: «Задавайте вопросы, делайте замечания, пожалуйста, не стесняйтесь», — Герман Лопатин встал и повернулся к Тимирязеву:

— Прошу вас изложить позицию Дарвина по вопросу о самопроизвольном зарождении.

Тимирязев усмехнулся:

— Видите ли, позиции Дарвина, как таковой, по вопросу о самопроизвольном зарождении и первоначальном появлении организмов пока не имеется. Его коллеги в Англии, да и в других странах, старались, да и сейчас стараются вовлечь его в обсуждение этого спорного вопроса и даже высказывали в печати предположения о том, каковы должны быть его мысли по сему поводу, а Чарлз Дарвин упорно хранит молчание.

— Возникает естественный вопрос — почему молчит? — спросил Герман.

— Возникает естественный ответ: Дарвин не увлекается вопросами, не разрешимыми при современном состоянии науки. Развивая свои идеи, он никогда не покидает фактической почвы. Опыт, факт, наблюдение — главные его аргументы.

— А может быть, ученый побаивается осуждения религии? Магистр богословия Полисадов сказал нам, что Дарвин изгоняет бога из природы, а посему подлежит отлучению от церкви.

Все невольно посмотрели на простодушного Ивана Амохина, задавшего такой неожиданно крамольный вопрос. Наступила неловкая, тягучая тишина. Тимирязев вопросительно посмотрел на Бекетова, и тот подбодрил его:

— Не робейте! Говорите прямо и честно, как думаете. Здесь все свои.

— Как думаю... Попытаюсь. Видите ли, научные труды Дарвина сами по себе опровергают религиозные утверждения о сотворении мира и человека. Однако я не встречал в его сочинениях прямых атеистических высказываний. Можно сделать такое предположение — дальновидный и в житейских делах весьма мудрый, Дарвин полагает, что в настоящее время прямые доводы против христианства не принесут пользы, а ему лично даже повредят. Целесообразно проводить длительное, постепенное просвещение умов.

— За такой ответ Полисадов поставил бы вам единицу. Кол! — определил Александр Никольский.

Бекетов покачал головой:

— Нехорошо! Давайте-ка оставим в покое достопочтенного Василия Петровича Полисадова. Как магистр богословия, он ревностно выполняет свой долг, и я искренне советую вам, друзья, принимайте как должное, как нечто неоспоримое все то, что он изрекает на лекциях.

— А если он изрекает явную чепуху? — не выдержал Лопатин. — На прошлой лекции он пытался нас убедить, что женщина не способна мыслить философски, что это ей не дано богом. Я не стерпел и крикнул: «А сочинения и письма Екатерины Второй Великой?» Он пожал плечами и ничуть не смутился: «Так это не женщина. Это богом данная императрица».

— Мы отклонились от предмета обсуждения, — сказал, лукаво улыбаясь, Бекетов. — Вернемся к сообщению нашего молодого ученого.

Встал Николай Любавин:

— Мне кажется, что заслушанное нами рассуждение было по содержанию весьма значительным и доказательным. Я хочу посоветовать господину Тимирязеву все, сказанное им сегодня, изложить на бумаге и постараться где-то напечатать.

— Благодарю за добрый совет. Я уже пытаюсь это сделать [12].

Улыбаясь, Бекетов как бы подытожил столь необычное вечернее занятие:

— Я с большим удовольствием и с пользой для себя выслушал рассуждение Климента Аркадьевича Тимирязева о замечательном научном труде Чарлза Дарвина. Думаю, что и вы обогатили свою память весьма ценными сведениями. Сейчас я отлучусь на минутку и устрою чай да с вишневым вареньем, да с тульскими пряниками...

...Расходились поздно вечером. Герман Лопатин вышел на улицу вместе с Иваном Амохиным. После чая его бледное, остроскулое лицо порозовело, но глаза по-прежнему были грустными и брови строго сдвинутыми.

— Ты что такой печальный, Ваня? Плохое письмо получил?

— Ай, не хочется и говорить о своих болячках после такого чудесного вечера. Смотрел я на этого Тимирязева и горько завидовал ему. Считай, что мы с ним ровесники. А какая разница! Он твердо стоит на ногах, а я вроде бы на четвереньках ползаю. Он человек состоятельный, ему о куске хлеба печалиться не надо, на всем готовеньком, на папенькином довольствии. А я после смерти отца ничего из дома не получаю. Оставил он в наследство трех дочерей, да трех сыновей, да честное имя прапорщика в отставке. Вот ты идешь со мной рядом и стараешься не заметить, как я снаряжен, а ведь есть и такие однокурсники, что сидеть со мной за одним столом не желают, видите ли, я их шокирую своим залатанным костюмом. А где мне новый-то взять, из каких доходов выкроить? Раньше можно было в частных пансионах давать уроки, а теперь запрещено. Штрафуют! До того дожил, что готов дрова пилить и колоть, помойки чистить, но и эти кондиции не для меня:

нищих да голодных в столице куда больше, чем обеспеченных и беспечных. А бросить университет не могу. Сколько здесь замечательных ученых — Бекетов, Чебышев, Менделеев, Кесслер, Фаминцын, Савич, Салов! Только не зевай, глотай, что они подают. А впрочем, все это тебе известно. Это у меня с бекетовского чая душа отогрелась. Есть на свете хорошие люди.

— Есть! А что если тебе заняться переводами? Пойти в Публичную библиотеку. Найдутся нуждающиеся...

— Это я не потяну. По французскому языку у меня трояк. Я даже словарь не могу купить.

— Возьми у меня.

— Не играй в благородство, Герман. По иностранному языку ты от меня недалеко ушел. И лишнего словаря у тебя нет.

— Зато у меня есть лишний костюм. На столичных харчах я вырос и пополнел. Могу подарить.

— Что ты, Герман! Я еще не потерял чувства собственного достоинства. Прощай. Тебе на Невский, а мне на Выборгскую сторону. Не по пути...

— Зря обиделся, я ведь от чистого сердца.

Амохин ничего не сказал. Шагал он быстро, не оглядываясь, словно его кто-то подталкивал.

Разговор растревожил Германа. Захотелось с кем-то поделиться пережитым, наболевшим, и он написал домой:

«...Чадолюбивое правительство *воспретило содержателям частных пансионов (которых здесь довольно много) принимать учителями студентов, обложив их за нарушение этого постановления 250 рб. штрафу.* При трудности добывания кондиций, при дешевой плате за переводы, эта мера еще более способствует разведению нищих между студентов.

Кроме того, было принято:

1) Назначение 50 рб. за право слушания лекций.

2) Уничтожение формы.

3) Отнятие кассы и библиотеки. [13]

4) Запрещение всяких сходок и рассуждений по поводу взаимного воспомоществования.

5) Запрещение давать уроки в пансионах.

Меры рассчитаны очень хорошо!»

В этом же письме Герман рассказал об одном толковом, но бедном студенте из Вологды (Иване Амохине), доведенном до бедственного состояния:

«...Если бы мне представился случай иметь кондиции, я бы с радостью уступил их ему... Но случая нет, и я, и этот студент ждем у моря погоды. С карманными деньгами поделился бы, но он не из тех, которые не краснея принимают милостыню. Вот у таких людей и отнимает правительство всякие честные средства добывать себе кусок насущного хлеба» [14].

...Не имеющий «честных средств добыть себе кусок насущного хлеба» сын прапорщика Иван Амохин «выбыл» (в деле пометка — «уволен») из университета весной 1863 года и уехал в Вологду «спасать от голода» (так он сказал, прощаясь с Германом) своих младших братьев и сестер.

9

...Александр Никольский наклонился к Герману Лопатину, тихо сказал:

— Тебя хочет видеть Иван Александрович Худяков. Приходи ко мне сегодня вечером.

— А чем Иван Александрович ныне изволит заниматься?

— Недавно ездил к московским друзьям и привез очень интересные новости.

— А каковы его семейные дела?

— Скверные. Не хочу и говорить.

— Выходит, что я был прав. Помнишь наш разговор в начале прошлого года? Тогда...

— А, знаю! Можешь не продолжать. Скажи — придешь?

— Если действительно хочет видеть — приду.

Александр Никольский торопливо ушел; подражая Худякову, он всегда что-то высматривал, к чему-то прислушивался, куда-то спешил. Герман невольно вспомнил тот памятный разговор. Начало его было примерно таким же, как сегодня. Александр наклонился и таинственно сообщил о том, что писатель Иван Александрович Худяков желает видеть его у себя, на Царскосельском проспекте. Герман привычно осведомился:

— А чем Худяков сейчас занят? Что сочиняет?

— Днем хлопочет об издании новой книги «Древняя Русь», но пока никто не берет. А вечером — любовью...

— Полагаю... без взаимности.

— Напрасно иронизируешь. Да будь я девушкой...

— Сему не быть! Я знаю, что ты давно влюблен в Худякова и служишь ему верой и правдой. Соратники! А вот кто она? Если не секрет... Соперником не буду...

— Ты ее немножко знаешь — Леонилла Лебедева.

— Глупая шутка. Не верю! Такая фигура, такой мелодичный голос, такое лицо, такая коса, Мадонна Рафаэля, и вдруг...

— Довольно! Можешь в этом духе не продолжать. Все это оскорбительно для такого чистого и честного человека, каким я знаю Ивана Александровича. Все в жизни сложнее, чем тебе, красавцу, кажется. Играет, бунтует дворянская-то кровь. Уподобляешься мамаше Леониллы, которая все время твердит одно и то же: «Помилуй, доченька, за тебя сватаются барон и князь,

а ты пойдешь за нищего, и к тому же урода». Мадам Лебедева подбирает мужей для своих дочерей по внешним признакам: главным образом, по благообразности, прилизанности и упитанности личности, по фигуре, по костюму. А дочки видят главное: зрелый ум, мудрость, бескорыстное служение великой цели.

— Ой-ёй! Ты сказал: дочки. В ком столь возвышенные качества видит младшая Лебедева — Варенька?

Никольский смутился:

— Варенька? Во мне... В меньшей мере, конечно...

— Теперь я скажу — не продолжай. Я вижу — назревает что-то весьма любопытное. Приду посмотреть на столь диковинное сочетание...

— А, знаю! Несерьезный ты человек, Герман. Никакой тайны тебе доверить нельзя. Одно зубоскальство... А все-таки — приходи...

Герман проводил взглядом стремительно уходящего товарища. Похоже, обиделся. А зря. Возможно, что красавица Леонилла (а в переводе с греческого — львица) полюбила домашнего учителя Ивана Худякова, но счастья у них не будет. Слишком... не пара. Она придумана словно бы по лермонтовскому образу: «Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла». И прежде всего — прекрасна! А он — худощавый, невысокий, крайне нервный, с каким-то неприятным, жидким голосом человечек. Как-то с горькой усмешкой рассказал: «В раннем детстве, любопытства ради, попробовал, прочно ли прикреплен у лошади хвост, и дернул за оный дважды. А лошадка была с норовом — лягнула и угодила в живот. Подобрали полумертвым. Долго хворал. Выжил. А следы копыт остались навсегда».

У Леониллы соловьиное горло. Мечтает о сцене. Всегда со вкусом одевается и, безусловно, умеет себя показать. Рядом с ней Иван Худяков выглядит особенно невзрачным, истощенным, скверно, точнее, бедно одетым.

Настоящий аскет и фанатик, упрямо преследующий одну цель до полной победы.

...Та, прошлогодняя, встреча была короткой и неудачной. Почти весь вечер у Худякова «крутился» переводчик и издатель Осип Игнатьевич Бакст, вспоминал о том, как трудно было ему обойти цензуру и выпустить «Русскую книжку», наполненную подлинно народными произведениями. Потом явились сестры Лебедевы и заполнили комнату своей милой и пустой болтовней. Правда, удалось ознакомиться с лежащими на столе книгами хозяина. Только что вышедший «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте» поразил необычным построением и тенденцией — все свести к уму, знанию, науке — и неслыханной для открытой печати смелостью в первых же фразах для чтения: «Было вече, было легче», «До бога высоко, до царя далеко», «Князья в платье, и бояре в платье, будет платье и на нашей братье», «Не строй семь церквей, пристрой семь детей». В коротком рассказе об истории человечества автор подчеркивал яркие страницы борьбы за демократический строй, указывал на непрочность государств, построенных на тирании: «Тиранство никогда не могло торжествовать спокойно, даже в самые грубые и суеверные времена. Сегодняшняя жестокость вызывает завтра сочувствие к жертве; ненависть к несправедливости всегда была у человека, лишь бы он только понял несправедливость. Это-то и убеждает, что насилие и несправедливость рано или поздно должны уничтожиться между людьми»[15].

До чего же все верно! Не так-то прост Иван Александрович Худяков, как думают о нем недальновидные критики из «Русского слова», столь жестоко и грубо обругавшие его замечательную «Русскую книжку».

Знает, что делает, Иван Худяков — несомненно выдающийся ученый-народовед, фольклорист и этнограф.

Живет впроголодь, а как работает! И сколько успел уже сделать в свои 23 года!

Герман встал, поклонился хозяину:

— Время позднее, Иван Александрович, я пойду.

— Извините, что не мог уделить вам должного времени. Скажите, пожалуйста, вы с господином Слепцовым знакомы?

— С писателем Василием Алексеевичем немножко знаком.

— И я с ним знаком. Однако я имею в виду публициста и чиновника Александра Александровича Слепцова [16]. Внешне он очень похож на вас. Этот человек — воплощение серьезности, деловитости и, я сказал бы, любви к народу.

— Не имею чести... знать, — еще раз поклонился Герман, — простите, мне завтра рано вставать...

...А что скажет Иван Александрович сегодня? Какие новости он привез из Москвы? По-видимому, речь пойдет о Николае Ишутине и его товарищах, к которым ездил Александр Никольский и вернулся их поклонником и верным солдатом «Организации». Так они себя именуют: «Организация». В Москве ее возглавляет Ишутин, в Петербурге — Худяков.

На лестнице Германа встретил худенький мальчик лет десяти — двенадцати.

— Дядя Ваня... Худяков-то ждут...

— А ты кто такой будешь?

— Буду... Андрюшка Кондратьев. Дядя Ваня... ну, Иван-то Александрович меня к себе приняли. Учат грамоте...

— Понятно. Значит, свой, — улыбнулся Лопатин. — Андрей-воробей!

В комнате было тепло и светло. Никольский и Худяков разговаривали с худощавым, угрюмым, белокурым человеком. Лицо его сразу запомнилось: и длинный,

Н. А. Ишутин, руководитель революционного кружка «Организация».

тонкий, прямой нос, и толстые, выпяченные губы, и впавшие, покрытые нездоровым румянцем щеки. Яркокрасная рубаха подчеркивала белизну тонкой шеи.

Лопатин поздоровался.

Незнакомец вздрогнул и пытливо посмотрел на вошедшего выразительными серо-голубыми мягкими глазами, порывисто встал и сказал Худякову:

— Ну-с, так я пойду. До Выборгской стороны далековато. Премного вам благодарен за помощь, милостивый государь. Как только получу от брата... верну все долги. Ну-с, до свидания!

Надел изрядно потертый, потерявший первоначальный серый цвет армяк, картуз с надломленным козырьком и вышел.

Худяков указал Лопатину на стул, сконфуженно усмехнулся:

— Извините, я не успел вас познакомить с московским гостем, а сам он не признает сантиментов. Человек с сумасшедшинкой — бывший студент Дмитрий Каракозов, двоюродный брат известного вам Николая Ишутина.

— О Ишутине я кое-что слыхивал, но лично не встречался.

— А кто вам рассказывал о Ишутине?

— Я немножко говорил, — вскинул голову Никольский. — Я Германа хорошо знаю и доверяю все равно, как себе... И вам понятно...

Худяков поморщился, отвел с высокого, выпуклого лба всклокоченные волосы, испытующе посмотрел на собеседника:

— Что же это такое получается: вы не входите в московскую «Организацию» и в то же время осведомлены о ее составе и планах.

— Видите ли, мне с детства свойственно обостренное любопытство. У меня такая натура — я слишком люблю свободу, чтобы надевать на себя узду какой бы то ни было организации или сообщества. Тем более, что с планами Ишутина и компании я никак не могу согласиться. Я не верю, что насильственная смерть государя, при отсутствии сильной, многочисленной революционной партии, а также надлежащих условий и обстоятельств, может вызвать народное восстание. Скорее всего, эта авантюра вызовет усиление реакции. Я твердо убежден, что ничего нет хуже ускоренной, преждевременной революции. Она опасна, как преждевременные роды.

— Революция и... роды. И непозволительная самоуверенность в оценках — отсутствие «надлежащих условий и обстоятельств». Как будто крестьяне довольны так называемым освобождением от крепостного ига. А впрочем, зачем надевать на вас узду, опровергая претендующие на афористичность выводы.

Вошел мальчик, робко спросил:

— Больше никто не придет? Тот длинный ушел совсем...

— Я никого не жду. Раздевайся, Андрюша. Урок ты выполнил скверно. Многовато ошибок. Придется все переписать.

— Вестимо, придется. Сейчас или утром?

— Утром. Есть хочешь?

— Я свою долю съел. Можно, я картинки посмотрю? Тихонько...

— Вот-вот, тихонько.

У мальчика — крупные, не по-детски серьезные глаза. Руки худущие, тонкие. Глядя на него, Лопатин вспомнил вычитанную в этой комнате пословицу: «Не строй семь церквей, пристрой семь детей». Выходит, что Иван Александрович Худяков одну церковь построил — то бишь пристроил Андрюшу Кондратьева. И это при вопиющей-то бедности и сварливой беременной жене.

— Вы Николая Дмитриевича Ножина знаете? — неожиданно спросил Худяков.

— Только слышал о нем.

— Прекрасный человек. Тяжко болен. Дни его сочтены. Кто мне заменит его?

Выждал, всматриваясь в собеседника, и сам ответил:

— Пожалуй, никто! А как нам нужны вот такие верные люди, — и увлеченно стал рассказывать о русских вольнодумцах, с которыми встречался во время поездки за границу.

Лопатин внимательно выслушал затянувшийся рассказ и, как только хозяин умолк, встал и сказал почтительно:

— Разрешите откланяться.

— Счастливого пути, — сказал Худяков, приминая маленькой рукой жесткие всклокоченные волосы.

— Я тебя провожу, — поднялся Никольский.

На лестнице, взяв Лопатина за локоть, сказал хмуро:

— Обидел ты Ивана Александровича. Человек он нервный, часто битый, легко ранимый. Ему нужны друзья, понимаешь, верные до конца друзья. Вот, скажу, Иван Ведерников. Неглуп и как студент-химик был

бы весьма полезен, но... трусоват. В лихую минуту продаст. Или возьмем писателя Григория Елисеева.

— Того, что в журнале «Современник» подвизался?

— Он самый. К нему Иван Александрович часто похаживает. Ну и что? По литературной части Елисеев может дать дельный совет, а вот в петлю и на каторгу за народное-то дело не пойдет. Весьма и весьма осторожен. А ты мог бы...

— Что? В петлю? — усмехнулся Лопатин. — Нет, уж уволь. Считай — поиски остались тщетны. Хочу напомнить тебе вот такую загадку: «Кто делает, не для себя, кто покупает, тому не нужен, а кому нужен, тот не ведает».

— И откуда такую мудреную выкопал?

— Из книжечки твоего Худякова — «Великорусские загадки». А разгадка такая — гроб. Вот ты придешь и напомни ее Ивану свет Александровичу. Ведь вы теперь родня по сестрам Лебедевым. А я, друг мой, в этот тесный и темный ящичек не тороплюсь. Я жить хочу...

— А, знаю... Не продолжай. Ступай с богом!

— Будь осторожен, Саша. Если игра станет очень опасной, дай знать. Постараюсь помочь...

ВЫСТРЕЛ, ВСКОЛЫХНУВШИЙ РОССИЮ

1

...Узколицый худощавый человек сидел за столом. Усталая рука вздрагивала, и буквы получались неровными:

«...Грустно, тяжко мне стало, что так погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел — я умру с мыслью, что смертью своей

принес пользу дорогому моему другу — русскому мужичку. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их. Пусть узнает русский народ своего главного могучего врага — будь он Александр Второй или Александр Третий и так далее, это все равно. Справится народ со своим главным врагом, остальные мелкие — помещики, вельможи, чиновники и другие богатеи струсят, потому что число их вовсе незначительно. Тогда-то и будет настоящая воля. Земля будет принадлежать не тунеядцам, ничего не делающим, а артелям и обществам самих рабочих. И капиталы не будут проматываться царем, помещиками да ставленниками царскими, а будут принадлежать тем артелям рабочих. Артели будут производить выгодные работы этими капиталами и доходы делить между всеми работниками артели поровну...»

Перечел, старательно обвел и подчеркнул заголовок:

«ДРУЗЬЯМ РАБОЧИМ!»

и в правом углу поставил: «Листок № 86» [17].

Усмехнулся. «Нелегкое дело переписать восемьдесят шесть раз прокламацию. Куда проще отпечатать ее в типографии, но ее в России еще не завели, а за границей нет связей... А впрочем, и разбрасывать их у заводов и на мостах тоже крайне опасно».

Прокламации спрятал в конверт, надписав:

«Оставить впредь до востребования до 5 апреля, если востребование в течение этого срока не последует, то предать все сожжению немедленно».

В дверь постучали. Письмо торопливо засунул в карман, спросил:

— Кто там?

— Господин Владимиров, извольте кушать.

— Благодарю.

Позавтракав, достал из продолговатой шкатулки заряженный двуствольный курковый пистолет и осторожно опустил его в глубокий внутренний карман пальто. На дне шкатулки лежало потершееся, заляпанное грязными руками письмо. Владимиров порвал его и хотел сжечь, но спичек не оказалось, и он засунул лоскутки в диван.

В 12 часов дня Владимиров вышел из 65-го номера гостиницы Знаменской и по Лиговской улице пошел в сторону Бассейной. По ней дошел до Литейного проспекта и повернул направо.

День был ясный. На Гагаринской набережной[18] было много гуляющих. Владимиров направился к Летнему саду. Обгонял нарядных дам, сутуловатых, отслуживших свой век чиновников, важно выпячивающих украшенную орденами грудь военных. И только у самых ворот в Летний сад увидел простую публику: по-праздничному нарядившихся дворников да горсточку мастеровых.

У входа в сад стояла карета. Гладкие, упитанные кони нетерпеливо стучали копытами. Два унтер-офицера, хмуро поглядывая на толпу, тихонько похаживали у экипажа.

Раздвигая плечом собравшихся, Владимиров пробрался к воротам сада. Сторож предостерегающе-сердито выставил ладонь:

— Куда прешь! Сюда нельзя. Там его императорское величество изволят гулять.

— Раз нельзя, так нельзя, — охотно согласился Владимиров и пятясь отступил на пять шагов.

И справа и слева в толпу вливались любопытствующие, и Владимирову стало жарко. Некоторые уже снимали и клали на руку пальто, а он не мог даже рас-

стегнуть пуговицы. Время шло медленно. В ушах и висках противно шумело.

За спиной Владимирова кто-то непрерывно переминался с ноги на ногу, подталкивал локтями. Владимиров оглянулся, увидел молодого человека с остреньким красноватым носом, с маленькими усиками и большим синяком под глазом и сказал сердито:

— Ну-с, чего вы крутитесь, как на горячей сковородке? Стойте смирно... как полагается.

— Здесь будешь крутиться, когда такая каланча впереди стоит. Весь божий мир закрывает. Слушай-ка, давай по-хорошему поменяемся, я тебя полтинничком одарю.

— Отстань. Я тоже хочу видеть.. Затем и пожаловал сюда.

Стоящий у ворот сторож предупредил:

— Отодвиньтесь, господа хорошие. Отодвиньтесь! Его величество государь император намерены сюда следовать.

Впереди стоящие чуть подались назад, и толпа закачалась, зашумела и чуть приподнялась — все привстали на носки.

По длинным усам и пышным бакенбардам Владимиров определил, что впереди идет царь, и правой рукой нащупал рукоять пистолета. Толпа замерла.

Жандармский унтер-офицер взял лежащую в карете шинель, легонько встряхнул ее, развернул на всю ширину и, как только царь приблизился, привычно и ловко надвинул ее на широкие, полные плечи.

«Пора!» — приказал себе Владимиров и, выхватив пистолет, прицелился в голову царя. Это увидел сторож. Крикнул:

— Стой, злодей! Стой!

Рука Владимирова чуть дрогнула. Нажал курок. Ахнул выстрел. Взметнулись на дыбы лошади.

Размахивая пистолетом, Владимиров пересек дорогу и, оглядываясь, побежал к Прачечному мосту.

Городовой унтер-офицер догнал его и с такой яростью схватил за грудь и рванул к себе, что полетели пуговицы. Подскочил жандарм и вырвал из рук пистолет. Чиновник двумя руками вцепился в волосы Владимирова.

— А, попался негодяй! Душу вытрясу!

Кто-то грузный бил по ногам схваченного тяжелым сапогом.

— Дурачье, ведь я для вас же! Для народа! — морщась от боли, сказал Владимиров. — А вы не понимаете.

— Не трогайте, не трогайте мерзавца! — закричал жандарм, увидев приближающегося царя. Лицо его было бледным, бакенбарды нервно подергивались.

Жандарм протянул подошедшему царю пистолет:

— Ваше величество! Вот этот самый. Осторожно, один ствол еще заряжен, и курок не спущен.

Царь взял пистолет, придвинулся вплотную к Владимирову, зло спросил:

— Ты кто? Поляк?

— Нет. Чистый русский.

— Почему же ты стрелял в меня?

— Потому что ты обманул народ — обещал землю, да не дал.

Широкие плечи царя недоуменно дрогнули. Повернулся к жандарму, приказал:

— Отведите его к князю Долгорукову...

Царь сел в карету. Гладкие взблескивающие лошади понеслись к Казанскому собору. Самодержец российский спешил принести «благодарность Создателю, который через свое скромное орудие отклонил руку злодея от царской груди».

Такими словами все газеты отметили первый молебен, вызванный выстрелом 4 апреля 1866 года. И все газеты расскажут, кто же был «скромным орудием, отклонившим руку злодея»:

«Провиденье для отвращения несчастья всей России избрало своим орудием простого крестьянина *Осипа Ивановича Комиссарова».*

Расписав каждый шаг новоявленного «спасителя государева», газеты сообщали:

«...Комиссаров быстро ударил злодея под локоть. Рука с пистолетом поднялась кверху; курок щелкнул, но выстрел, благодаря бога, принял направление вверх. Вслед за тем злодей был арестован, а Комиссаров остался смущенным и растерявшимся в толпе».

Смущенный и растерявшийся!.. Определения, далекие от истины. Да, картузник Осип Комиссаров действительно стоял за спиной покушавшегося на царя. Накануне, в воскресенье, он был в гостях у брата, служившего посыльным в Главном интендантском управлении, выпил и учинил драку. Буяна усмирили и выставили за дверь, оставив на память синяк под глазом. Неожиданный выстрел так напугал пьянчужку, что он высоко подпрыгнул, взмахнул руками и свалился у решетки сада. Эти беспомощно вскинутые руки заметил сопровождавший царя генерал-адъютант Э. И. Тотлебен. Хитрый и дальновидный инспектор по инженерной части решил создать из Комиссарова «орудие божье», отстранившее преступную руку. И это удалось сделать. Безвестный пьянчужка картузник был принят Александром Вторым в Зимнем дворце и одарен «дворянским достоинством».

2

Герман Лопатин пришел с занятий, как обычно, к обеду. Тетушка Амалия Эрнестовна сообщила:

— Только что заходил твой приятель Никольский. Просит тебя навестить его сегодня вечером. Я советовала подождать, он очень спешил. Ты сходи. У него вид какой-то скверный.

— Схожу, схожу.

Тетка присела к столу и торопливо и, по обыкновению, не очень-то связно стала рассказывать «о самом что ни есть главном» из услышанного и прочитанного:

— А злодея-то допрашивали, допытывали, и все-таки признался, что он есть Алексей Петров, мужицкий сын из какой-то южной губернии. Да и одет по-мужицки: рваный армяк, красная рубаха и помятый картузишко. И еще пишут, что нашли при нем какие-то крамольные бумаги, флакончик с сильным ядом и ядовитые порошки. Для кого он их таскал? Если для себя, то почему не воспринял? Знал, на что идет, а жить-то хочет. И еще вроде бы фунт пороха и пять пуль. Не одерни его Осип Комиссаров, так он не только государя, но и племянника его Николая-то Максимилиановича и всю свиту как есть порешил бы. А спаситель-то Осип-то Иванович родом из села Молвитино или Молитвино (и название-то кстати), и считай, что рядом с селом Домино, откуда произошел Иван-то Сусанин.

Из всего сказанного Германа заинтересовали только приметы «злодея», и он перебил тетушку:

— Простите, какая рубаха у арестованного?

— Красная.

— А что, эти приметы в газете описаны?

— Да наши-то молчат. В «Московских ведомостях» что-то напечатано, а мне-то говорил брат Эдуард. Он видел злодея как есть в натуре. Припоминаю, что еще

сказал: «Блондин, и волосы длинные». Как у студента. Мужик — и вдруг студент. Все перепуталось, ничего не понимаю. Да, чуть не забыла: забегал твой дружок... Этот самый, розовощекий, кругленький, светленький такой... И кончается на «сон»...

— Даниельсон, что ли?

— Он самый. Но ты к нему не ходи, а к Никольскому в первый черед.

— Хорошо. Иду к Никольскому.

...Через час Герман был уже в доме баварского консула Вальца[19], в котором совсем недавно Худяков и Никольский сняли квартиру. И как в прошлый раз, его встретил мальчик Андрей Кондратьев:

— Иван Александрович давно ждут.

В комнате было жарко. Александр Никольский сидел у печки и помешивал кочергой уплотнявшиеся стопки бумаги.

— Ты чем это занимаешься, Саша? — негромко спросил Герман.

Никольский резко повернулся. Лицо у него было багровым, каким-то раскаленным от зноя.

— Жгу все лишнее. Все, что они могут считать уликой. Все к черту. В огонь! В огонь! Думал перевести на русский язык книгу Штрауса «Жизнь Иисуса Христа». Легко шло! Несколько глав осилил. Их тоже в печку. Пусть горит сам Христос...

— Да ты успокойся, Саша. Штраус — это тебе не Оуэн. Дело верное. Зачем жечь-то?

— А, знаю. Я свои книжки Оуэна[20] уже спалил. Рвал, рвал — и в печку, в печку. И слезы из глаз.

— Напрасно. Что ты хотел от меня?

— Не я. Иван Александрович. Он в соседней комнате. Ступай к нему.

Худяков очищал письменный стол. Горка изорванной бумаги лежала на полу. Услышав скрип двери и

шаги, он вскочил, прищурив усталые глаза, осмотрел вошедшего, сказал:

— Рад вас видеть, Герман Александрович. Я считал вас человеком скептически-насмешливым и, не обижайтесь, пожалуйста, легковесным, неспособным на трудное и опасное дело. Но этот выстрел, этот апрельский гром, прокатившийся по всей России, заставил меня обратиться к вам за помощью. Вы человек энергичный, не глупый, а главное еще не взятый на заметку там, в Третьем отделении.

— У них есть мое небольшое дело...

— Знаю. Шум на лекции. Пустяки. Наш шум не только в Российской империи, во всей Европе услышали. Только все это не вовремя.

— Скажите — стрелял в государя Каракозов?

Худяков съежился, стал совсем маленьким, трижды пересек комнату, спросил:

— А вы откуда знаете?

— Мне тетушка только что называла приметы так называемого Алексея Петрова. Я видел его у вас мельком, но у меня хорошая зрительная память...

— Да. Дмитрий Каракозов. Он из тех редких людей, у которых дело заменяет слова. Он смел и поступает так, как считает полезным для народа. И в то же время ужасно неосторожен, сила характера не совпадает с силой ума. В кармане его нашли какое-то письмо и записку. Я только что узнал — арестован врач Кобылин, когда-то лечивший Каракозова и всячески помогавший ему. Полагаю, что я — следующий на очереди.

— Почему же вы здесь? Почему не бежите?

— Поздно. За мной следят с первого дня моего возвращения на родину.

— А зачем возвращались? Вы же знаете, что ваши книги конфискуются, как нигилистические, революционные.

— Знал! Я русский и хочу быть до конца с моим народом. А потом... я был там с женой... Вот когда вы женитесь, да не дай бог неладно, как я, так сразу поймете, какой хомут на шею нацепили. А впрочем, все это вздор. Не будем терять времени. Я прошу вас, Герман Александрович, принять на себя временное ведение обезлюженного дела. Вы остаетесь за меня. Что нужно выполнить? Перехватить кое-какие заграничные и внутренние письма, а главное — известить товарищей о моем аресте и приказать им, да, да, приказать от имени «Организации» уничтожить все лишнее, все, что может обречь их на беды. В первую очередь надо предупредить литератора Григория Захаровича Елисеева. Человек ценнейший, его надо сохранить.

Лопатин достал записную книжку, карандаш, спросил:

— А где он живет?

— Спрячьте, спрячьте! Никаких записей. Полагайтесь исключительно на память, вы только что определили ее как хорошую. На квартиру Елисеева вам ходить не следует. Найдете его в редакции «Современника». Там же ищите Василия Слепцова...

— Автора повести «Трудное время»?

— Совершенно верно. Прошу не перебивать. В журнале «Книжный вестник» без труда поймаете Николая Соколова или Варфоломея Зайцева. Одного из двух. Они вместе пишут роман «Отщепенцы». Так. Кто еще? Кого еще? Да, Петра Ткачева. Сейчас он сотрудничает в журнале «Русское слово». Братья Курочкины — в «Искре». Впрочем, не нужно. Эти отшутятся. Европеусы — мужья и жены. В первый черед — жены. Вы всю эту компанию хорошо знаете. Теперь еще Иван Васильевич Ведерников с супругой Еленой Васильевной Гололобовой.

— Их тоже знаю.

— Вот и хорошо. Заскочите к Осипу Игнатьевичу Баксту — издателю и переводчику.

— Знаком.

— А вот с Петром Лавровичем Лавровым знакомы?

— Как, и он тоже... с вами?

— Наивный юноша. Неужели вы думаете, что все перечисленные мною люди мои друзья-сообщники? Сейчас будут хватать всех прогрессивных людей. Понимаете — всех, за кем есть какие-то антиправительственные грешки... На этом, пожалуй, и закончим. Времени нет. Мне еще надо разобраться с бумагами.

— Будете жечь рукописи, следуя примеру Никольского?

— Кое-что сожгу. Жаль вот эту... Новая работа «Древняя Русь».

— Нельзя жечь. Отдайте, пожалуйста, мне.

Худяков примял жесткие волосы, усмехнулся:

— А что вы с ней будете делать?

— Сохраню. А может, и напечатаю.

— А если попадетесь с ней?

— За мной пока нет тяжких грехов. Спрячу до поры до времени.

— Хорошо. Придет *наша пора, наше время.* Желаю всего доброго, Герман Александрович.

— А я вам твердости духа желаю. И спасибо за рукопись...

...Герман Лопатин шел по Фонтанке, тщетно пытаясь осмыслить случившееся и унять волнение. Как все неожиданно и резко изменилось! Из свидетеля превратился в участника событий. Свернутая трубкой, увесистая рукопись оттягивала карман и настойчиво напоминала — нужно ее надежно спрятать. В квартире у дядюшки не оставишь. А где? Прекрасно принимают, угощают и всегда готовы дать денег в долг профессор-ботаник Андрей Николаевич Бекетов и профессор Меди-

цинской академии Николай Николаевич Зинин, но как объяснить им — зачем принес этот сверток, почему не держишь его в своем столе? А рассказывать всю правду нельзя! А что если занести к Николаю Любавину? Нет смысла — ненадежный хозяин, самого могут взять жандармы. Придется пойти к вольному слушателю университета Николаю Даниельсону. На него можно положиться: скромный, верный, не избалованный ни славой, ни деньгами человек. Рано осиротев, в достатке познал горе и нужду. Мать со слезами выпросила место штатного воспитанника в Петербургском коммерческом училище. Семь лет служил примером купеческим сынкам и получил аттестат с серебряной медалью и присвоением звания почетного гражданина и кандидата коммерции.

Николай Даниельсон был дома. Сразу же поинтересовался:

— Ты сегодня ужинал? Чайник еще не остыл.

— Сыт. Мне тетушка передала, что ты заходил. Чем могу служить?

— Давно не видел. И вот хочу пригласить тебя помощником по переводу «Критики политической экономии» выдающегося немецкого ученого философа Карла Маркса.

— Весьма интересно. Только я еще не в ладу с немецким языком.

— Да и меня этот самый язык да чистописание и рисование в училище подвели. Можно сказать — лишили золотой медали. Вот и будем вместе по книге Маркса совершенствоваться в познании весьма полезного для нас с тобой немецкого языка.

— Согласен. Займемся в ближайшем будущем. А сейчас я очень нуждаюсь в твоем содействии — вот спрячь сверток по принципу: подальше положишь — скорее найдешь. До поры, до времени.

— А что в нем, если не секрет?

— Ненапечатанная рукопись Худякова «Древняя Русь». Опасаюсь, что у него она затеряется. А у меня постоянного пристанища нет.

Даниельсон покачал на ладони сверток, усмехнулся:

— Знаком я с характером сочинений Ивана Худякова. Видно, и в этой «Древней Руси» много нынешней — стреляющей в государей и бьющей во все колокола. Хорошо, найду подходящее место... до востребования, как говорят на почте. Время-то такое: сердца не чувствуют несчастья, и ум не верует уму.

— Несчастье — удел многих. Хорошо, что ты совершенно чист и светел, словно дистиллированная вода.

— Да и тебе не мешает воздержаться от возможности попасть в Третье отделение: Худяков у жандармов давно на прицеле. Сам понимаешь — последний год в университете. Непременно надо определиться. Решить, кем быть, как деньги зарабатывать. Вот ваш покорный слуга уцепился за Петербургское общество взаимного кредита и держится, как за спасательный круг. Получил заработанные, могу выручить.

— Благодарю за добрые советы. Если скверно будет — попрошу. У тебя и занять-то приятно. А пока, как учат в письмовниках, — прошу сохранить дружественное воспоминание и остаюсь от души вам преданным...

3

Вечером 7 апреля Герман Лопатин узнал, что днем арестован Иван Худяков. И подумал: если бы полицейские явились с обыском 6 апреля, то прихватили бы вместе с хозяином и гостя. Считай — очень повезло. Завтра надо предупредить друзей Худякова.

Утром Герман Лопатин не пошел на занятия. В редакции журнала «Книжный вестник» застал Николая

Васильевича Соколова. Представился как студент университета и попросил в коридор для личного разговора.

Соколов выслушал молча. Красивое бледное лицо заметно порозовело. Поблагодарил:

— Передайте Ивану Александровичу сердечное спасибо как от меня, так и от моего друга Варфоломея Александровича Зайцева.

— К сожалению, этого сделать не могу. Вчера днем Иван Александрович арестован.

— Как, уже! Извините. Я сейчас же должен уйти...

Не задерживаясь, Лопатин направился в редакцию «Современника». Заведующего «Внутренним обозрением», которое Лопатин прочитывал в первую очередь, на месте не оказалось. Походил, поспрашивал, но никто толком не сказал — придет ли сегодня Елисеев в редакцию. Долго и тягостно думал — можно ли побеспокоить по сему незначительному поводу самого редактора. Вздрогнул, услышав позади глуховатый, словно бы простуженный бас:

— Вы кого ждете, молодой человек?

— Григория Захаровича Елисеева. А с кем имею честь?

— Некрасов. Не теряйте времени — Григорий Захарович скверно себя чувствует, отлеживается дома.

— Ой, какая обида! Мне так нужно его увидеть. Очень важное и срочное дело. Вы не можете сообщить адрес Григория Захаровича?

— Если очень нужно — извольте. Васильевский остров, Девятая линия, дом Рехенберга.

Лопатин поклонился:

— Великое спасибо вам.

...Пока добрался до Васильевского острова, устал и проголодался. Пришлось зайти в студенческую кухмистерскую. Умудрился пообедать за гривенник.

У выхода столкнулся с Иваном Ведерниковым. Обрадовался:

— На ловца — явление молодца! Отойдем-ка в сторону, пошепчемся.

Отошли. Лопатин спросил:

— У Никольского давно был?

— Последний раз видел на свадьбе. В прошлое воскресенье.

— Полагаю, что медовый месяц у него будет очень горьким. Худяков арестован, опасаюсь, что и Никольского уволокут мундиры голубые. А посему ходить в дом баварского консула не следует. И еще просьба Худякова, к которой я полностью присоединяюсь: незамедлительно уничтожь все лишнее.

Ведерников помрачнел, заметно расстроился:

— Как все скверно получилось! Молодец, что предупредил. Ведь я сегодня к Никольскому собирался по книжным делам. А так называемое лишнее высмотреть не мешает. Хотел закусить, да, пожалуй, сейчас же поплетусь домой. А ты куда спешишь?

— Надо зайти к одному... доброму человеку.

— А если у него окажутся худые люди? Ты понимаешь, чем может грозить такая встреча?

— Видишь ли, человек бывает хорош, и то ненадолго, раз в жизни — в юности. А это как раз мой возраст. Вот и тороплюсь...

...Всезнающий и рассчитывающий на пятачок дворник в доме Рехенберга охотно показал Лопатину квартиру Елисеева и подсказал, как зовут хозяев.

Дверь открыла и встретила довольно негостеприимно хозяйка:

— Вы к Григорию Захаровичу? Ему нездоровится. Что передать?

— Скажите, что студент университета Лопатин просит принять по личному делу. Всего на две минуты.

— По личному делу зайдите в другой раз. Хоть на час.

— Не спешите избавиться от меня, любезнейшая Екатерина Павловна. Личное дело касается безопасности вашего мужа. Я пришел по поручению известного вам Ивана Александровича Худякова.

— Позвольте! Вы что-то путаете, молодой человек. Худяков арестован.

— Вот потому-то я и пришел к вашему мужу...

— Проходите, проходите! — услышал Лопатин за спиной спокойный голос хозяина. — Услышал баталию и поспешил к вам на выручку. Не обижайтесь, таков характер моего ангела-хранителя.

В кабинете было много книг: они стояли на полках и лежали на полу. В углу горой возвышались газеты. Елисеев подвинул гостю стул, попросил:

— Садитесь. Рассказывайте.

— Я был у Худякова накануне ареста. Он попросил меня разыскать вас и посоветовать уничтожить все нигилистические бумаги и книги. Сделать это нужно незамедлительно, потому что вас тоже могут арестовать... Вот и все. Как видите, я не отнял у вас и двух минут.

— Вы торопитесь, потому что боитесь...

— Мне опасаться нечего. Безукоризненно живу, постигаю науки...

— Постигайте с богом! А безукоризненно жить и не пытайтесь — не получится. Ныне нет святых на Руси святой. Свидетельствую, как бывший экстраординарный профессор Казанской духовной академии. И не нужно быть пророком, чтобы предсказать: вольно или невольно, но вы уже вступили на путь Худякова и прочих ему подобных народолюбцев. Между прочим, это его словечко, Ивана Александровича. Жаль его. Слаб он физически. Сломают. И помочь ему ныне невозможно. Вы что-то хотите спросить? Не стесняйтесь.

— Вы с Василием Алексеевичем Слепцовым знакомы?

— Хорошо знаком. Красивый человек! И безусловно талантлив. Прочтите его замечательный рассказ «Питомка».

— Читал. В «Современнике». Пожалуй, три года прошло, а у меня эта баба Анисья перед глазами, как живая, стоит. Вижу, как она, горемычная, дочку незаконнорожденную ищет и найти не может. Человек взял кусок жизни и положил на бумагу. Не припудрил и не присахарил... Ой, да что это я. Извините, пожалуйста.

— Верно изволили выразиться, молодой человек. Редко удается увидеть в литературе подлинную-то жизнь, без прикрас. Так что вы хотели от Василия Алексеевича?

— Того же, что и от вас. Очищения письменного стола. Я был сегодня в вашем «Современнике», но Слепцова не нашел. Не могли бы вы назвать его адрес? Самого вас просто не решаюсь просить. Больны...

— Видите ли, Слепцов—человек осторожный. В своих отношениях он часто и довольно умело пользуется иносказательным, эзоповым языком. Однако предупредить его следует. И я это сделаю, елико возможно быстро. Завтра...

— Благодарю вас, Григорий Захарович.

— Не за что. Это я вам должен поклониться... Но вы не назвали себя. Не считаете нужным?

— Имя мое ничего не значит. Герман Лопатин.

— Типично русская фамилия. И лицо русское. Папа с мамой позаботились и о внешнем виде, и о здоровье. Не обидели! И вам нужно думать о папе и маме и не обижать их, не приносить им горя. Будьте осторожны, Герман. По лицу вижу — торопитесь. Надо бы вас покормить, но боюсь задерживать. Счастливого пути...

...Домой Лопатин вернулся поздно вечером. От ужи-

на отказался. Его, как всегда, любезно приняла и сытно покормила Александра Константиновна Европеус. В ее бесплатной школе для детей необеспеченных и малоимущих родителей Лопатин вел уроки физики, а Никольский преподавал ботанику. За столом долго говорили о столичных новостях, о депутациях, выражающих верноподданнические чувства венценосцу, о неутихающем колокольном трезвоне, и о стишках, прославляющих Осипа Комиссарова и даже о сапогах стрелявшего в государя преступника, которые, по мнению опытнейших сапожников, сшиты за границей и, вероятнее всего, в Польше. Лопатин хвалил хозяйку за пироги и варенье, шутил, смеялся и, только прощаясь с Александрой Константиновной, тихонько посоветовал:

— Посмотрите в своих укромных уголках, не завалилась ли случайно какая-нибудь крамольная бумага, вроде воззвания «Молодой России». Незамедлительно проверьте и спалите в печке. И не пытайтесь возражать — поверьте, это совет, даже более того — *приказ* искреннего друга. Поймите — ваша чудесная школа не нравится высокому начальству. И еще прошу: предупредите, пожалуйста, о том же самом вашего шурина Александра Ивановича и его милейшую жену.

Лопатин был доволен собой — успел оповестить о грозящей опасности девять человек.

На следующий день побывал у переводчика и издателя Осипа Игнатьевича Бакста. И так же, как у Европеус, просидел за столом до полудня. А потом отвел душу, просматривая новенькие, нечитанные книги. В одной из них нашел портрет Чернышевского. С нарочитой строгостью спросил:

— А этот каторжанин как сюда попал?

— Не знаю. Вероятно, брат Владимир купил. Да он мне Герцена и Огарева прислал. Великолепные портреты. Сожалею что не могу их размножить.

— Брат у вас за границей в относительной безопасности. А вас только за эти самые великолепные портреты могут арестовать и выслать... туда, к Чернышевскому. У вас, может быть, еще что-то залежалось, не разрешенное цензурой?

— Полноте, Герман! Вы явно преувеличиваете опасность. Напуганы арестом Худякова...

— Я хочу обезопасить вас на случай возможного обыска и привлечения к дознанию. Вам не простят издание «Русской книжки» Худякова. А посему запалим печку и отправим в огонь великолепные портреты и все нецензурное.

— Очень жаль, но придется, — согласился Бакст. — Помогите мне в этом скверном деле.

4

В субботу вечером к Алексею Никоновичу Лопатину пришел его старый приятель, надворный советник Иван Иванович Орфанов. Он служил в медицинском департаменте военного министерства и считал своим долгом приносить самые свежие и важные новости. Поклонился хозяину, облобызал пухлую ручку хозяйки, кивнул головой сидящему в углу Герману и торопливо, сбивчиво рассказал о том, как его императорское величество соизволил призвать к себе графа Михаила Николаевича Муравьева и просил его принять председательство над Следственной комиссией по делу 4 апреля. При этом государь предоставил Муравьеву право выбирать тех лиц в члены комиссии, которых он признает полезными. Орфанов объяснил, что решение государя вызвано всеобщим недовольством медлительностью и мягкотелостью бывшего председателя следственной комиссии генерал-адъютанта Ланского, который за пять дней

следствия так и не мог привести в сознание злодея и установить его подлинную фамилию, звание, местожительство, а также сообщников. Конечно, Павел Петрович Ланской был в свое время прекрасным кавалерийским офицером, но сейчас пребывает в преклонном возрасте и не способен сломить упорство закоренелого преступника. А вот у Муравьева — заговорит. Все заговорят...

Герман встал и неслышно вышел из столовой. Опасался, что не выдержит роли прислушивающегося, вмешается в разговор и назовет графа Муравьева «людоедом» и «вешателем». И хотя это совершенно справедливая оценка, она явно не понравится надворным советникам.

Герман сел к столу, плотно обхватив ладонями ноющие виски. Подумать только, какого кровожадного деспота вытащил снова из отставки напуганный царь! Совершенно верно — *снова*. Четыре года тому назад 67-летний генерал, опечаленный «падением» столь милого ему крепостного права, удалился в свое захолустное имение под Лугой. Царь вспомнил о нем в грозные, тревожные дни польского восстания и назначил генерал-губернатором Северо-Западного края с чрезвычайными полномочиями. И Муравьев постарался и с огромным превышением использовал эти чрезвычайные полномочия. Это он приказал неумолимо громить и поголовно уничтожать отряды повстанцев, а селения, приютившие их, сжигать дотла, а всех жителей с пепелищ гнать этапом в дальние сибирские губернии. Это по его повелению хватали ни в чем не повинных людей и после пыток направляли на каторжные работы. Муравьев сидел в Вильно, но его грузная, налитая кровью и жиром рука дотянулась до столицы и вырвала из учебных заведений всех поляков. Герман дружил с однокурсниками — Фомой Матулевичем, Александром Малишевским,

Константином Немшевичем, Иосифом Цешковским, Иваном Томашевичем. Все они были исключены с пометками в делах — «за роль 1863 года». Прощаясь, Иван Томашевич сказал:

— Не знаю, куда погонят. Скорее всего, в солдаты. А я такой же дворянин, как и вы. Виноват лишь в том, что поляк...

Генерал-губернатору Муравьеву принадлежат слова: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые сами вешают». Эта фраза стала крылатой: облетела не только Российскую империю, но и европейские страны. Имя Муравьева стало нарицательным. Царь возвел «виленского диктатора» в графское достоинство и отправил на заслуженный отдых. И вот опять пришло время Муравьева-вешателя. Виновные арестованы. А сколько будет схвачено ни в чем не повинных? Это знает только Муравьев.

Герман разделся, лег. Уснуть долго не мог. Думал об Иване Худякове. Выдержит ли он муравьевскую систему «приведения в сознание»? Кого назовет сообщниками? Конечно, по родственным признакам возьмут бывшего студента Александра Никольского. Вспомнят, что Никольский был исключен из С.-Петербургского университета 24 февраля 1864 года за попытку организовать сходку и суд над шпионом Новопашенным. И понятно, Муравьев и его помощники заинтересуются знакомыми Никольского. И среди них первым будет Герман Лопатин. Значит, арест весьма вероятен. И надо к нему готовиться и все заранее продумать. Завтра нужно встретиться с Никольским и договориться о поведении на допросах.

...Встретиться с Александром Никольским не удалось — на следующий день, в воскресенье 10 апреля, он был арестован.

Герман Лопатин пришел в полночь. Кухарка окинула его взглядом, покачала головой:

— Где это вы так пиджачок-то располосовали? Хорошо, что дяденька с тетенькой уже почивают. Снимайте-ка, я мигом заштопаю.

— Как-то неловко... зацепился за гвоздь. Найдите, пожалуйста, иголку с ниткой. Я сам...

— Это не мужское дело. Ступайте-ка с богом на кухню.

Пока Герман ужинал, перед ним промелькнули события удивительно невезучего дня.

Из университета ушел в 12 часов. Снова не было лекции по богословию. Вот уже вторую неделю магистр богословия протоиерей Полисадов с утра до вечера находится в Петропавловской крепости и «приводит в сознание» покушавшегося на жизнь государя.

Герман Лопатин решил завершить обход знакомых Ивана Худякова.

Сотрудника «Русского слова» Петра Никитича Ткачева пришлось долго ждать в редакции журнала. Явился, передал статью и хотел уходить. Лопатин остановил, представился. Красивое, одухотворенное лицо собеседника показалось знакомым, попросил:

— Подскажите, где мы с вами встречались?

Ткачев усмехнулся:

— Не знаю. Возможно, в университете. Я поступал пять лет тому назад, но... попал в крепость. Затем подавал прошение вторично, но пока оформляли, студентом, был снова арестован.

— Вспомнил. В университете вы остановили меня у первой аудитории и спросили: «Где найти инспектора Озерецкого?»

— Возможно. Что вам угодно?

Д. В. Каракозов, стрелявший в царя Александра II 4 апреля 1866 г.

— Меня просил Иван Александрович Худяков предупредить вас...

— Понятно. Два ареста меня кое-чему научили... Извините, но я спешу.

Ушел не поблагодарив. И впервые Лопатин подумал о том, что незнакомые люди могут отнестись к его визитам с недоверием. Худяков-то уже сидит. И не дай бог увидят не друга, а шпиона-провокатора. И все-таки пошел еще по одному, уже знакомому адресу: Васильевский остров, 9-я линия, дом Рехенберга. В этом доме жила хорошая знакомая Худякова — Елена Васильевна Гололобова.

Постучал в дверь четвертой квартиры. Открыла испуганная кухарка. Замахала рукой, приказала рвущимся шепотом:

— Уходите, уходите! У нас обыск.

Лопатин хотел спросить: «Дома ли хозяйка?» — но дверь ее комнаты распахнулась, и показался военный в голубом мундире. Лопатин сказал кухарке:

— Свиданье отменяется, — и выпрыгнул в раскрытое окно. Угодил в цветочную клумбу. Услышал:

— Стойте! Стойте!

Перемахнул через деревянный заборчик, обогнул два дома и, выскочив на Загибенный переулок, юркнул в

студенческую кухмистерскую. Вытер пот, подавил волнение и попросил чаю с булкой. Пил обжигаясь, прислушивался, смотрел на дверь и ждал, когда она откроется и влетит тот, голубой. А может, он стоит за дверью? На улице тихо. Вошел однокурсник, Александр Буняковский. Герман подозвал его к своему столу, тихонько спросил:

— Что там за шум на улице?

— Ничего не слышал. Никого нет. Тебе показалось. А где это ты костюм ухитрился порвать?

Герман провел ладонью по пиджаку, сказал с горечью:

— Ах, не спрашивай, не выпытывай. Обходил лужу, прижался к забору, а в нем коварный гвоздь. Ужасно не повезло, — и вышел из кухмистерской. Осмотрелся. Слава богу — никого подозрительного. Положил ладонь на дыру в новеньком пиджаке и торопливо пошагал к Большому проспекту. Нанял извозчика. Попросил:

— Поторопи лошадку, любезный. В Александринский театр опаздываю.

Извозчик поторопил. Пришлось гривенник добавить на чай. Поездка нанесла непоправимый ущерб и без того скудному бюджету. Уже на Фонтанке вспомнил, что не нанес третий визит, к полковнику Петру Лавровичу Лаврову. Надо его искать в Артиллерийской академии. Поздно. Да и вид неподходящий.

...Поужинав, Лопатин снял с полки «Петербургские ведомости». На первой полосе выделялось сообщение о том, что Следственной комиссии наконец-то удалось открыть, «что преступник — уроженец Саратовской губернии Дмитрий Владимиров Каракозов».

Лопатин дважды прочитал концовку:

«...Каракозов развивал идеи самого крайнего социализма. В Петербурге, скрывая свое настоящее имя и

звание, он продолжал лечиться от болезни у некоторых здешних докторов.

В отношении обнаружения соучастников преступника и связей их с зловредными обществами, стремящимися к ниспровержению утвердившегося государственного порядка, продолжается дальнейшее строжайшее расследование».

Вот как круто поворачивает следственное дело Муравьев-вешатель. Он уже успел открыть «зловредные общества». Общества! Значит, не одно, а несколько. И какой размах, какая категоричность в утверждениях! Оказывается, все стремятся «к ниспровержению утвердившегося государственного порядка», а посему расследование не какое-нибудь, а *«строжайшее»*...

6

Утром 16 апреля Герман Лопатин узнал об аресте Григория Захаровича Елисеева, Ивана Васильевича Ведерникова, Елены Васильевны Гололобовой, Павла Маркеловича Никольского. Все — знакомые люди, а Иван Ведерников — добрый друг. Хорошо, что всех их успел предупредить об опасности. Сейчас их допрашивают вызванные в следственную комиссию Муравьевым его бывшие подручные по усмирению польского восстания подполковник Черевин, капитан лейб-гвардии Семеновского полка Никифораки и виленский жандармский штаб-офицер полковник Лосев. Палачи со стажем. О Никифораки даже поговорку сложили: «Капитан Никифораки покажет, где зимуют раки». Показывал и покажет арестованным друзьям Худякова. Как-то они все там держатся, что «показывают» и что скрывают? Должно быть, особенно трудно Елене Васильевне Гололобовой. Да, если бы кухарка не предупредила — попался бы

вместе с нею, с Еленой Васильевной, и угодил в Петропавловскую крепость. А жандармы, наверное, допрашивали кухарку, и она, конечно, ничего им о посетителе не сказала... Иначе бы арестовали...

В университете Лопатин не мог сосредоточиться на лекции, записывал мало, не улавливая главного, все думал о товарищах, схваченных жандармами. Наблюдательный и прямой по натуре, профессор Дмитрий Иванович Менделеев сказал Лопатину:

— Я не узнаю вас. На лекции вы не участвуете, вы при сем только присутствуете. И почему вы ведете записи на каких-то листках, а не в тетради? Вопиющая бессистемность.

Лопатин покраснел, признался:

— Простите, господин профессор. Так получилось... Я истратил деньги на книги, а на тетради как-то и не осталось.

— Я могу вас выручить.

— Не смею злоупотреблять вашей добротой.

— Тогда я похлопочу о вспомоществовании.

— Большое спасибо вам, господин профессор.

Прошло несколько дней. Лопатин был очень удивлен неожиданным вызовом в правление университета. Секретарь совета коллежский асессор Александр Евгеньевич Савинский сказал:

— Вот, ознакомьтесь с решением правления по вашему вопросу.

Лопатин прочел:

«Профессор Менделеев, свидетельствуя об успешных занятиях студента IV курса естественного отделения Г. Лопатина, покорнейше просит оказать ему вспомоществование, так как г-н Лопатин в настоящее время весьма нуждается в таком пособии.

Имеет успехи:

неорганической химии — 5.

ботанике — 5,
общей зоологии — 4,
богословию — 5,
французскому языку — 3.

28 апреля 1866 года определено: так как студент Лопатин вносит установленную за слушание лекций плату и при делах университета нет никаких доказательств о его бедности, то правление не считает возможным назначить студенту Лопатину пособие» [21].

Лопатин молча вернул бумагу и вышел из канцелярии. Было очень обидно, что отказали... самому профессору Менделееву. Ведь он надеялся, что могут оказать помощь. И вот не уважили...

Кто-то положил руку на плечо. Лопатин рывком сбросил ее, сердито сказал остановившему его Павлу Корсакову:

— Оставь в покое!

— Не сердись, Герман. Я по делу. Меня вызывали в Третье отделение.

— Тихо. Расскажешь на улице.

И Корсаков рассказал о том, как подполковник Черевин выпытывал, какие в университете есть кружки и общества, и кто их возглавляет, и на какие средства была открыта кухмистерская, и почему ее распорядителем был уволенный из университета преступник Александр Никольский, и с кем из студентов он связан.

— И что же ты показал? — спросил Лопатин.

— Сказал, что кружки у нас только научные и разрешены бывшим губернатором Суворовым. О нем теперь что угодно можно говорить, попал в отставку и, подражая своему великому деду, уехал в его имение. Кухмистерскую открыли на сборы и доходы от вечеров, а с кем связан Никольский — не знаю.

— Правдоподобно! Обо мне спрашивал этот самый... Червивый?

— Черевин! Не интересовался. Однако прошлогодняя история с Ленцем-младшим ему известна.

— Спасибо.

— Я на всякий случай. Может, и тебя вызовут...

7

...Аресты продолжались. Во второй половине апреля оказались в Петропавловской крепости: Александр Иванович и Павел Иванович Европеусы с женами, литераторы братья Василий и Николай Курочкины, Петр Никитич Ткачев, Василий Алексеевич Слепцов, Николай Васильевич Соколов, Варфоломей Александрович Зайцев, Григорий Евлампиевич Благосветлов и офицеры — Александр Дмитриевич Путята и Петр Лаврович Лавров.

Лопатин сожалел о том, что не успел предупредить об опасности Лаврова; в Артиллерийскую академию, где Петр Лаврович был преподавателем, не пустили, а явиться на квартиру — не посмел.

Заканчивался последний учебный год, и Лопатин начал хлопотать о каникулярных документах для поездки к родителям и подготовке к окончательным испытаниям. Уехать не удалось: в субботу 13 мая Герман Лопатин был арестован и отвезен в отдельный каземат Невской куртины Петропавловской крепости.

Лопатин предполагал, что его могут привлечь к дознанию как лицо, знакомое с арестованными Худяковым, Никольским и Ведерниковым, а также с семьями Европеус. Но когда ночью ворвались в комнату, подняли с постели и принялись трясти, переворачивать, щупать, потрошить и даже ломать вещи, не поверил в случившееся. Ничего преступного не нашли и все-таки увезли. А потом постыдно, унизительно раздели догола и приказали открыть рот (убедились, что все зубы

целы), шершавыми руками шарили под мышками и так старательно металлической гребенкой расчесывали волосы, что не выдержал и спросил капитана:

— И вам не стыдно? У меня голова чистая, я сегодня ходил в баню...

— Вы можете говорить только о волосах. А вот какова голова — будем судить мы...

Удобную, по росту сшитую одежду отобрали, выдали казенное грубое белье, заплатанный короткий халат, истоптанные кожаные туфли.

Негромко охнула дверь, и наступила тишина. Пахло плесенью и керосином. Лопатин хотел погасить лампу и лечь в постель, но строгий голос остановил:

— Нельзя!

Лопатин повернулся к двери и, увидев в щели круглый, злобно поблескивающий глаз, сказал:

— Зачем зря керосин жечь? Казне убыток...

— Таков порядок. Будет гореть всю ночь. А разговаривать здесь не полагается...

Вот как — не полагается разговаривать, а смеяться и петь — сам не будешь. Словно ты уже и не человек. Можешь только думать. И Лопатин лежал и думал о том, что ждет его завтра. Что сказали о нем Худяков, Никольский, Ведерников? Какими сведениями располагает Следственная комиссия? Надо их опровергать, ничего не признавать. А может, лучше согласиться, если они правдивы? Как это все невероятно, дико, страшно. И прежде всего — страшно за родных. Утром дядюшка напишет письмо о разразившейся беде. Расскажет все, как было. Во время обыска он стоял, плотно прижавшись к стене, будто боялся, что она рухнет, скорбно покачивал головой и, только когда увозили, горько и удивленно сказал:

— Боже мой, какая беда. Невероятная, чудовищная беда.

И в Ставрополе мать и отец воспримут весть из столицы как чудовищную и непоправимую беду... Их любимый сын, соучастник злодея Каракозова, заточен в Петропавловскую крепость. Сестры не поверят, но что они могут противопоставить непоколебимому доводу дядюшки: *«Зря никого не берут. В чем-то замечен, какие-то грешки прилипли к совести».* Примерно так он говорил, возражая своему гостю, профессору Медицинской академии Николаю Николаевичу Зинину, который робко, но все-таки оспаривал виновность литераторов Елисеева, Слепцова и братьев Курочкиных... И отец, свято верящий в законность, повторит слова брата своего: *«Зря никого не берут».*

Вот и сумей вернуть добрую репутацию, опровергнуть укоренившееся представление и доказать на собственном опыте — случается: и берут и мучают зря...

8

У членов Следственной комиссии было так много неотложных дел, что арестованным студентом Лопатиным они занялись только днем 15 мая. За это время Герман успел все обдумать, успокоиться, приобрести уверенность в полнейшем оправдании. Когда принесли свою, столь приятную и желанную одежду, у Лопатина появилась коротенькая надежда: наверное, разобрались, что арестовали напрасно, и выпускают на волю. Забыв, что разговаривать не полагается, спросил жандарма:

— Куда повезешь-то, мил человек?

— Куда положено. А спрашивать арестованному не разрешается!

Привели к следователям. Старший по званию жандармский полковник спал, запрокинув на стул крупную

седую голову. Второй, гвардии капитан, выглядел довольно бодро, быстро и четко заполнял протокол допроса. Лопатин сидел у стола и без труда прочел первые строки: «Допрос вели гвардии капитан Никифораки и полковник Лосев». И стало не по себе: оказывается, тот самый, о котором говорят: «Покажет, где зимуют раки».

Никифораки пристально посмотрел на арестованного, усмехнулся:

— Рассказывайте, господин Лопатин, как дошли до жизни такой.

— Не дошел — довезли. Впервые бесплатно прокатили, а что-то не радует... Утешаюсь поговоркой — с сумою да с тюрьмою не бранись.

— Добавлю — и с дурными приятелями не водись. Так вот, из числа дурных первый Иван Худяков.

— Если мыслить логически, то первым приятелем из числа захваченных вами я считаю Александра Никольского. Я вместе с ним учился в университете, вместе искали кондиции...

— Что сие означает?

— Это служба свободного лица в частном доме, а проще говоря — временный заработок, в котором весьма нуждается бедный, но весьма способный любить и чувствовать студент. Вот я и отношусь к этой категории. У моего отца восемь детей. Мне неудобно, просто стыдно, просить у него деньги.

— Весьма похвально, но мы отвлекаемся. Вы у Никольского встречались с Худяковым?

— Я бывал у Никольского в Загибенном переулке. Он жил в одной квартире с Худяковым, и, естественно, я его видел с Никольским. Однако личного знакомства не получилось: увидев меня, он уходил в свою комнату. Полагаю, что ему моя веселая, склонная к юмору и скептицизму натура не понравилась.

— А скажите, вы у Худякова с Дмитрием Каракозовым встречались? — неожиданно проснувшись спросил полковник Лосев. — Ведь вы не отрицаете, что бывали у Худякова?

— Я говорил, что бывал у Никольского и дважды видел у него Худякова, с которым лично не знаком. А что касается злодея Каракозова, то всемогущий бог миловал, а черт не попутал.

— Вы и Ведерникова не знаете? И с Фортаковым не встречались? — все так же строго спросил Лосев.

— Знаю. Встречался с тем и другим. С преподавателем химии Ведерниковым познакомился в бесплатной школе госпожи Европеус, в которой я вел физику. А к Фортакову, земляку Никольского, заходил за книгами по химии. Он состоятельнее меня, и у него приличная библиотека. А что, разве Андрей Фортаков арестован? Он уехал в Астрахань...

— От суда не уедешь никуда, — усмехнулся Никифораки.

— Совершенно согласен! Судья что плотник: что захочет, то и вырубит.

— Вы слишком резвитесь. Не вам судить... Лучше скажите откровенно, как ваш друг Никольский относится к государственной власти. Каковы его преступные планы?

— Он меня не посвящал в свои планы. Вот по линии прекрасного пола охотно делились.

— Не отвлекайтесь! — приказал Лосев. — У кого вы еще бывали?

— У меня много знакомых в столице по отцу и дядюшке. Бывал довольно часто у действительного статского советника, профессора Медицинской академии Николая Николаевича Зинина, охотно навещал коллежского асессора профессора университета Андрея Нико-

лаевича Бекетова. Довелось посещать воспитательницу ее высочества Александры Иосифовны госпожу Александру Осиповну Ишимову. Хаживал на званые обеды надворного советника Ивана Ивановича Орфанова — он служит в медицинском департаменте военного министерства. Но самый приятный знакомый — полковник Майвалдов...

— Это какой Майвалдов? — прервал Лосев.

— Да вы его, наверное, знаете, — жандармский полковник, чудеснейший человек. У него прекрасная квартира на Невском проспекте, и с его балкона в праздничные дни мне довелось любоваться крестным шествием. Незабываемое, изумительное...

— Погодите, погодите. Вы назвали столь известных и уважаемых государственных мужей как своих знакомых. А каково им сейчас думать о вас, как о государственном преступнике?

Лопатин потер вздрагивающие ладони, посмотрел на красные от бессонницы глаза полковника, сказал с подчеркнутой грустью:

— Вы правы в одном: клевета что уголь: не обожжет, так замарает. Разобьют рыло, да скажут, что так и было. Но я твердо верю, те, что меня знают, про себя думают: чист, как стеклышко, зря мается. Надеюсь, что и вы, господа следователи, рано или поздно — лучше, если рано, — придете к такому же мнению и избавите меня от непрерывного наступления блох. Если бы вы знали, сколько их там развелось! И какого качества! Казематная блоха очень даже неплоха!

Никифораки захохотал. Лосев скупо улыбнулся, сказал:

— На сегодня, пожалуй, хватит. Я прилягу на диванчик, а вы оформляйте бумаги, — и, не снимая сапог, повалился на диван.

Никифораки подвинулся поближе к Лопатину:

— Вам еще повезло, юноша. В Алексеевском равелине крысы весьма внушительных размеров пасутся. Давайте оформим разговор. Вот бумага, напишите показания относительно знакомства с Александром Никольским. Не спешите и ничего лишнего не сочиняйте.

— По принципу — и собой не хвалюсь, и людей не хаю...

— Да, этот принцип подойдет. Некоторые увлекаются сомнительными подробностями, а потом горько раскаиваются. Вот, к примеру, Иван Худяков, о котором мы только что вспоминали, однажды написал откровенное показание и подписал оное, как полагается, честь по чести. Я передал полковнику Лосеву, тот сел вот на этот самый диванчик и стал читать вслух. Худяков послушал, незаметно приблизился к читавшему, выхватил бумагу, быстро изорвал и засунул в рот. Проглотить не успел. Пришлось мне и конвойным крепостной команды буквально из глотки обрывки вытаскивать. Занятие не из приятных. Понятно — порвали рот, да и фигуру помяли. Вот я и хочу предупредить — строго проверяйте себя, будьте внимательны...

— Благодарю за откровенность. Счастьем мы редко обязаны самим себе, но несчастья всегда строим сами.

Лопатин подвинул лист бумаги, задумался, с чего начать и чем кончить. Никифораки подсказал: «Напишите относительно знакомства с Александром Никольским». Значит, Худяков ничего порочащего не сказал. Не спеша, обдумывая каждую фразу, Лопатин стал писать:

«Окончив курс в Ставропольской гимназии в 1862 г., я в том же году поступил в Императорский С.-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета, где познакомился с Александром Никольским и многими другими студентами

того же факультета, находящимися на четвертом курсе и фамилий которых я здесь не упоминаю, как не имеющих никакого прямого отношения к делу, о котором меня спрашивают. Кроме того, я имел в Петербурге несколько других знакомств, стоящих вне университета, и которыми я обязан большею частью прежними связями моих родителей. Из них, если перечисление их может заинтересовать Комиссию, я могу упомянуть: Лопатиных, Орфановых (начальник отделения Военно-медицинского департамента), Зининых (профессор Медицинской академии), Бекетовых (профессор университета), Ишимову (воспитательница ее высочества Александры Иосифовны)...»

Отнял перо от бумаги, подумал, решил, что никого больше называть не нужно, и написал:

«...и некоторых других. С Александром Никольским познакомился в университете, как уже упомянул выше, но посещал его также и на квартире, хотя и не особенно часто. На прежней квартире его встречал не раз его брата Павла, который всегда был со мной очень любезен, но ни в какие более близкие отношения с ним не вступал; даже если заставал его одного, то после нескольких минут разговора обыкновенно уходил. После возвращения моего из Тифлиса, куда ездил на каникулы в сентябре 1865 года, застал Никольского уже на другой квартире, а именно у Фортакова, на Царскосельском проспекте, где он жил вместе с Ведерниковым, с которым я тут же познакомился и даже сошелся ближе по поводу частого размена книг по химии...

Приехав с Кавказа в сентябре 1865 года, в начале ноября я заболел и просидел в комнате, с различными небольшими промежутками, вплоть до Пасхи, после чего стал усиленно приготовляться к экзамену, который рассчитывал сдать в мае, так как крайняя недостаточность моих средств (я живу почти исключительно уро-

ками) понуждала меня к скорейшему окончанию курса и приисканию какой-нибудь службы. Причем прекратил за недосугом почти все свои знакомства. Впрочем, у Никольского на новой его квартире в Загибенном переулке был раза два или три, причем заходил каждый раз после того, как обедал в кухмистерской, находящейся наискось от его квартиры, в том же переулке. Я знал, что он живет с Худяковым, но сам с ним знаком не был, да и видел его всего два раза: первый раз застал их за чаем, причем Худяков взял свой стакан и ушел в свою комнату; в другой раз при моем входе они оба сидели на окне, но Худяков, как и в прошлый раз, ответив на мой поклон, ушел к себе».

Проверил. Ошибок нет, и правды нет. Понятно, врать надо, но только правдоподобно. Если будут проверять или поднимут дело о шуме вокруг Ленца-младшего, то установят, что студент Лопатин болел всего месяц и с середины декабря посещал лекции. И с Никольским встречался чаще, и с Худяковым, конечно, разговаривал.

«Что же касается до личного характера Ал. Никольского, его мнений, планов или действий, то я до сих пор не замечал в них ничего такого, что бы резко отличало его от других знакомых мне молодых людей, или, быть может, при всегдашней сбивчивости его в выражении своих мыслей, я никогда не мог усвоить их себе с совершенною ясностью. Если же он и имел какие-либо преступные мысли или намерения, как это я могу видеть из направления расспросов Комиссии, то, по всей вероятности, не решался сообщать их мне, которого он знал за человека, занятого работою слишком трудною, чтобы иметь время бездельничать, рассуждая о бесплодных умозрениях и теориях... Во всяком случае, сколько я помню, я ни разу не слыхал от него ничего подобного и потому был крайне поражен его арестом, равно как

арестом Ведерникова и Фортакова, которых я знал за людей далеко не радикальных убеждений. Но настоящий мой арест меня много успокоил, так как если эти люди виновны столько же, сколько и я, и если Комиссия в своих суждениях будет руководствоваться, в чем я нисколько не сомневаюсь, только чистой справедливостью и очевидностью, то я льщу себя надеждою, что нам еще придется свидеться на свободе, с честью, восстановленною перед целым светом, и с именем, не запятнанным каким бы то ни было участием в столь возмутительном для каждого русского деле».

Перечел еще раз все показания и поставил подпись: «Студент Герман Лопатин».

Посмотрел на следователей. Блаженно спят. Уморились. Вот встать бы и уйти на волю, да за дверью стоят в полной готовности конвойные крепостной команды.

Лопатин подошел к Никифораки, тихо сказал:

— Вот написал. Проверьте.

Следователь торопливо протер глаза, сел к столу и, позевывая, потягиваясь, стал читать.

Лопатин следил за его лицом, пытаясь отгадать, какое впечатление произведут его показания. И ничего, кроме усталости и желания уснуть, не обнаружил.

Следователь взял вставочку и крупно, четко написал внизу: «Показания отбирал гвардии капитан Никифораки»[22].

Лопатин вытер лицо, подумал: «Слова-то какие: „Показания отбирал"[2]. Получил готовенькие». Чуть слышно попросил:

— Позвольте обратиться с просьбой.

— Я ничего не решаю и ничего позволить не могу.

— Да я хотел попросить Библию. Мне там трудно... Поможет...

— Библию получите. Я передам вашу просьбу протоиерею Полисадову, — пообещал Никифораки и, открыв дверь, распорядился: — Отведите арестованного в его номер.

9

...На второй допрос Лопатина привели в среду 17 мая. Показания снимал капитан Н. Н. Панютин из 1-го лейб-гвардии стрелкового батальона. Присутствовал хмурый, чем-то недовольный подполковник П. А. Черевин. Первые же вопросы насторожили и встревожили Лопатина. Он понял, что с Панютиным нельзя держаться так непринужденно и легкомысленно, как удалось продержаться с А. Н. Никифораки. Служака, любимец царя — еще бы, командир 2-й его величества роты! — Панютин не примет шуток и пословиц. Подавай одни факты.

Долго и нудно Панютин пытался вынудить признание, что в бесплатной школе А. К. Европеус воспитывались нигилисты, сообщники Худякова и Никольского.

Неожиданно явился председатель Следственной комиссии граф М. Н. Муравьев. Грузный, налитый кровью и жиром, багроволицый, плюхнулся на охнувший диван, спросил:

— Кто это такой?

— Студент Петербургского Императорского университета Герман Лопатин.

— Не тебя спрашиваю. Молчи!

Капитан Панютин доложил:

— Привлечен к дознанию как знакомый Никольского и Худякова.

— Значит, бывший студент и сообщник государственного преступника Худякова, а значит, и злодея Каракозова. Что этот волосатик показал?

— Первый допрос вел гвардии капитан Никифораки.

Лопатин встал:

— Я могу повторить сказанное мною пятнадцатого мая. С Худяковым я лично не знаком. Видел его случайно два раза у Никольского. Каракозова не видел и не знаю.

— Случайно! Нечаянно! Все врешь! Капитан Панютин, свидетели по его делу есть?

— Худяков, Никольский...

— Это обвиняемые, а я прошу вызвать свидетелей. Александра Лебедева и его сожительницу... как ее... Комарову.

— Их показания мне известны. Ничего предосудительного они не показали.

— Что же, выходит, и свидетелей нет. Распорядитесь, пусть приведут мальчишку Худякова.

Панютин вышел. Черевин спросил:

— Скажи, Лопатин, тебе рассказывал Никольский о намерении увезти из ссылки за границу государственных преступников Николая Серно-Соловьевича и Николая Чернышевского?

— Впервые слышу о таком намерении. Да и как это можно увезти Николая Серно-Соловьевича за границу, если он умер в Иркутске девятого февраля?..

— Как это умер? — удивился Муравьев. — Твое дело отвечать, а не спрашивать.

— Действительно умер, — усмехнулся Черевин. — Я запамятовал...

Вошел Панютин с худеньким мальчиком лет десятидвенадцати. Муравьев встал, подошел к свидетелю, пригладил толстой тяжелой ладонью его взъерошенные волосы, попросил:

— Андрюша, посмотри-ка хорошенько на этого дядю. Его зовут Герман Лопатин. Понимаешь: Ло-патин. Так вот, вспомни-ка, дружок, приходил ли этот

самый Лопатин, когда у вас в квартире, у Ивана-то Александровича, гостил Каракозов. Тот, которого ты длинным зовешь. В красной рубахе.

Андрюшка Кондратьев с минуту рассматривал Лопатина. Испуганные детские глаза встретились с юношескими спокойными подбадривающими глазами. Мальчик усердно вытер рукавом лицо, уверенно сказал:

— Многие к Ивану Александровичу-то хаживали, а вот такого волосатого и бородатого не помню.

— У него борода здесь выросла. Ее можно сбрить хоть сейчас. Ты постарайся — вспомни! Не торопись...

Андрюша еще раз осмотрел стоящего против него и даже обошел, вглядываясь снизу вверх, потом втянул в плечи тонкую бледную шею:

— Не. Длинного, в красной рубахе, я и встречал на лестнице и приводил, а этого не видел.

— Как это не видел? А вот он сам, Лопатин, признает, что бывал у твоего Ивана Александровича.

— Может, и приходил, когда я на улице играл. В пятнашки, в казаки-разбойники.

— Тоже мне казак-разбойник. Уберите...

Муравьев сел на диван, спросил Панютина:

— Скажите, а полячишка, все забываю как его... Корево или Карево?.. Чуть ли не Корова...

— Игнатий Карево дает обстоятельные показания по московской «Организации». В Петербурге он не бывал...

— Жаль! Ну я пойду, а вы продолжайте дознание.

И еще час, а может, и больше капитан Панютин задавал вопросы о школе Европеус и ее ученицах, об Александре Никольском и его знакомых. А когда устал, выдал два листа бумаги и предложил:

— Напишите, какое вообще направление имела школа и соответствовала ли она своей цели в отношении педагогическом и какое вы можете сделать о школе госпожи Европеус заключение.

И Лопатин написал объяснение:

«В начале 1865 года Александр Никольский предложил мне давать уроки в бесплатной школе Европеус. Относительно цели, устройства, состава и направления школы он мне сообщил, что школа разделяется на два главных отдела: старший и младший. В младшем классе предполагалось давать первоначальные элементарные познания приходящим детям недостаточных родителей, если не ошибаюсь, без различия сословий; в этом классе проходили: закон божий, арифметику, географию, русский язык и чистописание. При открытии же старшего класса, по его словам, имелось в виду дать возможность девушкам, не получившим порядочного образования дома, а между тем, по недостатку средств, принужденным жить своим трудом, получить здесь сведения такого рода, которые позволили бы им выдержать экзамен на гувернанток или домашних учительниц и впоследствии добросовестно исполнять эту обязанность. Так как я до тех пор давал уроки исключительно из предметов математических и так как из таких предметов осталась незанятою одна физика, то я и взял ее на себя, тем более, что один час в неделю, ввиду столь доброго дела, не мог составить для меня большого труда. В старшем классе, сколько помнится, я застал двух Лебедевых (обе выдержали экзамены), Шемякину, Головину и еще какую-то косую девушку, фамилию которой теперь не припоминаю; но всех их я знал только в лицо, так как из них у меня училась одна только Шемякина. Вообще все ученицы стояли на разной степени познаний, требовали совершенно отдельных курсов, почему в преподавании происходил большой беспорядок и вообще все дело шло очень вяло, что скоро охладило мое усердие, так что я с большим удовольствием воспользовался поездкой моей на Кавказ (в начале апреля 1865 г.) как удобным предлогом

для разорвания всех моих связей со школою, которую, по моем возвращении, не посетил *ни разу*.

Я знаю, что в школе бывали учительские собрания для обсуждения педагогических вопросов, но на них я тоже *ни разу* не был, несмотря на неоднократные приглашения, отговариваясь недосугом, что, впрочем, могут подтвердить как сама г-жа Европеус, так и А. Никольский, которые также могут засвидетельствовать, что им ни разу не случалось видеть меня в школе, кроме дней, в которые приходился мой урок. Относительно же вредного будто бы направления школы, относительно проектов воспитания детей так называемых нигилистов и пр., пр. имею честь объяснить, что все это я в первый раз услышал здесь, в Комиссии.

Студент Герман Лопатин».

Прочел внимательно и, ничего не исправляя, передал листки следователю.

Капитану Пашотину показания не понравились:

— Вы не ответили на основной вопрос: каково же направление школы госпожи Европеус? По-вашему, выходит так, что ее совершенно напрасно арестовали.

— И по-вашему так же получится. Ибо сказано в Библии: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды».

Капитан Пашотин удивленно и растерянно посмотрел на арестованного:

— И мы поступаем по священному писанию. Требуем только правды... Вы поймите и меня, не могу же я подписать показание, в котором по сути ничего не показано. Ведь их будет смотреть сам Муравьев. Вы хотя бы о характере этой госпожи написали.

— Попробую.

Лопатин склонился над чистым листом. Как это все мерзко и подло. Выискивать какие-то отрицательные

качества у человека, который стремился совершить доброе дело и платил деньги, в которых ты так нуждался. Подло! Трижды подло поступил Муравьев, вытащив свидетелем малолетнего воспитанника Худякова. Ведь по существу-то он приемный сын Ивана Александровича. И вот сына используют, чтобы подвести под виселицу отца. А он очень даже ничего оказался, Андрей-воробей...

— Вы пишите, пишите! — попросил Панютин. — У меня сегодня еще два дознания.

И Лопатин написал:

«В характере г-жи Европеус были весьма многие черты, как-то: отсутствие некоторых общепринятых манер, известные черты костюма и пр., которые в обществе принято в последнее время называть нигилистическими, но я не думаю, чтобы она могла последовательно применять эти взгляды к воспитанию детей, хотя от примеси их к установившимся уже взглядам и мнениям и происходила та путаница и безалаберность в преподавании, о которой я упоминал выше и которая так сердила учителей, что Никольский, например, летом 1865 года совершенно разошелся с ней, и на мои вопросы об этом предмете отвечал: «...это такая баба, с которой не сделаешь ничего порядочного; у ней сегодня одно, завтра другое», и когда я спрашивал его, что он разумеет под словом порядочное, он мне начинал объяснять, что она не хочет последовательно держаться строго обдуманной учебной программы, составленной учителями, а вводит разные пансионские замашки по требованию некоторых *тонных* родителей и что ее школа не чужда тех надумательств, основанных на наружной полировке воспитанников, которые должны быть совершенно изгнаны из порядочной школы нынешнего времени. К самой Европеус за разъяснением этих недоразумений я не пошел, боясь, что она опять предложит

мне учить у нее, что мне уже очень надоело, тем более, что я уже давно убедился, что подобные бессвязные отдельные курсы не приносят ровно никакой пользы. Никольский хотел основать другую школу на началах более систематических и приглашал меня к участию в ней, от чего я не отказывался; но это предприятие пало само собою, частию по недостатку средств и учителей, частию потому, что Никольский, занятый в последнее время переводом Оуэна, совершенно позабыл и думать о каких-нибудь школах».

Пробежал написанное, и стало противно: три растянутые фразы — этакая резина, да скверно пахнущая. Неприятно, отвратительно! Закрыл лицо ладонями.

— Дополнение весьма обстоятельное,— одобрил Папютин.— Девица Комарова рассказывала о пикантном романе Шемякиной и Орфанова. Включите сюда эту любовную историю.

— Зачем? Орфанов познакомился с Шемякиной на даче, под Ижорой, ходил за ней как тень и ничего не выходил.

— Вот так и отразите. Вот так и покажите нравы госпожи Европеус... На этом и закончим...

Лопатин написал еще один абзац.

Следователь сказал:

— Наконец-то одолели,— и скрепил стремительно бегущими словами: «Показание снимал капитан Папютин»[23].

10

Прошло две недели. Лопатин ежедневно готовился к вызову на допрос и не понимал, почему его забыли. Может, уже превратили из свидетеля в обвиняемого. С момента ареста ни единого письма, ни одной передачи с воли. Как будто нет ни родных, ни знакомых,

Все отказались, все забыли. И только 3 июня появилась слабенькая надежда: на прогулке, когда конвойные закуривали, Николай Соколов тихонько сообщил:

— Моего соседа, Григория Благосветлова, вчера выпустили...

...Время тянулось томительно медленно. Выручала переданная Полисадовым толстенная Библия. Читал не спеша, запоминал афористические изречения. Полюбившуюся «Песнь песней» Соломона выучил наизусть. Пожалуй, никто вот так прекрасно и возвышенно не сказал о любви.

В среду 7 июня вызвали на допрос.

У стола сидел гвардии капитан Никифораки. Полковник Лосев дремал на диване. Следователи совершенно не интересовались школой госпожи Европеус. О Никольском задали два-три пустяковых вопроса. Долго, упорно выпытывали, что арестованному известно о связях Худякова с Ишутиным, Каракозовым и другими преступниками из московской «Организации». Никифораки доставал из папки фотографию, показывал ее и, не спуская глаз с Лопатина, спрашивал:

— Знакомы? Что вам о нем известно? — и, получив отрицательный ответ, называл обвиняемого и вытаскивал новый снимок. Начал с Николая Ишутина — с «главаря» «Организации». Потом показал Дмитрия Каракозова, и Лопатин узнал его характерное лицо, но твердо ответил «нет». Так же решительно отказался от Дмитрия Юрасова и Петра Николаева. А вот тонкие, аристократические юношеские черты Николая Странден опознал и потому чуть-чуть промедлил с ответом, да и в отрицании должной твердости не проявил. Полковник Лосев сразу же открыл глаза, глянул на фотографию, словно бы прилипшую к ладони Никифораки, и уверенно сказал:

— Ага! Вы встречались с Николаем Странденом и Петром Ермоловым, когда они приезжали накануне страстной недели в столицу и разыскивали Дмитрия Каракозова. И вы видели их у Никольского. Вот почему вы растерялись, когда вам показали Странден.

Лопатина поразила наблюдательность Лосева. Опытный черт! И все было так, как он говорит. Неужели Странден выдал? Все равно, надо отрицать эту встречу. Лопатин, нарочито улыбаясь, сказал:

— У вас хороший слух, ваше высокоблагородие. Вы уловили некоторую растерянность в моем голосе. Дело в том, что этот Странден удивительно похож на моего брата Всеволода, только у моего братца лоб более высокий и выпуклый и цвет волос потемнее. Такой же, как у меня.

— А между прочим, Странден и Ермолов входят в группу «Ад». Они мортусы, а по-русски говоря — мертвецы, способные на любое преступление.

— Мне с ними не по пути. Хотя у меня и есть грешки по женской части, я твердо рассчитываю на рай в потустороннем мире. Только на рай.

Полковник Лосев запрокинул голову, закрыл глаза.

Никифораки вытащил портрет Петра Ермолова:

— Знакомы?

— Нет.

И еще был показан десяток фотографий, и на каждую следовало решительное — нет!

Допрос подходил к концу, когда Лосев открыл глаза и спросил:

— Что вам Худяков рассказывал об «Европейском революционном комитете»?

— Я с ним не разговаривал. Да и что можно сообщить об «Европейском революционном комитете», если такового в Европе нет. Есть Международное товарищество рабочих — Интернационал.

— А вам-то откуда оно известно?

— Это известно всем читающим газеты. И особенно иностранные.

Получив такой исчерпывающий ответ, Лосев больше ничего не спрашивал и, кажется, задремал по-настоящему.

Лопатин написал короткое письменное показание. Никифораки прочел, подписал, улыбнулся:

— По этому сочинению вас в рай можно впустить. Выходит, Библия вам помогает.

— Да, благодарю вас.

— Благодарите известного вам Полисадова.

— Отблагодарю на экзамене.

— Весьма вероятно, вы еще встретитесь на экзамене... если вас уже не исключили. Будь моя воля, я отпустил бы такого молодца сегодня.

Закрыл дело, вызвал конвойных:

— Отведите свидетеля в его номер.

И в этом номере Лопатин томился еще тридцать семь дней. Только 14 июля 1866 года его выпустили на свободу.

В крепости не задерживался: кто их, окаянных мерзавцев, знает — вдруг еще раздумают и вернут в Невскую куртину.

День был солнечным, жарким. Лопатин постоял у Невы, решая, куда идти, у кого остановиться на ночлег, кто может принять бывшего арестанта. К дядюшке, Алексею Никоновичу, что-то не тянет. Прошел ли его испуг — надо выяснить. Братья Никольские и Иван Ведерников еще под властью Муравьева в Петропавловке. Профессора Бекетов и Зинин, понятно, отпадают. И к жандармам Майвалдову и Логиновскому теперь уже нельзя заходить. Достопочтенная Александра Осиповна Ишимова выгонит. Придется идти к постоянному другу Николаю Францевичу Даниельсону.

И Лопатин потихоньку пошел на Большую Конюшенную. Заметил, что прохожие, особенно дети, взглянув на него, удивленно улыбаются. Зашел в ближайший магазин мануфактуры и галантереи, посмотрел в зеркало, увидел сплошь заросшее лицо, взлохмаченные длинные волосы и не узнал самого себя. И похудел и постарел. Тюрьма не красит. Мелькнула озорная мысль — подшутить над другом, изменить голос, представиться дальним родственником или курьером Общества взаимного кредита. Не удалось. Николая Даниельсона дома не оказалось. Прождав часа три и очень проголодавшись, поплелся на Фонтанку — к дядюшке.

Долго стоял на лестнице, надеясь, что выйдет кухарка Аннушка, все расскажет, и тогда можно будет решить, где ночевать, где жить. Не вытерпел, негромко постучал.

Дверь приоткрыла Аннушка, спросила:

— Кто там?

— Племянник Алексея Никоновича Лопатина — Всеволод Александрович. Из Москвы, — хрипловатым баском произнес Герман. — Доложите, пожалуйста.

— Да господа-то в гости ушли. К Смуткиным. Посидите. Они скоро вернутся.

— Вот и хорошо! — обрадовался Герман. — Покорми меня, Аннушка. Я ужасно проголодался.

— Ой, Герман Александрович. Да вы совсем и непохожий. Вы как... насовсем к нам пожаловали?

— Выпустили. За мной ничего плохого не было и нет. А как дядюшка, очень на меня сердит?

— Первое время ругал, а потом стал сомневаться и даже в эту самую окаянную крепость хаживал, просил свидание, а вот не дали. И письма не приняли. Горевал. А мы с тетушкой так даже очень шибко плакали. Жалко... И сейчас не могу на вас глядеть. Испортили всю наружность. Идите с богом на кухню, а я

мигом соберу все для баньки. Поди ползают или прыгают какие-нибудь...

— Пожалуй, только прыгают. Я в бане задержусь, а вы дядюшке и тетушке пока ничего не говорите. Постучу легонько три раза, и вы откроете...

— Я вас подожду. Не тужите...

...На своем столе Герман увидел письма: от матери, младших братьев и сестер. В материнском конверте нашел пять рублей. Неровные, закапанные слезами строчки прочел по дороге в баню. И опять наплыла грусть. Тяжело маме, очень тяжело. Завернул на почту. Послал родным телеграмму.

Мылся долго. Из бани вышел последним. Как хорошо почувствовать себя чистым, совершенно чистым. И можно вволю разговаривать и смеяться. И читать газеты, журналы и книги. И улыбаться и нравиться женщинам. Любить и быть любимым. И уснуть на белой простыне и на мягкой подушке. И увидеть спокойные, светлые сны. И не просыпаться, не вздрагивать от скрипа заслонки, в которую круглые сутки подсматривает жандарм и которую арестанты зовут «иудушкой».

Над столицей белая, теплая, Пушкиным воспетая ночь.

...Дядюшка и тетушка, сытые и чуточку хмельные, крепко спали.

Герман неслышно прошел в свою комнату, у окна перечел письма из Ставрополя, лег и сразу же уснул...

Проснулся от легкого скрипа двери. К кровати шел дядюшка, Алексей Никонович. Лицо у него было строгим, но губы, не покоряясь, чуть-чуть улыбались. И голос был нарочито строгим:

— Ну как, выпустили или сбежал?

— Выпустили, выпустили!

— Под надзор полиции... или в ссылку?

— Полнейшая, ничем не ограниченная свобода. Произвол слопал два месяца моей жизни. И не только моей. Половина узников Петропавловки уже вышла на волю.

— Чем же будешь теперь заниматься?

— Готовиться к выпускным экзаменам в университете.

— Так тебя же уволили из университета.

— Исключили? Скверно. Буду осенью писать прошение. Я не виноват. Должны восстановить.

— Пошутил. Профессор Андрей Николаевич Бекетов мне говорил, что вопрос о твоем пребывании в университете отложен до осени. И вроде бы он хлопотал, и Менделеев тоже, и Кесслер. Уважают там тебя, борода, а за что — никак не пойму. Ну и оброс там, в казенных-то хоромах, форменный старовер. Вставай! У меня есть мерзавчик, выпьем по случаю полнейшего оправдания. По такому чувствительному случаю даже трезвеннику нельзя не выпить...

11

Два месяца Герман Лопатин готовился к окончательным экзаменам в университете. Восстановил прежний режим дня — вставал в 7 часов утра, завтракал и непрерывно занимался до обеда. Вечерами заходил за учебниками к Николаю Любавину, который за короткое время собрал хорошую научную библиотеку и не скрывал намерения посвятить свою жизнь любимому делу — химии. На его столе возвышалась высокая пачка тетрадей с конспектами лекций и подробнейшими записями из книг и журналов. Любавин переводил статьи из немецких и английских периодических изданий, отыскивая фактический материал для диссертационного

труда, подсказанного любимым профессором Д. И. Менделеевым, — «Химия белковых веществ».

Любавин охотно и обстоятельно рассказывал о своих успехах, об опытах, проведенных в бывшей лаборатории Н. Н. Соколова на Галерной улице[24], о знакомстве с знаменитым химиком академиком Николаем Николаевичем Зининым. Лопатину хвастовство не нравилось, но он терпеливо выслушивал товарища и, отыскав нужное пособие, торопливо уходил домой.

Поболтать вволю, раскрыть душу, узнать новости можно было у Николая Даниельсона. У него Лопатин познакомился с Михаилом Федоровичем Негрескулом, женатым на дочери П. Л. Лаврова — Марии Петровне.

Выпускник коммерческого училища, служащий Общества взаимного кредита, Михаил Негрескул знал многих литераторов и журналистов, интересовался судьбой арестованных по делу 4 апреля и с радостью сообщал о тех из них, что уже выпущены из Петропавловской крепости «совершенно чистыми» — без каких бы то ни было последствий. Председателю Следственной комиссии Муравьеву не удалось заковать в кандалы всю прогрессивную Россию.

Бывший виленский диктатор после безудержного трехмесячного террора, заполнив казематы Петропавловки и закрыв «Современник» и «Русское слово», сдал все следственные дела Верховному уголовному суду под председательством князя П. П. Гагарина и, подав царю «Всеподданнейшую записку», выехал в свое имение — сельцо Сырце Лужского уезда. Подполковник Черевин исправно доносил своему старому хозяину о ходе суда, начавшегося 18 августа, над Каракозовым и его десятью сообщниками. Еще в июле месяце в печатных и устных выступлениях Муравьев требовал смертной казни всем одиннадцати подсудимым. Весть

о том, что виселица грозит только одному «главному злодею», окончательно сразила Муравьева.

В четверг 1 сентября 1866 года Герман Лопатин прочел в газете «Северная почта» извещение о «кончине графа Михаила Николаевича Муравьева».

На следующий день во всех столичных газетах появилось сообщение: «3-го сентября сего года, в 7 часов утра, в С.-Петербурге, на Смоленском поле, приведен будет в исполнение приговор Верховного уголовного суда, постановленного 31-го августа 1866 г. о государственном преступнике Дмитрии Каракозове».

Две смерти...

Знаменитого деспота и палача похоронили почтительно и торжественно в Александро-Невской лавре.

Глубоко, облегченно вздохнула молодая прогрессивная Россия,— прочно лег в оцинкованный ящик Муравьев, «который вешает».

О последних часах Дмитрия Владимировича Каракозова в газетах ничего не сообщалось. Проститься с ним на широкое Смоленское поле пришли люди рабочих окраин. И благословляемый в петлю своим духовником и главным мучителем протопресом Полисадовым «промахнувшийся цареубийца» Дмитрий Каракозов видел вокруг скорбные и печальные лица своих незнакомых многочисленных друзей. Видел простой народ, во имя счастья которого шел на эшафот. Истомленный пытками, голодом, бессонницей, угрозами Муравьева и Полисадова двадцатипятилетний Дмитрий Каракозов заявил своим мучителям:

«...Если бы у меня было сто жизней, а не одна, и если бы народ потребовал, чтобы я все сто жизней принес в жертву народному благу... я ни минуты не поколебался бы принести такую жертву».

Каракозов стоял у позорного столба на высоком, черного цвета эшафоте. Его видели все. Секретарь

Верховного уголовного суда Г. Я. Есипович сбивчиво и невнятно прочел приговор, томительно гулко забили барабаны, солдаты взяли на караул. В едином порыве люди обнажили головы.

Петля свирепо захлестнула тонкую, хрупкую шею человека, выстрел которого всколыхнул Россию. Его положили в некрашеный сосновый гроб и туго затянули веревкой, словно опасались, что он может встать и... не промахнуться. Погрузили на телегу. Зарыли на глухом пустыре Голодая. По могиле прошла рота солдат и сравняла ее с землей...

12

14 сентября 1866 года Герман Лопатин написал ректору университета А. А. Воскресенскому прошение:

«Прослушав полный курс физико-математического факультета, по отделению естественных наук, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство сделать распоряжение о допущении меня к окончательным испытаниям» [25].

В канцелярии встретил инспектора Озерецкого. Поклонился.

Озерецкий поморщился, подошел вплотную, вполголоса спросил:

— Скажите, как вы освободились из крепости... без последствий?

— Так точно, господин инспектор. Я ни в чем не повинен.

— Вот и хорошо. Кто-то о вас рассказывал? Так, вспомнил, — протоиерей Василий Петрович Полисадов восхищался вами. Оказывается, и в камере вы изучали Библию, готовились к экзамену по богословию.

— Да, Библия мне очень помогла. Разрешите узнать, господин инспектор, когда можно будет прийти за свидетельством?

— Если у его превосходительства господина ректора не будет особых соображений, то через недельку получите.

Эта неделька показалась Лопатину очень длинной. Он узнал, что, кроме него, подали прошения о сдаче окончательных экзаменов его однокурсники: Александр Буняковский, Александр Поливанов, Евгений Варгунин и Александр Берс. Никто из них арестован не был. Только 24 сентября Герман Лопатин успокоился, узнав о том, что ректор удовлетворил его просьбу и декан физико-математического факультета Пафнутий Львович Чебышев принял заявления всех экзаменующихся.

А через два дня Герман Лопатин получил свидетельство, в котором указывалось, что он «выслушал полный курс по естественному отделению физико-математического факультета при хорошем поведении, а 22 сентября 1866 года, согласно прошению, допущен означенный студент для держания окончательного экзамена, в удостоверении чего и дано Лопатину это свидетельство из Правления университета.

Настоящее свидетельство может служить г. Лопатину видом на жительство впредь до выезда»[26].

Лопатин обрадовался хорошей оценке по поведению — ведь выставил ее придирчивый и строгий инспектор Озерецкий, с которым за время учебы было много неприятных встреч и разговоров.

К экзаменам Лопатин хорошо подготовился и не испытывал сковывающей робости или растерянности, обычно наступающих в такое трудное время студенческой жизни. Радовался встрече, после продолжительной разлуки, с любимыми профессорами и представившейся возможности не столько отвечать, сколько беседовать

с ними и еще раз доказать, что он их очень уважает и за четыре года многому у них научился. По пяти предметам естествознания экзаменовали такие заслуженные ученые, как Андрей Николаевич Бекетов и Андрей Сергеевич Фаминцын. И по всем пяти предметам Лопатин получил отличные оценки.

Андрей Николаевич пожурил бывшего студента:

— Что же вы совершенно перестали заходить ко мне? Нехорошо! По субботам у меня по-прежнему собираются любители естествознания. Милости прошу! Да, кстати, вы знаете, что наш общий знакомый, Климент Аркадьевич Тимирязев, блестяще выдержал испытание на ученую степень кандидата наук? Его «История развития печеночных мхов» удостоена золотой медали. Вот вам прекрасный пример для подражания.

— Я подумаю об этом.

— И еще один совет. Судя по всему, вы нуждаетесь в заработке. Вы довольно сносно владеете немецким языком. Займитесь переводами научных статей из области естественных наук. Я охотно окажу содействие в их публикации. Мы начинаем собирать материалы для первого тома трудов Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Возможно, нам удастся со временем выпросить периодический журнал.

— Очень признателен вам, господин профессор.

Курс неорганической и органической химии принимал профессор Дмитрий Иванович Менделеев. Ответами остался доволен. Спросил улыбаясь:

— И каковы ваши дальнейшие планы?

— Буду искать какую-нибудь службу... для хлеба насущного.

— А почему бы вам не остаться у нас, в университете? Со временем напишете рассуждение на получение степени кандидата наук. Готов всячески содействовать.

— Рассуждение, возможно, и сочиню, а вот на работу в университете не могу рассчитывать. Попечитель учебного округа тайный советник Делянов ненавидит меня. Не пропустит...

— Очень жаль. Будем надеяться на преклонный возраст и уход на пенсию господина Делянова. Постарайтесь в будущем году получить степень кандидата наук. Это крайне необходимо. Желаю вам дальнейших успехов, Герман Александрович.

С чувством неприязни, граничащей с презрением, шел Герман Лопатин на экзамен по богословию. Нужно было отвечать на вопросы протоиерея Полисадова, который помогал жандармам «приводить в сознание» Дмитрия Каракозова и его сопроцессников по делу 4 апреля. И в эти дни «духовный наставник» все еще ездил в Петропавловскую крепость, готовил к виселице Николая Ишутина и надеялся, что можно сломить волю и подвести под казнь Ивана Худякова.

Лопатин понимал, что экзамен по богословию нужно обязательно сдать отлично,— в дипломе этот предмет стоит первым. И, подавив отвращение, сыграл трудную роль «истинного христианина», полтора часа радовал экзаменатора длинными цитатами из священного писания и победил самого Полисадова. При сем присутствующий протоиерей университетской церкви Сорярский не выдержал:

— Какая великолепная память! Прочел почти всю книгу Екклесиаста, слово в слово. Никогда ничего подобного мне слышать не доводилось!

Последний экзамен — по французскому языку — оказался самым трудным. Надворному советнику Давыду Давыдовичу Марго не понравилось явно нефранцузское произношение Лопатина, и он поставил оценку неопределенную — «знания достаточны».

13

3 октября после обеда дядюшка хмуро сообщил племяннику:

— Завтра на Смоленском поле будет приведен в исполнение приговор Верховного суда о государственных преступниках.

— Завтра? В какое время?

— В семь часов утра. А зачем это тебе? Неужели пойдешь?

Герман ответил не сразу:

— Может, и пойду. Я еще не видел, как людей вешают. Все надо знать...

И ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег на кровать, подложил под голову ладони. Попытался представить, что думает, как готовится к последнему выезду из Алексеевского равелина на лобное место столицы — Смоленское поле — Иван Александрович Худяков. Из всех осужденных — это самый талантливый, да и больше всех успевший сделать полезного для народа человек. Это понимают не только друзья, но, пожалуй даже в большей степени, враги. Друг и биограф Муравьева-вешателя, реакционнейший идеолог самодержавия, Катков в своих «Московских ведомостях» писал 3 августа о том, что из более серьезных деятелей к процессу Каракозова привлечен человек, который имеет несравненно большее значение, чем все его московские товарищи, вместе взятые. Это своеобразное указание судьям Катков повторил еще дважды, называя Худякова «главным двигателем дела».

С неутихающей грустью думал Лопатин и о своем друге Александре Никольском. К какой мере наказания его приговорили? Может быть, на рассвете повезут на Смоленское поле — на гражданскую казнь, на позорнейшее шельмование? А ведь он такой же государст-

венный преступник, как и Герман Лопатин. И появилось твердое решение — надо пойти проститься с хорошими людьми. Конечно, дядюшка очень рассердится, но нельзя изменять делу, которому начал служить.

Лопатин не боялся, что проспит. Какой там сон! Маета одна... Встал в 6 часов. Посмотрел в окно. Стекла сырые. Надо взять накидку. Сунул в карман горбушку хлеба и, никого не разбудив, тихо вышел на улицу. Не по времени ранний и никому не нужный, падал темными хлопьями мокрый снег и сразу же таял. Под ногами чернели набухшие лужи. И в небе нет просвета — давит на город серо-свинцовая туча. Мелькнула трусоватая мыслишка — вернуться под теплое одеяло и выспаться по-настоящему. Лопатин выругал самого себя и стремительно зашагал по пустым улицам. Только за Дворцовым мостом догнал прохожих, судя по одежде, рабочих или ремесленников.

Лопатин думал, что придет к лобному месту одним из первых, но Средний проспект был целиком заполнен народом, пришлось замедлить шаг и влиться в толпу, текущую к Смоленскому полю. Холодный ветер, долго бросавший в лицо пригоршни снега, здесь потерял силу. И сразу стало теплее от жаркого дыхания крепких, молчаливых, угрюмо сдвинувших брови людей. У них не было зонтиков, непромокаемых плащей или накидок — простонародью они не положены...

В центре поля возвышался довольно широкий, траурного цвета эшафот. Чуть правее четко выделялась виселица. Лопатин насчитал на эшафоте одиннадцать столбов. Значит, привезут одиннадцать осужденных, а повесят одного. Кого? Ишутина или Худякова? Неужели Худякова?

От Среднего проспекта донеслись голоса: «Едут! Едут! Везут!» — и солдаты прикладами оттолкнули в стороны закрывших проезд.

Их везли на простых, ничем не покрытых телегах. Они стояли в полный рост, повернувшись спиной к лошадям и нелепо вытянув руки, перехваченные ручными кандалами, от которых тянулась и намертво держала на месте ржавая железная цепь. Поверх гражданской одежды на них были натянуты казенные уродливые серые халаты. На груди покачивались белые доски с черной крупной надписью — «Государственный преступник».

Лопатин узнал синеватое от стужи худущее лицо Николая Страндена. Потом, покачиваясь на выбоинах, медленно проплыли четверо незнакомых (видно, москвичи), а пятым был Иван Александрович Худяков в длинном, болтающемся на узких плечах, заплатанном грязном халате. Он очень озяб и, пытаясь согреться, сердито стучал старенькими сапогами о гулкие доски телеги. Лопатин вздрогнул, когда на какие-то доли секунды глаза Худякова встретились с его взглядом. Худяков улыбнулся и неловко кивнул головой, и кто-то сказал удивленно:

— Смотрите, какой одержимый — на краю могилы, а смеется...

Протарахтела по камням последняя телега, и Лопатин обрадовался — Александра Никольского среди главных преступников нет... Может, его уже выпустили,— ведь при обыске никаких вещественных доказательств жандармы не нашли.

Палачи довольно быстро расставили осужденных и пристегнули цепями к столбам.

Секретарь Верховного уголовного суда Г. Я. Есипович, напрягая голос, стал читать приговор. В напряженной тишине Лопатин услышал:

«Ишутина как зачинщика замыслов о цареубийстве, уличенного в незаявлении правительству о известном ему преступном намерении Каракозова, и как основателя обществ, действия коих клонились к экономиче-

скому перевороту, с нарушением прав собственности и ниспровержением государственного устройства, лишить всех прав и казнить смертию через повешение».

Палач что-то сказал невысокому, сутуловатому, бескровно-бледному Ишутину, положил на его узкое плечо крупную красную руку, и, словно от ее непомерной тяжести, смертник рухнул на колени. Над его головой слабо хрустнула, словно была деревянной, шпага и неожиданно звонко лязгнули у столба ее обломки.

К одной и той же мере наказания — к бессрочным каторжным работам — были приговорены Николай Странден и Дмитрий Юрасов, и на помост они опустились одновременно и словно застыли коленопреклоненными, когда над ними, лишая дворянского звания, сломали шпаги.

А когда подошел черед гражданской казни названного домашним учителем Ивана Александровича Худякова, он низко поклонился народу на три стороны и, не ожидая команды, стал на колени.

Лопатин не поверил услышанному:

«Худякова, не изобличенного в знании о намерении Каракозова совершить покушение на жизнь священной особы государя императора и в способствовании Каракозову в этом преступлении, но уличенного в знании о существовании и противозаконных целях тайного общества, лишить на основании третьей части 318-й статьи уложения 1866 года всех прав состояния и сослать на поселение в отдаленнейших местах Сибири».

Значит — ссылка! Ведь это победа одного революционера над целой сворой опытнейших следователей во главе с Муравьевым-вешателем, победа над реакционными писателями, возглавляемыми Катковым, победа над судьями, лишенными права применить 241-ю, 242-ю и 243-ю смертные статьи. А в ссылке можно работать... И можно убежать...

Палачи взяли под руки Николая Ишутина и отвели, а правильнее сказать — отнесли его легкое тело на малый эшафот — под виселицу.

К осужденному степенно и важно подошел священник в длинной черной ризе. Лопатин узнал протоиерея Полисадова. Краснобай, прекрасно знающий цену каждому публичному жесту и слову, он не прочел, а торжественно продекламировал отходную молитву. И все стоявшие на Смоленском поле обнажили головы.

Полисадов припечатал к губам Ишутина слабо блеснувший крест и мелкими шажками (видно, боялся поскользнуться) сошел с эшафота.

Ишутин хотел что-то сказать, но так и не мог произнести последних слов, только трижды бессильно мотнул рано поседевшей головой.

Палачи завязали Николаю Ишутину какой-то темной тряпкой глаза. Не спеша натянули на обмякшее тело явно не по росту подобранный саван. Рослый, сильный, еще Муравьевым приглашенный из Вильно, опытный палач без особого труда поднял осужденного и поставил на скамейку.

Стоявшая рядом с Лопатиным молодая женщина отвернулась, всхлипнула:

— Да што они делают, душегубы...

Люди стояли безмолвно, с обнаженными головами, и по щекам их текли крупные капли, словно все плакали.

Где-то далеко, должно быть на Среднем проспекте, возбужденно и громко закричали:

— Фельдъегерь едет! Из дворца фельдъегерь...

И площадь отозвалась требованием:

— Остановитесь! Не трогайте его! Везут бумагу.

Лопатин оглянулся и увидел пару лоснящихся от дождя резвых лошадей и человека в дрожках, размахивающего пакетом.

Толпа уплотнилась, образовала коридор, и по нему, шурша по лужам шинами, прошумели дрожки.

Фельдъегерь передал пакет министру юстиции Д. Н. Замятину. Он поднялся на большой эшафот, махнул рукой палачам, и они сняли с шеи Ишутина петлю и стянули саван. Приглашенный из Вильно вешатель нарочито громко, назидательно спросил:

— Ну что, не будешь больше?

Ишутин шумно, жадно дышал, плечи его часто тряслись, ноги подкашивались. На помосте появился духовный наставник, профессор богословия Полисадов, поднес к губам «воскресающего из мертвых» крест и цепко подхватил под руку.

Министр поднял руку, дождался полнейшей тишины и громко, чтобы все слышали, прочел всемилостивейшее его императорского величества повеление — даровать Николаю Ишутину жизнь и засим, на основании 71-й статьи Уложения о наказаниях, сослать на каторжные работы в рудниках без срока.

Стоявший справа от Лопатина мастеровой натянул на голову картуз, сказал сердито:

— Ай какие там работы! Разве можно такое перенести? Сгубили человека, — и стал проталкиваться к Среднему проспекту.

Министр сообщил о великой милости государя, заменившего Николаю Страндену бессрочную каторгу двадцатилетними работами на рудниках, а Петру Ермолову и Дмитрию Юрасову уменьшившего срок — до десяти лет. И еще вычитывал что-то, но народ уже не слушал, народ уходил с площади гражданской казни. И вместе со всеми, прислушиваясь к разговорам, зашагал к дому Герман Лопатин. Какой-то пожилой чиновник сожалел, что двоюродный брат Каракозова Ишутин избежал заслуженной кары, а главный виновник «апрельской истории», автор крамольных книг Худяков, отделался

легким страхом и непременно «удерет из этих самых отдаленнейших мест Сибири». Его собеседник радовался, что «злодейское дело» не полыхнуло страшным мужицким восстанием и благодаря государевым мерам ровно через полгода закончилось полнейшим разгромом кучки заговорщиков.

На Фонтанке, у родного дома № 102, Герман Лопатин встретил Александра Никольского. Был он бледен, худощав, бородат и нещадно исхлестан дождем. Скороговоркой сообщил:

— Здесь разговаривать нельзя. Буду ждать в гардеробе Публичной библиотеки.

— Я переоденусь и сразу приеду, — пообещал Лопатин.

Добрый дружок, кухарка Аннушка, торопливо рассказала, что дядюшка ушел на службу очень разгневанным, а хозяйка Амалия Эрнестовна даже грозилась выставить Германа — «неблагодарного, дурно воспитанного шалопая» — на улицу.

Лопатин быстро позавтракал, попросил:

— Милая Аннушка, я приду поздно. Постучу, как всегда, тихонько трижды, откройте, пожалуйста.

— Идите, идите с богом. Дождусь.

Александр Никольский встретил Лопатина у двери библиотеки, сказал раздраженно:

— Как ты долго собирался! Пройдем в коридорчик, потолкуем.

Рассказывал полушепотом, сбивчиво и быстро. Лопатин узнал, что суд признал Никольского виновным только в одном умысле — освободить государственного преступника Серно-Соловьевича, сделал внушение, чтобы впредь не входил в сношение с людьми, имеющими противозаконные замыслы, и обязал подпиской, чтобы явился к министру внутренних дел, который примет меры, какие признает необходимыми. И еще Лопатин

узнал, что на суде совершенно неожиданно «всплыла» его фамилия в связи с письмом о деньгах, полученных из Астрахани от бывшего университетского товарища Андрея Фортакова и потраченных на издание книги Роберта Оуэна.

— А при чем здесь моя персона? — не понял Лопатин.

— Я заявил, что деньги были присланы для тебя... на микроскоп...

— И совсем неостроумно. Меня могли бы вызвать свидетелем, и получился бы полнейший разнобой в показаниях...

— А, знаю! Хорошо, что не вызвали. А сообщаю об этих деньгах (между прочим — пятьсот рублей) на всякий случай, чтобы учел на будущее. Из-за этих денег Андрей Фортаков выслан в Астрахань под надзор полиции. Иван Ведерников тоже под надзором полиции — петербургской. Значит, встречаться с ними нельзя. А теперь о главном — Леонилла Лебедева виделась в крепости со своим мужем Иваном Худяковым накануне суда, и он попросил ее держать с тобой связь, если его приговорят к каторжным работам.

— Его приговорили к ссылке. Я слышал приговор на Смоленском поле.

— Мне очень хотелось туда пойти... Не мог. Опасаюсь «за последствия», как говорят жандармы. Скажи, как выглядел Иван Александрович, как держался там?

— Похудел. Стал совсем маленьким. Плохо одет. Замерз. А держался лучше всех. Даже улыбался и кланялся народу. Сам подошел к позорному столбу...

— Вот сволочи! Такого человека поставили к позорному столбу. А как они издевались над ним в крепости. После его неудачной попытки проглотить клочки показания так свирепо избили, что он решил в камере покончить с собою. Ночью под одеялом затянул шею

затаенным при обыске поясным ремешком и старался задушить себя, но удавка оказалась слишком короткой, да и физические силы выдохлись... Теряя сознание, сдернул петлю...

— Ему надо помочь. Передать теплую одежду.

— Я сообщу его матери, Татьяне Александровне. Она поедет за сыном хоть на край света. Он у нее единственный.

Никольский пошарил в кармане, протянул Лопатину бумажку.

— Вот это адрес Татьяны Александровны Худяковой. Может быть, Иван Александрович обратится к тебе с какими-нибудь просьбами. Перешлешь через нее. Вот и все, пожалуй. Ко мне не заходи. Мой родственник Александр Лебедев оказался скотиной, предателем и наговорил лишнего следователям и на меня, и на Худякова, и даже на своих сестер. Ничего доброго от министра внутренних дел Валуева мне ждать не приходится. Если сошлют в Сибирь — убегу. Давай простимся. Может, больше и не увидимся.

И Никольский привлек к себе друга и коснулся горячими губами щеки...

...Утром Алексей Никонович Лопатин спросил племянника:

— Скажи по-честному — вчера ходил на Смоленское поле?

— Да. Простился с Худяковым.

— Выходит, что он тебе дороже меня, родного дяди. Выходит, и со мною надо проститься. По-хорошему...

— Я уже подыскиваю комнату.

— Ступай к Ивану Ивановичу Билибину — на Владимирскую улицу, дом Лихачева. Я его знаю по службе. Напишу письмо. Вы сойдетесь характерами.

— За письмо спасибо. Ивана Ивановича я немножко знаю. Сегодня пойду к нему на переговоры...

ИДИТЕ В НАРОД!

1

Герман Лопатин выбрал трудную тему для диссертации — «Самопроизвольное зарождение». Он считал:

«Вопрос, избранный мною для этого рассуждения, представляет высокий интерес для всякого человека, который желает составить себе сколько-нибудь связное научное миросозерцание, соответствующее нынешнему

состоянию естествознания... Вопрос о первоначальном появлении организмов на земной поверхности... начинает все настоятельнее и назойливее беспокоить ум всякого человека, привыкшего к последовательному мышлению» [27].

Еще в университете Лопатин узнал о том, что член-корреспондент Парижской академии наук, директор Музея естественной истории в Руане, биолог Феликс Пуше высказал теорию о самопроизвольном зарождении низших животных и растений из растворов веществ органического происхождения. Свой труд «Заметка о простейших растительного и животного происхождения, самопроизвольно зарождающихся в изолированном воздухе и кислороде» Пуше направил в Академию наук.

Труд Пуше привлек внимание многих европейских биологов и вызвал среди них ожесточенные споры. Главным противником возникшей школы «самопроизвольного зарождения» выступил известный французский ученый Луи Пастер.

В диссертации Лопатин с некоторым лукавством и иронией отмечает, что «Заметка» Пуше подала «повод к целому граду замечаний, опровержений, исследований, которые развились потом в настоящую генеральную битву между гетерогенистами и гомогенистами, во время которой каждая из воюющих сторон старалась обрушить на головы своих противников и факты, и логику, и знаменитейшие авторитеты всех веков и всех народов, и даже, если можно, высокое суждение папы. Вообще битва велась с обеих сторон с большою энергией, так что этот спор, рассматриваемый с одной только внешней, формальной своей стороны, представляет все же очень любопытную страницу в летописях современной науки».

Лопатин не мог воспользоваться отечественной литературой о самопроизвольном зарождении, — ее не было.

Приходилось самому выискивать и переводить статьи сторонников как той, так и другой «научной школы». Лопатин долго работал в Публичной библиотеке и, как он сам признавался, «прочел все статьи, прямо или косвенно относившиеся к моему предмету... Если я во время чтения встречал ссылки на статьи каких-нибудь других журналов или на отдельные сочинения, то я старался достать их и прочесть. Незнание итальянского и английского языков помешало мне воспользоваться превосходными трудами, опубликованными на этих языках».

Герман Лопатин делал подробные выписки из трудов французских и немецких ученых, зарисовывал приборы и опыты, составлял таблицы и схемы.

Свою диссертацию Герман Лопатин строит на материалистической основе — выступает против «старого библейского понятия, что бог формирует новое творение из глины». Молодой ученый четко выражает свой научный метод: «...во всем вышеизложенном я старался показать, что в настоящее время естественные науки, как общие, так и относительные, стремятся к тому, чтобы открыть связь и единство в бесконечном разнообразии *материального мира*... Науки биологические выяснили нам родственную связь, существующую между всеми разнообразными организмами земного шара, и сделали в высшей степени вероятною ту мысль, что все эти организмы произошли вследствие постепенного развития и усложнения разным направлением одной или нескольких ее простейших форм».

Лопатин выступает против проповедника и плодовитого духовного писателя В. П. Полисадова и ему подобных верных служителей церкви, с восхищением отзываясь о научном подвиге Чарлза Дарвина:

«Блестящая гипотеза Дарвина о происхождении видов, замечательная столько же по смелости, сколько и по остроумной простоте своей, может служить харак-

терным представителем нового направления биологических наук. Согласятся или не согласятся все современные представители науки с гипотезою этого мыслителя, но во всяком случае попытка объяснить нам, каким образом все население земного шара могло произойти от нескольких простейших организмов, уже сделана; а факты и соображения, изложенные в книге Дарвина, едва ли оставляют сомнение в том, что вид вообще способен к изменениям в весьма широких пределах» [28].

Одобрительно относясь к опытам Пуше и обстоятельно показывая большую работу, проделанную ученым, Герман Лопатин решительно осуждает его служение религии: «...с горячностью, достойной лучшей участи, Пуше защищает такие отсталые понятия, как теория переворотов, несколько последовательных творений, неизменяемость вида и пр. Такая узость философских воззрений неприятно поражает в человеке, разрабатывающем чуть не на первом месте вопрос, который должен сделаться одним из основных пунктов целостного научного миросозерцания».

Лопатин критически отнесся к окончательным выводам Луи Пастера, который, будучи верующим католиком, указывал, что его точка зрения на зарождение жизни полностью согласуется с учением католической церкви. Однако молодой ученый упрощенно оценивал выдающиеся опыты Пастера, отвергающие самопроизвольное зарождение:

«Всякой хозяйке известно, что вареные яйца представляют отличную пищу для молодых цыплят, но ни одна хозяйка не будет так глупа, чтобы ожидать, что из вареного яйца разовьется цыпленок. Водяной раствор какого-нибудь органического вещества, будучи подвержен сильному кипячению, может остаться совершенно годным для *поддерживания* жизни низших

Г. А. Лопатин *(1867 г.)*.

организмов, но он может сделаться от этого кипячения совершенно неспособным *развить* новые организмы.

...В решении такого сложного биологического вопроса, как вопрос о самозарождении, вовсе не должны иметь место такие опыты, в которых на первом плане фигурируют кипячение, прокаливание, запаянные сосуды, сильные кислоты и прочее.

...Когда я ставлю кипящий настой в присутствии одного только прокаленного воздуха, то в нем никогда не могут появиться организмы...»

Собирая материалы для диссертации, Лопатин постоянно думал о заработке, о хлебе насущном. Последнюю «дотацию» из Ставрополя он получил ко дню рождения — деньги прислала мать с просьбой — «сам купи себе подарок». Пришлось ограничить себя гривенником на день и перейти на щедрое «гостевое питание». Благо радушных и состоятельных знакомых было довольно много в столице.

В мае 1867 года Лопатин выпросил у Николая Даниельсона пятьдесят листов плотной, добротной бумаги и использовал ее для «Рассуждения на получение степени кандидата естественных наук». Писал на обеих страницах четким, мелким, плотным почерком. Любимые черные чернила пришлось разбавить, чтобы не покупать новых. Был страшно огорчен, посадив на обороте первого листа круглую кляксу, а на четвертой странице — две, удивительно похожие на отпечатки пальцев. Помарок в тексте не допускал — берег бумагу. Закончил работу характерным признанием:

«...Скорый отъезд из Петербурга принуждает меня поспешить подачею диссертации в том виде, в каком она написана с первого раза, не исправив даже тех шероховатостей языка, которые необходимо вкрадываются в первоначальное изложение, так как подобное исправление повлекло бы, может быть, за собою такие пере-

марки, которые потребовали бы переписки набело, на что я решительно не имею времени в настоящую минуту».

Декан физико-математического факультета академик Пафнутий Львович Чебышев передал диссертацию Лопатина профессору зоологу Карлу Федоровичу Кесслеру.

Внимательно ознакомившись с работой молодого ученого, К. Ф. Кесслер написал на последнем листе: «Нахожу рассуждение это вполне удовлетворительным».

Известные ученые-биологи профессора Андрей Николаевич Бекетов и Андрей Сергеевич Фаминцын нашли диссертацию Лопатина весьма оригинальной, всесторонне освещающей вопрос о самопроизвольном зарождении.

31 мая 1867 года совет университета присвоил звание кандидата естественных наук Герману Александровичу Лопатину.

В середине октября Лопатин получил диплом, в котором отмечалось, что он «выслушал полный курс наук по естественному разряду физико-математического факультета и показал на испытаниях следующие познания: в богословии, физиологии животных, частной зоологии, сравнительной анатомии, морфологии и систематике растений, анатомии растений, физиологии растений, минералогии и кристаллографии, неорганической химии, органической химии, физической географии, геологии и палеонтологии — *отличные;* в общей зоологии, аналитической химии и физике — *хорошие;* в французском языке — достаточные, за которые физико-математическим факультетом по представлении диссертации признан достойным ученой степени *кандидата* и, на основании 4 пункта параграфа 42 общего Устава Российских университетов, утвержден в этой степени Советом универ-

ситета 31 мая 1867 года. Посему предоставляются Лопатину все права и преимущества, законами Российской Империи со степенью *кандидата* соединимые»[20].

2

Самым близким другом Германа Лопатина в столице оставался Николай Францевич Даниельсон. Это он помог устроиться на службу в Петербургское общество взаимного кредита. Место не по душе, и заработок небольшой, но постоянный, обеспечивающий существование, и это главное. У Даниельсона можно было и поработать, и встретиться и секретно потолковать с приезжими товарищами. Здесь, в уютной, пахнущей старыми книгами, комнате Лопатин обсуждал текущие дела с московским гостем Феликсом Вадимовичем Волховским. Познакомился с ним в Москве, у брата Всеволода, к которому приезжал в каникулярное время. Знакомство быстро перешло в дружбу, продолжавшуюся всю жизнь. Круглолицый, лохматый, с тяжеловатыми повислыми украинскими усами, Феликс Волховской был прекрасным, остроумным рассказчиком, артистически передающим манеры, выражение, жесты лиц разных положений и рангов — от земляка-хлебороба Полтавщины до профессора Московского университета, юридический факультет которого он посещал «в качестве стороннего слушателя» с осени 1863 года.

В жизненных судьбах Лопатина и Волховского было много общего, роднящего их: отцы — небогатые служилые дворяне, в детстве — гимназия, в юности — университет и увлечение идеями Чернышевского и Добролюбова, и угнетающие постоянные поиски случайных заработков, и переводы с немецкого и французского научных и философских статей, и первые аресты по делу Кара-

Ф. В. Волховской, профессиональный революционер, поэт-демократ.

козова, и отрадное освобождение «без последствий».

Легко и прочно установившееся родство душ привело к полнейшей откровенности в оценке политических событий в России и роли прогрессивной молодежи Петербурга и Москвы. С нескрываемой иронией Лопатин рассказывал Волховскому и своему брату Всеволоду о столичном кружке, прозванном «Сморгонской академией», в котором спорили о несуществующем «Европейском революционном комитете», замышляли освободить Чернышевского, но дальше пустозвонного славословия не шли.

— Почему ретивые «сморгоны» замерли на стадии обсуждения планов? — спросил Лопатин и сам ответил:

— Да ведь они не знают русской жизни, не имеют представления о русском народе, за свободу и счастье которого собираются воевать, по их словам, — с «темными силами реакции». Я твердо убежден, что ничтожное знакомство прогрессивной молодежи с действительным положением и нуждами народа составляет самое слабое место среди теоретических взглядов и практических предприятий нашего времени. Надо идти в народ. Изучать его экономическое положение, знакомиться с нуждами, потребностями, умственным развитием. Лучше всего это могут сделать учителя. Мне приходи-

лось встречаться с замечательным ученым и публицистом Иваном Александровичем Худяковым и его друзьями — они постоянно обучали грамоте отставных солдат, мастеровых, дворников, прачек. Для простого народа, сплошь неграмотного, Худяков написал прекрасную азбуку, назвав ее «Самоучитель».

— А ее взяли и уничтожили, — сказал Волховской. — Я согласен с вами — надо знать народ и служить народу. Оплатить долг народу.

— Ой, все это высокопарные фразы! — вмешался Всеволод Лопатин. — Это как бы по Тургеневу: «Друг Феликс, не говори красиво». Друг Герман, не потрясай...

— А что ты сам можешь посоветовать, о изрекающий истины? — спросил брата Герман.

Всеволод ответил не сразу:

— Я не мастер на экспромты. Однако, будь моя воля, я отправил бы в глубь России тысячи две кочующих учителей и столько же врачей.

— А почему «кочующих»? — поинтересовался Волховской.

— По российской действительности: ни школ, ни больниц для такой армии в глубинах нашего нелюбезного Отечества не существует.

— Горькая, но истина! В тебе, милый братец, заговорил будущий эскулап. Только ведь врачей надо посылать не с голыми руками, а где аптеки-то взять? А вот учителей с книгами вроде Худяковского «Самоучителя» направить в гущу простонародья и можно, и нужно.

— О, как это просто у тебя получается — «можно и нужно». А где взять деньги на содержание, на обеспечение, на переезды, на все? Нужны тысячи, миллионы...

— Молодые люди любят преувеличения — эту ложь прекрасных душ. Конечно, деньги нужны, и у меня и у тебя, мой единоутробный, их нет.

— И у меня деньги бывают очень редко, — признался Волховской. — Однако их можно заработать, и при желании и должной настойчивости организовать сбор. Что-то вроде безвозмездных пожертвований. Скажем, по полтиннику или рублю. Ведь найдутся среди состоятельных людей добрые, отзывчивые, любящие тех, кто их поит, кормит и одевает...

— Непременно найдутся! По рублику, по рублику... смотришь и десятка, а там и сотня набежит. Сорганизуется содружество единомышленников. Общество...

Герман Лопатин помолчал и, побуждаемый привычной потребностью все обозначать кличкой или прозвищем, выразительно произнес:

— Руб-ле-вое об-ще-ство! Это прекрасно. Отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Издавать книги по цене, доступной рабочему и мужику. А кое-что и бесплатно. Для прояснения истинных друзей и подлинных врагов. Есть о чем подумать... Есть чем заняться...

И с того памятного разговора Герман Лопатин стал заниматься делами «Рублевого общества».

Рассказал о своем плане друзьям-переводчикам — Даниельсону, Негрескулу, Любавину и Киршбауму. Выслушали внимательно и сразу же внесли по рублю. Осторожный Николай Любавин заметил:

— Дело большое, очень нужное, но нелегальное, а значит — преследуемое правительством. Из этого обстоятельства вытекает вывод — нужна предельная осмотрительность, или, как теперь принято говорить, конспиративность. Соблюдать оную не трудно, когда заговорщиков пяток или десяток, но как уберечь от огласки организацию в сто, двести и более человек — положительно не представляю.

Не представлял этого и Лопатин. Ответил уклончиво:

— Наряду с нелегальными надо использовать и легальные возможности — благотворительные вечера, спектакли, балы, любительские лотереи. — Подумав немного, добавил: — Деньги можно собирать и на голодающих южных губерний. Главное — собирать. Действовать...

Герман Лопатин был человеком практического дела. Действовать! — для него не фраза, а жизненное правило. Для учителей, идущих в народ, нужны учебные пособия, популярные прогрессивные книги. Лопатин вспомнил о рукописи Ивана Худякова «Древняя Русь» и решил издать ее. Внимательно вычитал, выправил, переписал неразборчивые абзацы — подготовил труд к набору. Отрадно, что читатель получит историю России с древнейших времен до «бунта» Стеньки Разина. Причем не столько историю князей и царей, сколько историю простого народа. Автор не скрывает своих симпатий: *«Прежде всего нужны земледельцы: от их трудов производится хлеб; а хлеб — главизна всех благ»*. Главизна! А какой храбростью, стойкостью, могучей силой наделен сын народа — враг бояр и царя Степан Тимофеевич Разин. И как современно звучит отзыв иностранцев о способностях русского народа: «Необразованность сковывает этот народ, но как же будет он могуществен, когда приобретет образование». И еще весьма важное качество — история изложена простым языком, понятным для любого познавшего грамоту мастерового и мужика. Она для них и написана! А вот как ее напечатать? Автора указывать нельзя — государственный преступник, осужденный на вечную ссылку. И разрешение цензуры не получишь. Любой болван заметит, что хотя Русь-то и древняя, а ее беспорядки, тирания, мучения народные свойственны и нынешнему времени. Что и говорить — крамольная книга! За ее издание можно незамедлительно угодить в те самые

отдаленнейшие гиблые места Сибири, куда загнали ее автора Ивана Александровича Худякова. Что же делать? Своей подпольной типографии нет. Значит, надо искать верное издательство и выпускать «Древнюю Русь» открыто, но без цензурного разрешения. Только кто на такое подсудное дело решится?

Лопатин пошел к знакомому по делу Каракозова издателю и переводчику Осипу Игнатьевичу Баксту и попросил у него совета и содействия.

Бакст подумал и выразил сочувственное сожаление:

— Я — ваш должник, и рад бы помочь, но ума не приложу, как это сделать. Четыре года тому назад я издал «Русскую книжку» Ивана Худякова и нажил на этом деле одни лишь неприятности, завершившиеся отсидкой в крепости и закрытием моей типографии по личному указанию известного вам графа Муравьева.

— Если действительно вы — «мой должник», так посоветуйте что-нибудь дельное... Ведь вы знаете все столичные типографии и их владельцев.

— Конечно, знаю, но кто решится на такое опасное дело? Может быть, только скряга Куколь-Яснопольский. Его типография недалеко отсюда — на Малой Мещанской [30], дом шесть. Однако должен предупредить — она того... не знаю, как лучше выразиться... неграмотная...

— А вы не преувеличиваете, милостивый государь?

— Точнее сказать — наборщики низкой пробы, ошибок много.

— Это дело поправимое. Я сам проведу корректуру. Пойдемте, Осип свет Игнатьевич!

— Куда это?

— В заведение Куколь-Яснополь. Вы заказываете, а я — финансирую. И не будем терять времени. Кстати, как он, Куколь-Яснополь, по питейной части?

— Водочку весьма уважает.

— По дороге, пожалуйста, купите бутылочку. Как сторгуемся — уплачу...

Торговались до позднего вечера. Бутылочка помогла. Куколь-Яснопольский согласился напечатать книгу с условием — аванс в сумме 300 рублей должен быть внесен немедленно.

3

Деньги! Лопатин долго, мучительно думал, где их раздобыть. Появилась робкая мысль — а что если занять у кого-нибудь из столичных писателей? Лопатин хорошо знал Василия Алексеевича Слепцова и весьма ценил его повесть «Трудное время», когда-то бывал в организованной им «знаменской коммуне», но обращаться к нему за помощью считал бесполезным — куда там, сам нуждается в вспомоществовании.

Лопатин был знаком с Глебом Ивановичем Успенским. Могли быть однокурсниками университета, но Успенского исключили как несостоятельного, — не уплатил за обучение. Был несостоятельным и в таком же состоянии пребывает и поныне. На документальных очерках, показывающих сущую правду жизни, не разбогатеешь: и цензура беспощадно режет, и редакторы опасаются, «как бы чего не вышло».

Можно было бы пойти в редакцию «Отечественных записок» к Николаю Алексеевичу Некрасову. Поэт хорошо знает нужды и горести простого народа и пишет о них вдохновенно и талантливо. Конечно, редактор нашел бы 300 рублей на общее благо и дело, но на издание книги «публично казненного» Ивана Худякова, пожалуй, не даст ни копейки. После столь громкого каракозовского выстрела по требованию графа Муравьева-вешателя был закрыт журнал «Современник» — столь близкий и дорогой Николаю Алексеевичу. Только

через два года ему удалось с огромным трудом наладить издание «Отечественных записок», и, понятно, рисковать им нельзя. Такой журнал нужен всей прогрессивной России.

Непременно помог бы бедствующему издателю профессор, артиллерийский полковник Петр Лаврович Лавров. Он поддерживал словом и делом многих студентов университета. И помощник в ходатайстве есть надежный — его зять Михаил Негрескул. Только нынче нет Лаврова в столице — выслан он в глухой северный городишко Тотьму — по указанию всесильного графа Муравьева...

...В конце февраля у Лопатина появилась небольшая надежда — в Петербург приехал из Парижа Иван Сергеевич Тургенев. Лопатин обрадовался. Еще в гимназии он прочел «Записки охотника» и по рассказу «Бежин луг» писал сочинение. В романе «Отцы и дети» увидел героя, удивительно похожего на самого себя: и увлечение естественными науками, и стремление служить обществу и народу, и резкая критика общепризнанных авторитетов, и ожесточение против барственной лени и распущенности — все близкое, все свое, только вот любовь и смерть Евгения Базарова явно не годятся, неприемлемы. И в письмах к сестрам искренне признавался в своем нигилизме и покупал портреты Тургенева и посылал в Ставрополь Ольге и Всеволоду, как самые дорогие подарки. И на письменном столе из рамки смотрел красивый, талантливый русский человек — Иван Сергеевич Тургенев. И вот он в Петербурге! И все говорят о нем, и в газетах восторженно пишут о привезенном новом романе «Дым». И захотелось увидеть любимого писателя. Помог Михаил Негрескул — принес билет в Консерваторию и торжественно провозгласил:

— Кланяйся в ножки! На концерте будет присутствовать сам Тургенев.

Лопатин усердно поклонился:

— Великое спасибо! Просвети — откуда такая осведомленность?

— Моя жена все знает. Можешь не сомневаться.

Появление Тургенева в зале было встречено зрителями дружными, радостными, продолжительными рукоплесканиями. Иван Сергеевич встал и, растроганный, благодарно раскланялся. Лопатин увидел крупную, величавую, но уже склонную к полноте и немножко сутуловатую фигуру. Сразу и надолго запомнилась характерная голова: высоколобая, с густой гривой седых волос и с добрым, порозовевшим от волнения лицом. И во время концерта Лопатин часто посматривал в сторону Тургенева; сидящая рядом дочь Лаврова — Мария Петровна укоризненно шепнула:

— Неудобно и неуважительно, молодой человек...

Лопатин виновато кивнул: совершенно резонное замечание — нельзя быть таким назойливым. И сразу померкло, показалось по-детски глупым и непозволительно наглым само намерение — просить у Тургенева деньги на издание какой-то, ему совершенно неизвестной книги. Невероятнейшая бестактность...

Так и не удалось Лопатину отыскать в столице 300 рублей. Поехал к Феликсу Волховскому в Москву. Положил на стол рукопись, попросил:

— Прочти последнее сочинение Ивана Худякова и оцени по достоинству. Я зайду вечером.

Волховскому очень понравилась работа Худякова:

— Истинно народная история Руси. Хорошо бы ее напечатать.

— Я нашел издательство. Помоги найти деньги. Нужны триста рублей.

Волховской подвинул рукопись к Лопатину, пригладил свои непокорные, густые волосы, сказал с горечью:

— Много! Мои сбережения ничтожны. Я сильно поистратился, издавая книгу стихов Тараса Шевченко. Придется попросить у матери. У нее маленькая швейная мастерская, в которой она — главная мастерица. Выручит! Скажу, что в долг — до Нового года.

Получив деньги, Лопатин сразу же возвратился в Петербург.

Рукопись «Древняя Русь» пошла в набор.

4

Герман Лопатин неторопливо перелистывал пахнущую типографской краской продолговатую и довольно объемистую — 264 страницы — книгу. Бумага тонкая и плотная, шрифт четкий и довольно крупный. Можно читать и при лучине и при свете горящей плиты. Светло-коричневая обложка приятно привлекает внимание, только жаль, что она мягкая, непрочная, быстро износится. Но на жесткий переплет денег не хватило.

Лопатин радовался, словно это была его книга. Правда, огорчали многочисленные опечатки. Издатель Куколь-Яснопольский обещал прислать для проверки чистые, подготовленные к печати листы, но свое слово не сдержал. По первому экземпляру книги Лопатин «выловил» два листа ошибок. Издатель испугался, попросил пощады — признание такого количества «огрехов» лишит издательство заказчиков и... приложил к книге менее половины «своих грехов» — одну страничку опечаток.

С отрадным чувством исполненного долга Лопатин отослал две книги «Древней Руси» матери Ивана Александровича Худякова и попросил ее непременно одну из них доставить сыну. Представлял, каким ярким,

волнующим, согревающим будет этот подарок для автора в его дальнем, леденящем заточении.

Лопатин подарил «Древнюю Русь» всем обитателям «Скита» — так он прозвал кружок друзей-переводчиков, собиравшихся у Николая Даниельсона.

Вдохновленный выпуском первой книги, Лопатин стал готовить для издания вторую, которую могли бы использовать как учебное пособие учителя «Рублевого общества». Для этой цели он выбрал популярную, просто написанную брошюру немецкого ученого, доктора Уле «Избранные краткие письма по естественной истории». К новому, 1868 году более половины книжки успел перевести.

7 января 1868 года Герман Лопатин написал Феликсу Волховскому письмо о «текущих делах»:

«Письмо твое, Феликс, в котором я никак не мог добраться до смысла (а именно, не мог уразуметь связи между княжною Макуловою и княгиней Долгорукою) и за которое я заплатил, однако, целый рубль, — получил я третьего дня вечером и сейчас же отправил (по городской почте) приложенное к нему послание по адресу. Отвечу на те пункты твоего письма, смысл которых мне более или менее понятен.

Первый приемный комитет будет 15-го числа. Я потолковал с делопроизводителем и почти уверен, что мы с тобой пройдем в полной сумме. Взаимный кредит роздал за этот год 26%!! Впрочем, в нынешний год прибыль едва ли будет так велика, так как поступает туда непомерное количество новых членов.

Предложение твое насчет «дутых» векселей показывает малое знакомство твое с делом: для обсуждения и приема векселей существует особый учетный комитет, который никогда не допустит к учету заведомо некоммерческий вексель. Б. слишком хорошо известен всяким банковским комитетам, равно как и его средства. До-

стать более 400 р. — никак не могу. Дело, которое ты излагаешь с таким волнением, я отказываюсь даже понять.

Относительно прежних твоих поручений могу доложить:

1) Фараоново воинство пять раз не застал дома.
2) В цензуре *не* был.
3) У Калиниченковых тоже.
4) Библиографии, биографии и портреты *пока* еще *не* раздобыл.
5) «Рублевое общество» подвигается вперед.
6) Относительно Казани пока *ничего*.

До свиданья, будь здоров! Отвечай поскорее; но посылай свои письма по почте, так как рубль будет для них цена немного дорогая. Особенно пиши о „Рублевом обществе“» [31].

Стремясь к предельной экономии, Лопатин послал это письмо с вновь завербованным членом «Рублевого общества», который оказался агентом III отделения — Католиком.

Получив письмо, столичные жандармы сняли с него копию и направили ее своим коллегам в Москву, сопроводив телеграммой:

«Из С.-Петербурга. Смысл письма темный и заключает в себе много условных выражений. Что же касается до последних строк выписки, то они относятся до беззаконного способа пересылки писем через кондукторов Николаевской железной дороги, за рублевое вознаграждение, о чем и была уже переписка с министром путей сообщения».

Московские жандармы установили наблюдение за Феликсом Волховским, проживающим на Арбате, в Кривом переулке, в доме Вадбольской.

В III отделении «Рублевым обществом» занялся начальник штаба полковник Н. В. Мезенцев. По его

указанию агент Католик вновь встретился с Германом Лопатиным, довольно умело рассказал о том, как был принят Волховским, и охотно вызвался, если есть надобность, отвезти по пути в Москву письма и книги «Древняя Русь». Кое-что в поведении этого человека показалось Лопатину подозрительным, и 6 февраля он написал об этом Волховскому:

«Сердись, не сердись, Феликс, а мне все-таки было некогда до сегодня написать тебе письмо так, чтобы ты послал на разведки касательно существования моего какого-то полячка, который, войдя ко мне и представляя мне бумажку, на коей были написаны непонятные для него речения вроде: «Фараоново войско», «Рублевое достоинство» и прочее, произнес тоном торжественной укоризны: «Извините, господин Лопатин! Вы православный, и потому гарантированы более, чем я! Я римско-католик, и для меня это немного неудобно!» и прочее. Я улыбнулся и попросил католика успокоиться. Пожалуйста, друг Феликс, выбирай в следующий раз потщательнее исполнителей твоих поручений.

Посылаю тебе с вышереченным католиком следующие предметы:

1. 18 экземпляров «Древней Руси» для употребления по соображению.

2. Книжку чеков и книжку для взносов на текущий счет Общества взаимного кредита, за каковые книжки ты и будешь мне должен 25 коп. серебром российскою государственною монетою, которые деньги ты и повинен представить мне по первому моему востребованию, под опасением продажи имущества и помещения тебя в долговое отделение.

3. Три химии различных авторов для передачи Парвусу, со взятием у него расписки установленной законом формы.

4. Корзинку, бумагу и веревки, которые ты обязан возвратить лицу, снабженному от меня для таковой цели законной доверенностью» [32].

Хорошее настроение не покидало в тот черный день Германа Лопатина, и в таком же игриво-шутливом тоне он написал отчет о выполнении всех 13 поручений своего друга Феликса Волховского.

Уложив все посылаемое в корзинку, Лопатин передал ее «католику». Он принял ее с такой нескрываемой радостью, что у Лопатина возникло подозрение, и он спросил:

— Вы куда сейчас направляетесь? *На Фонтанку?*

— Нет, — твердо ответил агент, — на вокзал.

— Хорошо. Я провожу вас.

Лопатин убедился, что посланец Волховского сел в вагон, и, пожав ему руку, медленно пошагал с перрона.

Агент прошел по вагону, слез и привез письмо и корзинку Германа Лопатина в III отделение, на Фонтанку.

Чиновник особых поручений коллежский асессор Н. Д. Горемыкин «осторожным образом» вскрыл письмо Лопатина к Волховскому, трижды прочел и написал конфиденциальную записку, назвав ее «Особые соображения к докладу по делу Лопатина и Волховского».

В ней утверждалось:

«Сведения по делу Лопатина и Волховского, изложенные в особом докладе, положительно убеждают в возникновении общества, тождественного прежнему под названием «Молодая Россия». Факт представляется несомненным, и от дальнейших разведываний под рукою трудно ожидать пользы, даже равносильной тому вреду, который может быть принесен в это время обществом. Письма и посылки Лопатина к Волховскому попали к нам таким образом, которого они, конечно, не узнают, но который тем не менее может возбудить в них сомнение и, следовательно, заставить их быть

осторожными и принять меры к уничтожению всего подозрительного. Подозрения в Лопатине и Волховском могут родиться, когда последний получит письмо первого, в котором говорится о посланном, которого со стороны Волховского не было.

Ввиду этого, казалось бы, можно сделать следующее:

1. Письмо и посылку Лопатина отправить в Москву с доверенным лицом, которое обязано прежде всего явиться к полковнику Воейкову и условиться насчет времени, когда все должно быть доставлено Волховскому. Вслед за тем у Волховского произвести строжайший обыск и самого его арестовать.

2. На другой день по выезде означенного лица одновременно произвести обыски как у Лопатина, так и у Михайлова с арестованием обоих.

Бумаги и все, что взято будет у сих лиц, вытребовать в высочайше учрежденную следственную комиссию, смотря по тому, куда приказано будет направить дело.

3. Равным образом не бесполезно было бы произвести обыски у Макуловой и Долгорукой и у Калиниченковых. Насчет собственно этих лиц можно было бы сообщить господину обер-полицмейстеру, представляя ему право ареста их, если у них окажется что-либо предосудительное.

Лопатина и Михайлова удобнее было бы содержать при III отделении».

Эти «Особые соображения» получил шеф жандармов генерал-майор П. А. Шувалов и высоко оценил предприимчивость III отделения:

«Дело ведено очень ловко. Желал бы впоследствии наградить то лицо, которое так умно с ним сблизилось.

Одобряю эти предположения, это требует одновременных и скорых действий. Прошу его превосходительство Николая Владимировича сделать распоряжение

для приведения всего в исполнение. О последующем буду ожидать сообщение 7-го февраля».

«Верный слуга престола» Николай Владимирович Мезенцев получил возможность отличиться — он написал доклад царю, дав полную волю воображению насчет вновь обнаруженного тайного общества, которое сближается с ликвидированной «Молодой Россией» П. Г. Заичневского.

5

...Перед тем как уйти с вокзала, Лопатин остановился и еще раз пристально посмотрел на вагон, в который посадил «католика». У окна его не оказалось. Прощупал недоуменным взглядом редеющую толпу провожающих. Среди серых и черных пальто мелькнуло яркокоричневое пятно. Лопатину показалось, что это его корзинка. А может быть, это обман зрения, результат прогрессирующей близорукости? Хоть и не хочется, а надо заводить очки.

Ждал, пока поезд не отошел на Москву. Среди уходящих с перрона «католика» не приметил, но бодрое, доброе настроение пропало. Дома Лопатин внимательно осмотрел все лежавшее на столе и на этажерке и лишнее уничтожил. Поздно вечером зашел к Николаю Даниельсону, рассказал о «странном московском гонце» и посоветовал на всякий случай «очиститься сожжением».

— Ничего крамольного не держу, — сказал Даниельсон. — Считаю твои треволнения излишними. «Рублевое общество», в моем понимании, имеет одно предназначение — просветительское. В нем жандармам искать нечего.

— И я так думал до последнего времени. И все-таки не посчитай за труд и предупреди Любавина, Негрескула и Киршбаума. Пусть они останутся «без улик». Так

спокойнее в наши времена беззакония и произвола. И еще посоветуй: в случае чего они меня не знают и ни в какое общество не входили...

На следующий день Лопатин побывал у княгини Наталии Владимировны Долгорукой и попросил ее незамедлительно подготовиться «на случай внезапного визита» голубых мундиров.

— Да хранит вас бог, несравненный, — улыбнулась княгиня. — Я и Катеньку Макулову предостерегу.

— Какая вы догадливая. Если что и случится — все отбрасывайте на меня. И только на меня. Я в единственном числе наверняка отобьюсь.

Возвращаясь домой, Лопатин заметил на своей Владимирской улице не по зимнему сезону одетого странного господина.

Подошел к нему, спросил:

— Скажите, пожалуйста, который здесь дом Лихачева?

Господин поежился от стужи, усмехнулся:

— Да вы стоите напротив дома Лихачева.

— Благодарю. А вы кого-то ждете? Ужасно озябли.

— Да так. Интимное свидание, — и господин пошел к Стремянной.

Через час Лопатин спустился в парадную, заглянул на улицу и увидел за углом того самого «зябнущего господина».

До утра ждал «голубых». Не пришли.

Ночь с 9 на 10 февраля Лопатин провел у Даниельсона.

По предписанию Мезенцева майор Блау с жандармским нарядом ночью 10 февраля явился в дом Лихачева на Владимирской улице для производства обыска и ареста Лопатина.

Испуганный хозяин квартиры Иван Билибин сообщил Блау, что квартирант ночевать не явился, что с ним

случается довольно часто, поскольку он «человек молодой и пользуется расположением женщин».

Подчиненные майора Блау довольно долго трудились в комнате Лопатина: все перевернули, все вскрыли и взломали, но ничего существенного не нашли. Опозориться, явиться с «голыми руками» Блау не мог и прихватил у Лопатина таинственный белый порошок в пакетике (оказавшийся при исследовании обычным клеем), карту Итальянского королевства с какими-то загадочными пометками, немецкую брошюру доктора Уле «Избранные краткие письма по естественной истории», рукопись (ее перевод) и транспарант с непонятными карандашными заметками.

Наряд III отделения собирался уходить, когда к Лопатину пришла дочь надворного советника Софья Никитична Ткачева. При ней оказались лекции по стенографии, несколько листков, исписанных стенографически, и три мужские фотокарточки. Майор Блау задержал Ткачеву, оставил засаду в квартире для ареста Лопатина и уехал на доклад к Мезенцеву.

Лопатин вернулся домой после обеда. Его схватили и привезли на Фонтанку — в тюрьму при III отделении для находящихся под следствием.

Ночь и целый день 11 февраля Германа Лопатина не тревожили. За это время он успел многое продумать, взвесить, оценить — подготовиться к допросу. Однако он не знал, кто еще арестован, что жандармам известно о «Рублевом обществе» и какими достоверными уликами они располагают.

12 февраля Лопатина привели на допрос. В комнате сидели двое: на диване — красивый, с длинными подкрученными усами полковник Мезенцев и за столом — чиновник особых поручений Горемыкин. Он вытащил из дела два письма, показал Лопатину:

— Признаёте? Ваши?

Лопатин сразу узнал свои письма к Волховскому и понял: «католик» — опытный агент, довольно легко и ловко влезший в доверие. Отдельные строчки были подчеркнуты разноцветными линиями — значит, «изучали» разные лица. Отрицать глупо. Подтвердил:

— Они подписаны. Мои.

— Вот с этих весьма неясных эпистолярных сочинений мы и начнем разговор. Напомню, для начала, следующие пункты из февральского послания: седьмой — «Программы твои запрещены. Объяснения предлагают послушать в Москве». И девятый: «Программы (Вопрос молодого поколения), конечно, не составил». Проясните, что сие значит?

Лопатин помедлил с ответом. Он догадывался, что Волховской арестован и, по-видимому, дал первые показания. Как же он «прояснил» вопросы двух программ, которым жандармы придают первостепенное значение? Разумнее всего пока отделаться общими замечаниями:

— Я разумел программу для собирания этнографических сведений о России, представленную Волховским в московскую цензуру, которая ее не разрешила. Я хлопотал о разрешении в Главном управлении по делам печати в Петербурге, но и здесь воспоследовал отказ. Вот почему я и не заблагорассудил, как обещал сначала, составлять программу для собирания сведений о великорусских губерниях по образцу, составленному Волховским для Малороссии. Назвал я ее вкратце «Вопрос молодого поколения» потому, что она должна была сопровождаться предисловием, в котором предполагалось развить мысль, что пора нашему молодому поколению заняться серьезным изучением особенностей родного быта и бросить бесплодные споры касательно мечтательных теорий, вычитанных из иностранных книжек...

— Мы не нуждаемся в пустой болтовне, — строго оборвал Лопатина Мезенцев. — По некоторым сведениям, вы уже отпечатали в типографии княгини Натали Долгорукой свою программу «Вопрос молодого поколения», и она представляется весьма сходной с известной вам программой «Молодой России» преступника Заичневского.

— Нет у вас таких сведений и быть не может, поскольку программа «Вопрос молодого поколения» не составлена, — с трудом сдерживая возмущение, сказал Лопатин. — И как это можно искать сходства несуществующей программы с какой-то «Молодой Россией»? Неостроумно получается, ваше превосходительство, грубо...

— Не вам судить и делать замечания! — повысил голос Горемыкин. — Это вас допрашивают и вам следует отвечать по существу. Вот в ваших письмах есть указание о существовании «Рублевого общества». Я их напомню: *«„Рублевое общество“ подвигается вперед»*. И во втором: «„Рублевое общество“ идет помаленьку, ибо мне все некогда было взяться за него с должной энергией, что сделаю, впрочем, вскоре. Один мой приятель собрал взносчиков рублей на 30 и получил с них за 2 месяца; я имею в виду, по крайней мере, на 50 или 60 рублей, хотя не ходил еще за получкою. Но это верно». Расскажите честно, что это за общество, каковы его цели и численный состав?

Эти вопросы Лопатин предвидел, готовясь к встрече с «голубыми», и решил скрыть правду.

— Под «Рублевым обществом» разумел я сборы в университетах на голодающих в южных губерниях. Мы предполагали периодические взносы — как минимум рубль ежемесячно, отсюда и название — «Рублевое». О существующих взносах я писал не потому, что уже имел налицо тридцать рублей, а просто имел

уверенность, что никогда не встретил бы отказа в пожертвовании на такое доброе дело. Проще говоря, в письмах я фантазировал. Мне хотелось ободрить, заставить действовать Волховского, который сомневался в успехе.

— Это вы ловко придумали — голодающие, доброе дело, как будто в ваших замыслах ничего недоброго не было.

— Скажите, а вот вы отказались бы помочь голодающим?

— Не отвлекайтесь. Вам не дано меня допрашивать. Объясните, зачем вам и Волховскому понадобились библиографический указатель всех статей Чернышевского, биографические сведения о нем и портрет?

К объяснению этого вопроса Лопатин также заранее подготовился, считал, что ложь куда полезнее правды.

— Видите ли, Феликс Волховской пробует свои силы и на литературном поприще как поэт и публицист. Он решил составить статейку, в которой думал сказать, что значение Чернышевского как самостоятельного мыслителя сильно преувеличено его поклонниками. Модные его идеи могут быть отлично прослежены до их первоначальных источников, а именно — французских экономистов. Сами понимаете, что критические заметки о Чернышевском охотно напечатают и хорошо оплатят. Биографические сведения касательно воспитания и литературной деятельности Чернышевского, естественно, интересовали Волховского как данные, бросающие свет на общий склад его идей. Вот почему мой корреспондент просил меня раздобыть эти сведения. Кроме того, я обещал Волховскому прислать известную карточку Чернышевского, которую он не видел и которая была очень распространена прежде в Петербурге, и я думал, что достать ее не доставит мне труда. Библиографический

указатель статей Чернышевского я собирался составить в Публичной библиотеке, а большую часть статей его хотел послать в Москву, вырезав их из старых журналов «Современник», которые я приобрел на толкучке и которые господа жандармы безусловно видели у меня на этажерке.

— Вот как! Мы по своей неосведомленности думали, что вы собирались издавать запретные сочинения Николая Чернышевского, а оказывается, вы его намерены уличать в литературной недобросовестности, или, как еще теперь говорят, — в плагиате, — с недоброй усмешкой заметил Горемыкин. — А что вы успели выпустить под маркой «Рублевое общество»?

— Вам это известно — брошюру «Древняя Русь».

— Автор этой книги на титуле не указан. Кто он?

— Видите ли, к рукописи усердно прикладывались многие руки. Однако отвечаю за выпуск книги только я.

— Да, вы приложили свою руку и даже написали недурное вступление. А вот автором вас признать никак не можем. Автор-то в далеком Верхоянске — государственный преступник Иван Худяков. А посему он и не обозначен на титуле. Кстати, нет и обязательной пометы — «дозволено цензурою». И за это вы действительно будете отвечать...

— Скажите, господин Лопатин, ходят слухи, что в прошлом году вы были за границей и встречались с политическим эмигрантом Герценом?

Этот вопрос Мезенцев подбросил внезапно и, по-видимому, рассчитывал на его ошеломляющее воздействие.

Лопатин повернулся к полковнику, посмотрел в холеное, розоватое, иронически улыбающееся лицо, понял, что ничего он достоверного не знает, и ответил с усмешкой:

— Ходят слухи, что из мухи сделали слона. Вы введены в заблуждение, ваше превосходительство.

— А к чему это вы с таким усердием отмечали продвижение Гарибальди на карте Итальянского королевства?

— Я отмечал достопримечательности и курортные места Италии. Собирался в свадебное путешествие, но, увы, богатая невеста вышла замуж за другого. Свадьба не состоялась.

— Вы ведете себя непозволительно развязно, кандидат университета, — раздраженно подытожил допрос Мезенцев и вышел из комнаты.

...В тот же день Мезенцев в отчете для царя отметил явную неискренность в показаниях Лопатина:

«...Для выиграния по возможности времени предложено было Лопатину дать общее по содержанию писем его к Волховскому объяснение, но он представил такое показание, которое, не объясняя положительно дело, дает повод полагать, что он не намерен высказываться или, по крайней мере, не скоро. Так, например, Лопатин, по его уверению, под «Рублевым обществом» разумел проект сборов в университете для голодающих. *Библиографические и биографические материалы* о Чернышевском он взялся доставить Волховскому для составления будто бы статейки, в которой Волховской думал показать, что значение Чернышевского как мыслителя самостоятельного сильно преувеличено его поклонниками» [33].

6

Феликс Волховской был арестован одновременно с Лопатиным 10 февраля 1868 года. При обыске у него жандармы захватили довольно крупную по объему добычу: письма Г. А. Лопатина и Е. М. Кривцовой, книгу

А. И. Герцена — «Былое и думы», часть IV, рукописные журналы, озаглавленные «В нашем кружке», «Складчина» и «Журнал без названия», 45 фотографических карточек малороссов в национальных костюмах, в том числе и самого Волховского, и 500 экземпляров книги стихов Тараса Шевченко.

Со всем этим «багажом» Волховской был доставлен в Петербург, в III отделение.

После допроса 14 февраля Феликс Волховской написал более откровенные, чем Герман Лопатин, показания:

«С Германом Лопатиным я знаком давно, сколько помню — более двух лет; во все это время я знал его за человека здорового ума, честного, занимающегося и за веселого, остроумного собеседника, что называется «краснобая». Эти последние качества (т. е. веселость, остроумие и краснобайство) выражались, между прочим, и в его манере говорить; он всему давал клички, что можно видеть из его письма ко мне... «Рублевым обществом» он называл задуманное нами коммерческое предприятие издательского свойства. Выгода издательской деятельности была мне известна давно, что можно видеть из того обстоятельства, что я издал в Москве ноты малороссийского «казачка» и состою в доле вместе с книгопродавцом Ушаковым по изданию книги Бажанова «Что нужно заимствовать у иностранцев по части земледелия».

...Я решился пригласить несколько лиц составить нечто вроде торгового товарищества для издательской деятельности; о прочной организации и прочных отношениях каждого из пайщиков к другим ни с моей стороны, ни, сколько мне известно, со стороны Лопатина ничего определенного говорено не было».

Совершенно не совпали показания Волховского с лопатинскими и по вопросу о библиографии Чернышев-

ского. Покритиковав роман «Что делать?», Волховской написал:

«...В других его литературных работах чисто научного содержания нельзя не признать много дельного; такого мнения держатся люди более компетентные, чем я, что видно из того обстоятельства, что в «Программе для испытания желающих поступить в число студентов Импер. Моск. университета», составленной в 1865 году и изданной по поручению господина попечителя московского учебного округа, в отделе истории русской литературы, в числе «источников и пособий» для ее изучения указаны между прочим статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы»... Меня интересовал вопрос, какие еще статьи чисто научного содержания написаны Чернышевским по предмету истории русской литературы по преимуществу; последний вопрос нельзя было разрешить иначе, как только имея полный список всех его журнальных статей».

В этом показании нет и намека на высказанное Лопатиным намерение Волховского заняться критикой публицистических статей Чернышевского.

Получив письменные показания Волховского, управляющий III отделением Долгоруков донес царю:

«Первоначальные объяснения доставленного сюда из Москвы дворянина Волховского совершенно подтверждают доложенные во вчерашней записке соображения, т. е. что Лопатин показывает неправду и что действительно настоящим случаем открывается возникновение вновь известного общества под именем „Малороссийская пропаганда“» [34].

...Лопатин узнал, что Волховской привезен в следственную тюрьму, что он здесь, рядом, только двор перейти, но сделать это и узнать, что же он показал на допросах, невозможно. Ясно лишь одно — их показания

совершенно непохожи, явно разноречивы. Это Лопатин уяснил уже на втором допросе. Следователи не скрывали своего раздражения и подсмеивались над показной искренностью допрашиваемого. Лопатин надеялся, что рассерженные жандармы, стремясь уличить «во лжи», ткнут ему в нос показания Волховского, но они этого не сделали. Не оправдалась надежда на так называемую очную ставку. Лопатину даже издали не показывали Волховского. И состояние полной неосведомленности было тягостным, как затянувшийся дурной сон.

И еще одна тяжелая, постоянная дума не давала покоя Лопатину — как-то решится судьба тех, что были арестованы по его письмам к Волховскому. Наиболее опасным «нигилистом» жандармы считали губернского секретаря, содержателя частного пансиона для детей на Мойке, у Певческого моста, Владимира Васильевича Михайлова. Лопатин упорно пытался доказать, что никакого отношения к «Рублевому обществу» Михайлов не имеет, он только советовал приказчику книжного магазина Черкесова Василию Евдокимову, как сподручнее выполнить поручение Волховского в сборе библиографических сведений, относящихся к Чернышевскому. Тогда Горемыкин спросил:

— А что вы можете сказать об изъятии у Михайлова писем от Петра Лаврова, Василия Слепцова и Петра Ткачева?

— Я этих писем не видел и сказать ничего не могу, — ответил Лопатин, весьма раздосадованный тем, что Михайлов не послушался его совета и не избавился от «лишних бумаг».

Лопатину удалось доказать непричастность к «Рублевому обществу» двух дам княжеского происхождения — Наталии Владимировны Долгорукой и Екатерины Александровны Макуловой.

Чиновник особых поручений Горемыкин, слушая показания, кивал головой, будто со всем соглашался, и вдруг «сорвался» и закричал:

— Как вы смеете расхваливать Макулову, если сами писали Волховскому, что она изображена Лесковым в романе «Некуда» под именем Бертольди — дамы весьма неприглядной во всех отношениях!

— Видите ли, это не вина Макуловой, а беда господина Лескова. Мне известно, что безусловно талантливый писатель Василий Слепцов посвятил Екатерине Александровне свой прекрасный очерк «Питомка».

— Еще бы! В так называемой «знаменской коммуне» Слепцова эта любвеобильная особа прижила незаконного ребенка.

— Поражаюсь вашей осведомленности по части любвеобилия и качества детей.

— Мы всё знаем. Абсолютно всё. И когда вы врете, и когда вы говорите правду.

— Если вы знаете всю правду, зачем же меня здесь содержите? Я ни в чем не виновен.

— Держим, потому что лжете. Вот вы указали, что с Софьей Ткачевой познакомились два года назад в книжном магазине Лукашина, а она сказала — «около трех недель назад».

— Это не имеет никакого значения. Главное, что вам следует уразуметь, — Софью Ткачеву вы задержали незаконно и должны ее незамедлительно освободить.

— Не вам судить о законах. Ткачеву мы отпустили в тот же день.

...Жандармам не удалось доказать, что в «Рублевом обществе» скрыта новая революционная организация, и они решили сдать дела в высочайше учрежденную Следственную комиссию.

7

Лопатин лежал на койке, заложив руки за голову, и думал о новой встрече с генералом Мезенцевым. Откуда он «пронюхал» о поездке за границу и о визите к Герцену? Все это было, но, пожалуй, подтвердить может только сам Александр Иванович. А началось все с заметки в газете, оповещающей о том, что Джузеппе Гарибальди ведет своих добровольцев на Рим, чтобы освободить «вечный город» от папской власти и присоединить к Италии. И этого было достаточно, чтобы вдруг оставить дела и помчаться к Гарибальди.

Помчаться! Если бы можно было помчаться! Все было не так, как мечталось, как хотелось. Пришлось тайком переходить границу, а потом пересекать Румынию и Австро-Венгрию и пешком войти в ликующую Италию. Как они радовались, эти свободолюбивые дети солнца, как они славили своего национального героя, только что одержавшего блистательную победу при Флоренции! Путь на Рим открыт! Шире шаг, гарибальдийцы! И как будто бы не было усталости, и так отрадно было шагать к победителям, чтобы встать в их ряды. И внезапно все изменилось. Город Флоренция встретил трауром. Народ плакал: 3 ноября под городом Ментоной в жесточайшем неравном бою превосходящие папско-французские войска разбили добровольцев и пленили Джузеппе Гарибальди... И горе чужих людей стало своим горем. И было очень обидно, что, проделав такой тяжкий и опасный путь, ничем не помог Гарибальди и его друзьям. И надо было возвращаться на родину в совершенно разбитых сапогах, в грязной, изорванной одежде и без гроша денег в кармане. И даже милостыню не попросишь — по-русски не понимают, а французский с некоторых пор не любят. Уезжать ни с чем не хотелось, и как-то само собой получилось, что завернул

к человеку, которого давно уже знал и уважал, но видел только на портрете да карикатурах времен окаянных петербургских пожаров, на которых Искандер изображался «главным поджигателем». Было неудобно, стыдно явиться в таком нищенском виде к почтенному изгнаннику, и он встретил с понятным недоумением и неприязнью, но стоило рассказать, зачем прибыл в Италию, как строгие глаза потеплели, появилась добрая улыбка и открылось чисто русское трогательное радушие и гостеприимство. Он очень любил Джузеппе Гарибальди и считал своим другом и горько переживал поражение при Ментоне. После сытного обеда попросил: «Расскажите, расскажите, пожалуйста, о петербургских новостях, о столичных литераторах, обо всем, обо всем. Поймите мое душевное состояние, молодой человек, вот уже двадцать первый год пошел, как я оставил мою Россию». И как он внимательно слушал, как искренне радовался и негодовал, и как было приятно выговориться и показать ему и Петербург, и Москву, и Ставрополь, милое его тоскующему сердцу Отечество. Жаль только, что сам-то Александр Иванович говорил очень мало. Неохотно отпускал и очень обиделся, когда его гость стал отказываться от щедрого подарка: новой одежды, обуви и денег на обратный путь. Пришлось уступить отеческой доброте. И еще на прощанье подарил только что изданную в Женеве четвертую часть своей великолепной книжищи «Былое и думы». Провожая, коснулся губами щеки и попросил: «Поклонитесь за меня русскому народу, русской земле. Завидую вам и желаю светлого пути, молодой человек». Единственную память о встрече — книгу Герцена — выпросил почитать Волховской и не сберег — взяли при аресте и фигурирует она в деле как вещественное доказательство...

— Собирайтесь на допрос! — оборвал воспоминания жандарм.

В комнате Лопатина поджидали генералы, наряженные, словно на царский прием: в парадных мундирах, с орденами и медалями и почетным оружием. За столом медлительными старческими руками перебирал бумаги генерал-адъютант С. С. Ланской. На диване улыбался и крутил очки генерал-лейтенант Н. А. Огарев.

Лопатин знал их по высочайше учрежденной Следственной комиссии, возглавляемой графом М. Н. Муравьевым. Понял: занятые текущими, более срочными и важными делами жандармы III отделения отказались от подследственных «Рублевого общества» и передали их генеральской комиссии. Ничего доброго такая перемена не предвещала.

Ланской, пристально посмотрев на Лопатина, неожиданно спросил:

— А ведь мы с вами как будто где-то встречались?

Лопатину не хотелось напоминать, что генерал-адъютант присутствовал однажды на допросе по каракозовскому делу, но явился отягощенный грузным обедом и добрым вином и блаженно подремывал на диванчике. Ответил весьма почтительно:

— Так точно, ваше превосходительство, имел честь вас видеть на званом обеде госпожи Александры Осиповны Ишимовой.

Ланской не скрыл удивления:

— Вот не ожидал! Бывал, бывал! А кем вы приходитесь Александре Осиповне?

— Родственник по отцовской линии.

— Прекрасный стол неизменно выявляла несравненная Александра Осиповна. И весьма огорчительно, весьма огорчительно, что вы не похожи на своих родственников. Ну скажите, бога ради, и зачем вы затеяли это *грошовое* общество?

— Поверьте, из лучших, гуманных побуждений. Стремились помочь голодающим. Пытались...

— А кто вам разрешил? — гаркнул Огарев. — Явились непрошеные благодетели народа. Если вы приютили этих самых... Макулову, Долгорукую, Ткачеву, то это не общество, а бардак. Нигилистки, живут по пословице: «Чей бык не скачет, а телята наши».

Лопатин не выдержал и язвительно уточнил:

— Если вы признали — «телята наши», значит, вы и есть тот самый бык. Не по возрасту, а факт...

— Как вы смеете! — вспыхнул Ланской. — Я как председатель высочайше утвержденной Следственной комиссии предупреждаю вас о последствиях столь непозволительного поведения...

«Вот как глупо оборвалось столь удачное начало, — с грустью подумал Лопатин. — А конец будет затяжным и с последствиями...»

На вопросы стал отвечать кратко и односложно.

Генералы устали.

— Ну его к черту, — сказал Огарев. — Пусть посидит на воде и хлебе, страдалец народный. Пора обедать!

И потекли однообразные, мучительно длинные дни. Делопроизводитель комиссии коллежский секретарь Ратко, после того как генералы утомились на представлении «очередной допрос» и покинули комнату, сочувственно намекнул:

— Вас могут держать бесконечно — до выяснения дела.

— Да ведь все же выяснено, Александр Родионович.

— Вы с Волховским нескладно врете. Невпопад.

— Подскажите, как он врет?

— Что вы! Я присягал... Ни в коем случае...

И тянулись дни. И все-таки случай представился...

Феликс Волховской отложил дозволенную для чтения книгу — «О комплектовании кавалерийских полков лошадьми», — лег на осточертевшую жесткую койку, чтобы опять думать о том, как найти выход из проклятой камеры. Постепенно стихли голоса и шаги проходивших по каменным плитам людей — значит, наступил вечер. Почувствовал на себе чей-то неотступно-упорный взгляд. Смотреть мог только часовой. Ему положено через каждые полчаса заглянуть в «номер» и лично убедиться, что подследственный не сбежал и рук на себя не наложил. А сегодня чего-то разохотился — не отходит от двери. И вид какой-то неказенный: стоит, прислонившись плечом к косяку, шапка, в нарушение устава, сидела на затылке, а обнаженная шашка почему-то сползла с плеча и уткнулась в пол. На круглом деревенском лице с рыжеватыми усами нет и признаков служебной свирепости, скорее, можно уловить признаки добродушия и, трудно даже поверить, — нескрываемого сочувствия.

Волховской встал, подошел к двери.

Солдат не шелохнулся.

Волховской учтиво поклонился ему, словно встретил доброго знакомого.

Солдат, кивнув головой, неожиданно спросил:

— Давно тут?

— Третий месяц.

Солдат убедительно чмокнул губами:

— Кому хошь надоест.

— Как не надоесть! Ведь все время один, и поговорить-то не с кем. Что дома делается — не знаешь. Занятия — никакого.

— Не дай бог. Уж на что наше каторжное житье, а все же лучше.

Волховскому разговор понравился, и он искренне посочувствовал:

— Стало быть, и вам несладко?

Солдат тряхнул головой:

— И не говорите. Прямо — собачья жизнь. Вы как думаете? Вот мне третьи сутки не приведется спать.

— Не может быть! — воскликнул Волховской и, присмотревшись, заметил, что у собеседника красные, воспаленные глаза.

— Да как же! Считайте сами. В понедельник из караула пришел — тут и обед. Отобедали — надо амуницию до полного блеску почистить. И только почистил — приказывают: в шесть часов наряд, к Дворянскому собранию. Ну, господа вовсю веселились, и ихний бал кончился в четыре часа утра. Не успел заснуть — ступай коней чистить. Справил коней — опять в наряд. И вот, стало быть, во вторник случились похороны в торжественном виде — какой-то большой чин помер, так потребовали опять же нас, жандармов. Вернулись с похорон — командуют: марш в театр. Стало быть, для порядку. В казарму в третьем часу ночи заявился, а в пять часов подняли и снова уборка и чистка. Ну, а нынче опять в карауле, спать не положено. Будь в другом месте да при добром унтер-офицере, может, и вздремнул часок-другой, а тут — никакой возможности, дежурный офицер может запросто нагрянуть. Вот и выходит — третьи сутки глаза-то не смыкаются.

— А вы прислонитесь к стенке и вздремните часок-другой. На меня смотреть не нужно. Я вас не подведу.

Солдат отрицательно покачал головой.

Волховской осмелился и тихо спросил:

— Скажите, а вы в том здании, что через двор, бываете в карауле?

— А как же? Я недавно там был. Там тоже один

сидит. Красивый парень да бравый такой. Может, вы его знаете?

— Приятель! Мы с ним по одному делу.

— А за что сидите-то?

— За книги.

— За какие такие книги?

— Да хотели мы с ним книги для крестьян, для народа, хорошие печатать. И деньги на это доброе дело без дозволения начальства собирали. Вот нас за то и арестовали.

— Ну-у? — протянул солдат недоверчиво.

— Честное слово. Истинная правда, — и Волховской перекрестился.

— Ах ты господи! И за такие пустяки мучить людей! Вот зря...

Солдат поправил шапку, глянул в коридор и быстро спросил:

— Может, вы хотите ему что передать? Так это могу. Вы напишите записку, а я пойду в тот караул и тихонечко отдам...

Волховской не ожидал, что солдат опередит его и сам предложит услуги в таком опасном для него деле. Мелькнула мысль: а что если это ловушка? Можно ли довериться жандарму? Конечно, рискованно, но другой такой возможности никогда не будет. Как хорошо, что последнее показание разрешили написать в камере. Остался черновик. В нем сказано все, что должен знать Лопатин. И опасаясь, что жандарм раздумает, Волховской быстро сложил показание пакетиком и пошел к двери. Ничего плохого не случится. Если солдат и выдаст, то ведь можно сказать, что дал бумагу по его просьбе на «цигарки». Только для курева...

Дверь камеры временной тюрьмы ничем не отличалась от обыкновенной, полустеклянной комнатной и запиралась из коридора обычным замком.

Часовой напряженно послушал, не идет ли кто к нему, быстро открыл дверь, взял пакетик и повернул в замке ключ. Показание засунул в шапку, лукаво подмигнул Волховскому, шепнул:

— Лежит. Прочно...

9

Солдат с честным крестьянским лицом выполнил свое обещание. Герман Лопатин, получив пакетик Волховского, понял «суть разногласий» и 26 апреля 1868 года написал новые показания о «Рублевом обществе»:

«...Под словами «Рублевое общество» надо разуметь не «Общество для сборов в пользу голодающих», как я показывал это сначала, а другое, проектированное нами (мною и Волховским) общество, которое хоть и не получило еще до сих пор определенной организации и развития, а также и названия, но которое, по основной его цели и стремлениям, весьма удобно могло бы быть названо «Обществом для распространения просвещения в народе». Мотивами, вызвавшими с нашей стороны проект составления подобного общества, послужили следующие соображения.

1. Первоначальное образование народа находится в руках лиц, в высшей степени невежественных и не подготовленных к такому делу, каковы: церковный причт, волостные писаря, отставные солдаты, выгнанные из службы за воровство и пьянство чиновники, старые девки и вдовы, летом скитающиеся по монастырям и богомольям, а зимой читающие по покойникам и обучающие деревенское юношество.

2. Вследствие такого подбора педагогов обучение производится по допотопным методам, искажающим и насилующим умственные способности детей, требующим

для получения успеха слишком продолжительного по времени курса, делающим учение для детей трудным, изнурительным и внушающим непреодолимое отвращение...

3. Такая бесплодность результатов, по сравнению с затраченными издержками, временем и здоровьем, — поддерживает, и без того весьма распространенное в народе, предубеждение против грамотности и просвещения.

4. Всякого рода учебники и пособия, изданные до сих пор для сельских школ, представляют самое прискорбное зрелище: это суть или произведения самого жалкого тупоумия и невежества, или плоды самой бесстыдной и наглой спекуляции; они не содержат в себе ничего, что было бы сколько-нибудь полезно или хотя отчасти применимо к жизни тех, для кого они предназначены. Сверх того, они написаны самым варварским и неудобопонятным языком.

5. Серьезного улучшения в системе народного образования никак нельзя ожидать при усилиях со стороны одного только правительства: правительство покупает услуги частных лиц за деньги; а до тех пор, пока лица, служащие правительству, будут служить ему только за деньги, как мы это видим почти повсюду, до тех пор на места сельских учителей будет поступать только отброс, никуда более не годный, так как люди со способностями и знаниями всегда будут пробиваться на места более выгодные и более видные. Правительство же не в состоянии назначить сельским учителям жалования, достаточного для того, чтобы привлечь к себе внимание людей с высоким умственным развитием. Поэтому сделать почин в таком деле (т. е. в деле улучшения системы народного образования) и принести здесь истинную пользу могут только частные лица, добровольно, по внутреннему влечению посвятившие себя этому труду...

Приняв во внимание все изложенное здесь, я и Волховской полагали в высшей степени полезным:

А) Составить и издать следующие книги: 1) буквари и вообще рациональные руководства для обучения грамоте; 2) учебники по предметам, наиболее важным в народной жизни, — по арифметике и счетоводству, по сельскому хозяйству, по домашней гигиене и медицине, по ветеринарному искусству, по сельской технологии, по практической геометрии и межеванию и пр. и пр.; 3) книги, служащие для ознакомления человека с внешним миром, с явлениями окружающей его природы, т. е. так называемая физика земного шара и физическая география, а также основные понятия по астрономии, физике, метеорологии, химии и описательным естественным наукам, с их применением к обыденной жизни; 4) основные понятия по географии и истории России и соседних стран; 5) книги, имеющие целью ознакомить народ с положительным законодательством его Отечества... 6) собрание лучших отрывков из известных писателей для развития в народе литературного вкуса...

В) Найти, уговорить или подготовить людей, которые бы взяли на себя: 1) составление таких книг; 2) личное преподавание по селам и деревням.

С) Собрать денежные средства, необходимые: 1) для издания и распространения вышеозначенных сочинений и 2) для поддержания учителей и продолжения их педагогической деятельности.

Книги долженствовали быть написаны самым понятным языком, изданы в большом количестве и распространены как можно более, продаваясь по возможно дешевой цене, а в случае крайности, раздаваясь даже даром. Учитель долженствовал или примкнуть к имеющимся уже народным школам, или же действовать самостоятельно...

Средства свои Общество предполагало получать: частью из ежемесячных взносов своих действительных членов (по 1 рублю в месяц), частью от всякого рода пожертвований: деньгами, книгами, вещами и пр. со стороны знакомых лиц, частью от продажи своих будущих изданий; наконец, можно было бы устроить под более или менее приличными предлогами несколько концертов или литературных вечеров...

...Мы полагали, что наши планы могут встретить деятельное сочувствие исключительно в кругу молодежи, которая всегда более расположена к экзальтации, к самопожертвованию, к служению отвлеченной идее в прямой ущерб своим личным интересам, чем зрелый возраст...» [35]

Обстоятельное и безусловно правдивое показание Германа Лопатина не понравилось комиссии «престарелых генералов». Они вызвали на допрос автора и утомительно, долго и зло ругали за каждый пункт программы. Генерал-адъютант Ланской, громко прочитав составленный Лопатиным список «наиболее важных в народной жизни книг», срывающимся от негодования голосом спросил:

— А где закон божий? Я спрашиваю, на каком основании вы забыли главный учебник для крестьянских детей — закон божий?

— Я просто не мог перечислить в пункте втором абсолютно все учебники и некоторые обозначил в числе «и прочие, и прочие».

— Вот до чего дошли! На законе божьем испокон веков вся крестьянская жизнь держится, а вы его в это самое... в прочее, в прочее. Позор. Сын дворянина... Кандидат Императорского университета...

Повернулся к жандармам наряда, приказал:

— Увести его...

Недели три не вызывали на допрос. Потом вспомнили. И снова ругали. И опять забыли.

...13 июля Лопатина и Волховского перевели из временной тюрьмы при III отделении в отдельные казематы Екатерининской куртины Петропавловской крепости. И питание и режим резко ухудшились...

Лопатин ждал суда.

Все изменилось 17 августа 1868 года. Высочайше учрежденная Следственная комиссия наконец-то в пространной докладной записке, подводящей итоги всему делу, постановила:

«1) Волховского, приняв во внимание его молодость и откровенные признания, освободить от ареста и дальнейшего преследования, подчинив его негласному полицейскому надзору;

2) Лопатина же, вследствие его упорного запирательства, выслать из Петербурга в Тифлис под непосредственный надзор отца и строгое наблюдение властей, предоставив ему, однако, право поступить на государственную службу» [36].

В тот же день Феликс Волховской был освобожден и отдан на поруки своей матери.

Герман Лопатин ожидал, что его выпустят из Петропавловской крепости одновременно с товарищем. Волновался, готовился к предстоящей поездке весь день, и всю ночь прислушивался — не идут ли к его двери. Утром 18 августа узнал, что должен внести 218 рублей за конвоирование до Ставрополя.

Лопатин возмутился:

— Это неслыханное издевательство! У меня в жизни никогда еще не было таких сумасшедших денег. Откуда я их возьму?

Чиновник особых поручений Горемыкин рассмеялся:

— Вы не в меру прибедняетесь, дворянский сын. Вас никто сюда не звал. Сами напросились. Бесплатно

можем отвезти только в Сибирь. А на юг, в благодатный Ставрополь, — извольте платить наличными.

— Мне не нужно сопровождающих. Я сам дорогу знаю.

— Вы ссыльный. Мы обязаны сдать вас под расписку ставропольскому полицмейстеру.

— По вашей вине я не работал полгода. Уплатите за время отсидки, и я внесу эти деньги. Нет большей тяжести, чем уплата долга, когда не должал...

— Странно слышать от кандидата университета этакий детский лепет. Будете сидеть в крепости, пока не внесете всю сумму — 218 рублей.

— Разрешите, я уплачу в Ставрополе.

— Только здесь. Покатались... везите саночки...

— Здесь я не могу собрать такую сумму.

— Это меня не касается. Это ваше личное дело. Ступайте в камеру и подумайте на досуге, как дошли до такого... банкротства...

— В камеру-то успею. Отпустите меня в город. Буду просить товарищей. Если нельзя — одного, тогда с вашими провожатыми.

— Не имеем права.

Лопатин привычно пошарил в кармане, но ничего не нашел.

— Тогда одолжите, пожалуйста, писчей бумаги и конверт с почтовой маркой.

— Вот с этого и нужно было начинать...

После тяжелого раздумья Лопатин решил обратиться с просьбой к Михаилу Негрескулу. Пожалуй, из всех друзей он самый «способодательный» и самый «знакомознающий». Так и определил! В письмо вложил просьбы — записки Николаю Даниельсону, Ивану Билибину, Николаю Любавину и Феликсу Волховскому, указав его временный адрес: 2-я военная гимназия у Тучкова моста — спросить у воспитателя Ивана Васильевича

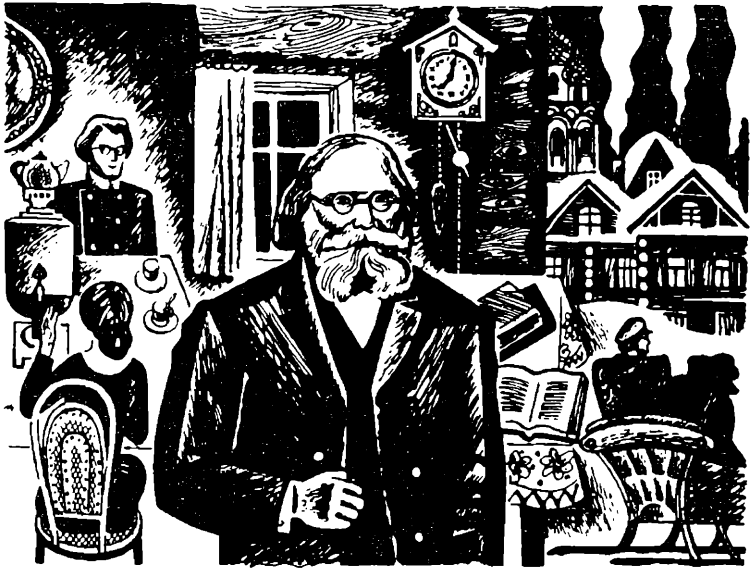
Григорьева, женатого на родной сестре матери Волховского.

Отправив письмо, Лопатин два дня читал выпрошенную у Горемыкина, «для убития времени», «Коммерческую энциклопедию».

21 августа уже ничего читать не мог — думал о платежеспособности своих друзей-кредиторов. Здоров ли Михаил Негрескул? Получил ли письмо? Удалось ли ему выполнить столь необычное задание?

На все эти мучительные, лишавшие его покоя вопросы Лопатин получил ответ только утром 23 августа: Михаил Негрескул внес плату за конвоирование — 218 рублей. В тот же день Лопатина передали в распоряжение петербургского обер-полицмейстера Ф. Ф. Трепова для высылки в Ставрополь.

С глубокой, неизбывной грустью покидал Герман Лопатин полюбившийся, ставший родным Петербург — город, в котором прошла его непокорная, суровая юность и в котором остались дорогие его сердцу друзья, столь великодушно и щедро выручившие из «тюремной долговой кабалы». И обидно, и горько было — он не мог увидеть их, попрощаться и по-дружески отблагодарить.



НАДО БЕЖАТЬ

1

4 декабря 1869 года жандармы арестовали активного участника студенческих волнений Михаила Федоровича Негрескула. При обыске в его бумагах было найдено письмо Германа Лопатина, посланное 17 сентября 1869 года из Ставрополя по адресу: С.-Петербург, Васильевский остров, 14-я линия,

дом 31 — М. Ф. Негрескулу. Этим письмом заинтересовалось III отделение. Генерал-адъютант Н. В. Мезенцев, вооружившись синим карандашом, подчеркнул почти половину написанного. Что же так встревожило начальника штаба корпуса жандармов?

«Хотел послать Вам, Михаил Федорович, второе письмо тотчас после того, как послал первое, да вот до сих пор не собрался. Дело в том, что за это время я опять ездил в командировку (поселял эстонцев), из которой вернулся на днях, и застал дома Ваш ответ на мое первое письмо...

Все Ваше последнее письмо есть рассказ, который я прочел с большим интересом и который я Вас очень прошу продолжать. Вы сказали, что познакомились с Н.[37], которого Вы почему-то называете Ольхин(?); расскажите мне о нем поподробнее и объясните, если можете, что он желает произвесть своими трудами. В письме моем к Л.[38], который, вероятно, переслал его Вам, я высказал в коротких словах мой взгляд на эти произведения...»

Мезенцев обвел «Н.» и «Л.» кружком, пометил: «Выяснить: кто такие».

«Я должен сознаться, что отсутствие всякой сколько-нибудь широкой и полезной деятельности, обязательный и несимпатичный труд, недостаток людей, по уму и характеру подходящих к моим вкусам, наконец, отсутствие приятных впечатлений и сильных ощущений во всех других областях жизни, в области умственной, нравственной, физической... делают для меня жизнь в Ставрополе с каждым днем все отвратительнее и отвратительнее...

Трудно держаться даже за такую сравнительно ничтожную по своей полезности деятельность, как моя должность библиотекаря. Заметьте, что меня очень любит губернатор и, судя по внешности, уважает мои

мнения и мой образ действий. Когда я выезжаю в уезд, в моем предписании значится — «предписывается гг. исправникам, становым приставам и прочим членам земской полиции беспрекословно исполнять всякое распоряжение...» Таким образом, ни одна шельма не смеет здесь затронуть меня открыто. Я обставлен здесь лучше, чем кто-нибудь, и что же — не прошло и нескольких месяцев моего управления библиотекою, как уже подается куда следует донос, что библиотекою управляет высланный за политическую неблагонадежность, что библиотека превращена им в место сходок для гимназистов и семинаристов старших классов и для высланных студентов, что я сводничаю между молодежью и сими изгнанниками...»

Генерал Мезенцев отметил скобкой последние четыре строки и написал сбоку: «Провести расследование: кого имеет в виду автор».

«Понятно, что как ни любит меня губернатор, но в случае беспрерывного повторения подобных тревог он не задумается отстранить меня для сохранения собственного спокойствия! Далее я уже писал, что из семинаристов дозволено посещать библиотеку только немногим, и притом они могут читать только известные книги. Я писал, что пускаю всех и даю им все; но для этого я вынужден на свой страх вести фальшивые конторские книги. Недавно (месяца три назад) явился ко мне директор гимназии и, ссылаясь на секретные инструкции, просил меня не пускать в библиотеку гимназистов. Сначала я пообещал, хотя в довольно неопределенных выражениях и притом с твердым намерением не исполнять своего обещания; но потом я укрепился в своей позиции и тогда положительно отказался закрыть гимназистам доступ в библиотеку до тех пор, пока мне не будет предписано этого официальным порядком.

Далее из официального источника я знаю, что в июне сюда приезжал агент III отделения (фамилии и других подробностей относительно личности, местожительства я разузнать не мог, а то он едва ли бы уехал отсюда!). Ему поручено было выждать получение из Пятигорска тюка с нечаевскими прокламациями, посланными, на основании каких-то неизвестных мне соображений, на имя директора минеральных вод Смирнова (и кому здесь нужны прокламации, да еще такие?! И почему Смирнов сочтен радикалом?!). Затем ему (агенту) велено было собрать сведения об образе жизни и поведении высланных студентов. Я в особенности был рекомендован его вниманию. Вот видите, как заботится начальство о своих пациентах!..

Итак, Вы видите, насколько возможна в провинции полезная деятельность в сколько-нибудь широких размерах, особенно для нашего брата «ссыльнопоселенца»... Я бросил Лорга, переведши каких-нибудь четыре листа в первое, более свободное время; вот почему я не мог до сих пор заняться сколько-нибудь основательно английским языком; вот почему часто я не могу выбрать времени для длинного письма, так как все письма, длинные и короткие, я люблю писать за один присест, не возмущаемый непрерывным вмешательством внешнего мира. Далее, работа по службе мне опротивела до омерзения. Думать, что она будет продолжаться в будущем на неопределенное время, — для меня невыносимо!

...Очень может быть, что как ни незначительна та польза, которую я приношу или буду приносить обществу здесь, она все-таки значительно больше той, которую я буду в состоянии приносить там... Очень может быть, что я и сам лично ничего не выиграю от этого, что на чужбине я затоскую по родине... Все это может быть. Но сила не в этом. Сила в том, что я ежеминутно

чувствую, как постепенно гибнет здесь мое нравственное существо, и это так невыразимо мучит меня, что я не в состоянии далее терпеть. Я не хочу думать, будет ли полезен такой поступок для других или для меня самого... Я твердо решил уехать отсюда на будущую весну, и я хочу верить, что если Ваша помощь понадобится мне, Вы, как старые друзья, поможете мне, не обращая внимания на то — будете ли Вы согласны или не согласны с моим мнением о необходимости отъезда отсюда.

Мысль о побеге засела мне в голову очень скоро после моего приезда сюда. Но так как я очень хорошо сознавал, что мною руководит в этом случае стремление к личному счастью, а не какие-нибудь патриотические чувства, то я полагал, что было бы нечестно устраивать свои делишки за чужой счет (хотя бы и за счет приятелей). Поэтому я твердо вознамерился расплатиться предварительно со всеми своими долгами и, очистившись таким образом и отложив про запас рублей 300—400, отправиться вдаль на собственный риск и счет...

Я достал себе настоящие, законные бумаги (кандидатский диплом Харьковского университета и копию с метрического свидетельства), которые совершенно подходят к моим летам и ухваткам. Я перешлю их в С.-Петербург как следует страховым порядком; кто-нибудь из друзей потрудится прописать их в половине марта на какой-нибудь квартире. В половине мая он возьмет от мирового судьи и из полицейского участка свидетельство о том, что к выезду его за границу препятствий не имеется. Затем все сии документы он отнесет в иностранное отделение канцелярии обер-полицмейстера и возьмет там заграничный паспорт. Когда я узнаю об этом (телеграмма), я поеду в Ростов (самая трудная часть предприятия — будет стоить рублей 25); из Ростова я еду на чугунке в Петербург (25 р.);

пребываю там два дня, сажусь на пароход и отплываю, например, в шведский город Гетеборг (25 руб.)...

К весне у меня, по моему расчету, непременно будет 400, а может быть, и 450 рублей. Если же Ив. Ив.[39] не прогневается до конца и не отымет Лорга, то к весне-то я его непременно доломаю, и таким образом у меня будет денег гораздо более того, сколько мне нужно...»

Мезенцев написал на листке: «Выяснить, кто такой Ив. Ив. и что он издает».

«Напишите, как Вы все взглянете на мое предприятие и могу ли я рассчитывать на деятельную помощь с Вашей стороны в вышеизложенном смысле. Рекомендую самую изысканную осторожность в этом отношении. Для меня это дело жизни и смерти. Мне кажется, что если бы моя попытка не удалась и меня схватили, я застрелился бы, конечно, после того как истощил бы все усилия для своего освобождения, какие только может доставить ум или физическая сила,— до такой степени страшным представляется мне мое положение здесь после неудачной попытки. Жгучий стыд, разочарование в любимейших местах, отчаяние за будущее, горестные лица «родителев и других соприкасающих мне по естеству», злоба начальства и прочее и прочее — все это нестерпимо ужасно. Одна мысль о подобных страстях приводит меня в содрогание!

Помните, Вы писали как-то, что члены «Скита»[40] переводят Маркса «Zur Kritik» и пр. Какая судьба постигла этот перевод, что он до сих пор не появляется в печати?»

Этот абзац генерал-адъютант Мезенцев выписал на листок и пометил: «Незамедлительно и тщательно расследовать».

«...Вы когда-то давно обещали мне выслать *все* сочинения Лассаля... Если у Вас есть другие его сочинения (брошюры), мне было бы приятно получить их. Мой

брат для упражнения в немецком языке переводит его же две брошюрки на «якобы русский язык»[41].

Скажите, служите ли Вы по-прежнему в Обществе взаимного кредита? Как Ваше здоровье? Несмотря на Ваше повествование, честное слово, я никак не могу представить себе Вас больным! ...Отвечайте поскорее и побольше... Если найдете удобным, перешлите потом это письмо к Любашу, а затем пусть оно будет радикально уничтожено.

Герман.

Отсылая свое письмо на почту, *никогда я не боялся так за его судьбу, как теперь»*[42].

Не думал Лопатин, что вслед за опасением вскоре наступит горькое сожаление. Рассеянный и болезненный Михаил Негрескул «радикально» не уничтожил письмо и не отослал его Любашу — Н. Н. Любавину. Излишне откровенное и пространное письмо из Ставрополя, пролежав в столе Негрескула более двух месяцев, не задержалось и недели в канцелярии III отделения и вернулось в Ставрополь к начальнику жандармского управления полковнику Лабенскому «для принятия соответствующих мер»...

7 декабря 1869 года Герман Лопатин был арестован. При обыске «ничего существенного изъято не было».

2

...Арестованного Германа Лопатина посадили... на гауптвахту. Комендант полковник Грачев с глазу на глаз выразил сожаление:

— Трудно представить, как тяжело переживают этот невероятно прискорбный случай ваши батюшка и матушка. Их все знают. Они самые уважаемые граж-

Брат Г. А. Лопатина Всеволод.

дане нашего города. И как вы могли так опозорить самых близких и, не сомневаюсь, самых дорогих вам людей...

Лопатин промолчал. Не возразишь, — все правильно. Вот уже шестой год статский советник А. Н. Лопатин управляет губернской казенной палатой. Кроме того, является постоянным членом статистического комитета, избран в общество попечения о раненых и больных и в потребительское общество «Кавказ». Горожане, встретив Александра Никоновича, с уважением кланяются ему. А теперь некоторые из его завистников и недоброжелателей будут нарочито сторониться, и, конечно, найдутся сочувствующие и соболезнующие его внезапному и неизбывному горю.

Мать плакала при аресте, наверное, плачет и сейчас и не может поверить, что сын ее арестован, содержится под стражей якобы «за попытку к бегству». Разве ему плохо было в родном доме? И как это можно убежать от матери и отца? Да и служба была почетная — чиновник, состоящий при губернаторе для особых поручений, и главный библиотекарь общественной городской библиотеки. Сам губернатор Георгий Константинович Властов с лестной похвалой отзывался о «блестящих способностях» нового младшего чиновника и доверял ему

наиболее трудные и сложные дела, связанные с переделом земли, с устройством переселившихся на Ставропольщину эстонских батраков. Мать слепо верила, что, возмущенный самоуправством жандармов, губернатор добьется отмены незаконного ареста своего любимого чиновника...

И брат Всеволод, первым из родных пришедший на свидание, одобрительно отметил отсутствие посторонних ушей и тихонько шепнул:

— Мама ходила к губернатору и просила за тебя. И знаешь, Георгий Константинович обещал от должности тебя не увольнять и оказать всяческое содействие для освобождения.

Герман поморщился, горестно покачал головой, представив, какую душевную боль перенесла мать за время этого визита к гордому, самовлюбленному Властову. Сказал с глубокой грустью:

— Ну зачем она так унижается! Попроси ее от моего и своего имени — поскорее успокоиться и беречь себя. Я арестован по предписанию самого генерала Мезенцева, и губернатор Властов бессилен оказать так называемое содействие в освобождении. Я должен бежать отсюда, но об этом никому, слышишь, никому не смей говорить. О моем дальнейшем местопребывании я сообщу Андрею Сидоренко. Ко мне сюда больше не приходи. Не забывай — ты тоже выслан в Ставрополь под надзор полиции. Постарайся понять и запомнить — нашим старикам достаточно и одного сына с клеймом государственного преступника. Старайся быть безупречным во всех отношениях. Поскорее освобождайся от надзора и заканчивай, обязательно заканчивай университет в Петербурге или в Харькове. В Московский, после шумных студенческих беспорядков, тебя больше не примут.

— Понимаю. Постараюсь.

— Вот и договорились. Давай попрощаемся. Похоже, что я тебя не скоро увижу. Да, чуть не позабыл — еще передай мой строгий приказ Сергею и Николаю — сюда не показываться, вокруг гауптвахты не крутиться. Отец прочит для них военную карьеру, и на этом поприще я могу им только помешать...

— Слушай, Герман, может, нужно что-то передать твоим знакомым и друзьям?

— Нужно, но только не через тебя. Мы договорились — ты в этой игре не участвуешь. Помощников у меня достаточно. — Герман притянул к себе брата, трижды поцеловал, кивнул головой: — Ступай домой! Береги маму!

Герман заметил: Всеволод обижен и удручен, но ничего менять в своем решении не пожелал. Вся семья Лопатиных должна быть в стороне от его главного дела — им еще долго жить в Ставрополе.

Главное дело — побег! Для подготовки к нему Лопатин выбрал двух верных друзей: Андрея Григорьевича Сидоренко и Нину Александровну Нейман.

Андрей Сидоренко служил в приказе общественного призрения помощником столоначальника канцелярии. Он очень любил книги и часто посещал общественную городскую библиотеку, познакомился, а потом и подружился с Германом Лопатиным. Жил Сидоренко на глухой окраине — на Последней Подгорной улице, в домишке матери. У него можно остановиться на короткое время, переодеться, запастись всем необходимым для трудной дороги Ставрополь — Петербург.

«Хорошо сохранившаяся, статная, весьма интересная», как о ней говорили местные сплетники, вдова полковника Нина Александровна Нейман тоже охотно и часто посещала библиотеку, но не книги ее привлекали, а молодой, красивый, остроумный, в полном расцвете духовных и физических сил библиотекарь. При-

стальное внимание милой вдовушки было приятно Лопатину. Она много путешествовала, обладала прекрасной памятью, увлеченно и довольно образно рассказывала о Германии, Франции, Англии. У нее можно было поучиться разговорному немецкому и французскому языкам. Эти своеобразные уроки начались в библиотеке, затем продолжались в уютной квартире вдовушки и завершились в тревожные часы свиданий у главной гауптвахты.

До Нового, 1870 года Лопатин только мог догадываться, почему его арестовали. Начальник жандармского управления полковник Лабенский уехал по делам в Петербург, а его заместитель капитан Афанасьев — в Тифлис. Капитан вернулся в конце декабря и 1 января вместе с офицером Мартыновым допросил коллежского секретаря Германа Лопатина.

Дурно пахнувший после новогодней попойки Афанасьев вытащил сентябрьское письмо Лопатина к Негрескулу и потребовал:

— Вы должны подробно и правдиво ответить на все тридцать вопросов, поставленных канцелярией Третьего отделения против подчеркнутых ими строк письма.

Передал три листа бумаги:

— Я буду записывать, а вы отвечайте.

— Не утруждайтесь! Пора диктантов для меня давно прошла. Отвечу самостоятельно. А вы скверно себя чувствуете. Отдохните.

— Совершенно верно. Есть такой грех. Все это дело не нашей субординации. Так что, ответствуя, вы имейте в виду отнюдь не капитана Афанасьева, а самого генерала Мезенцева. Пишите...

И Герман Лопатин написал со свойственной ему прямотой и резкостью все, что касалось самого Мезенцева и его подчиненных:

«Прежде я полагал, что так как каждый человек имеет природное и неотъемлемое право защищать свою внутреннюю, интимную жизнь от насильственного вторжения в нее лиц, ему совершенно чуждых и несимпатичных, и так как законы той страны, в которой я имел несчастье родиться, ни малейшим образом не обеспечивают частных лиц от подобных насильственных вторжений в их интимную жизнь, а общество недостаточно развито нравственно и недостаточно сильно, чтобы протестовать, помимо закона, против такого обращения с его членами, то поэтому ложь и увертки на допросах, подобных настоящему, представляют совершенно простительное и даже законное орудие слабости перед насилием и произволом со стороны силы...

Не отрицая и теперь, в теории, извинительности лжи при подобных обстоятельствах, на практике я нахожу для себя нравственно невозможным прибегнуть к этому способу. Поэтому я решился, в настоящем своем показании, правдиво объяснить все то, что относится лично ко мне или к таким обстоятельствам, которые я нахожу возможным объяснить, и просто уклониться от всяких объяснений того, что относится к другим лицам, и чего, следовательно, я не имею никакого права касаться, предоставив разъяснение всех таких обстоятельств тем обширным ресурсам, которыми располагает III отделение...

...Что касается до фамилий, обозначенных при этом мною условными буквами, то я не считаю себя вправе сообщать их, не потому чтобы я считал их преступными или думал, что они должны опасаться чего-нибудь от правосудия, но потому, что наше так называемое «правосудие»... не любит спешить, и лица, на которых оно наложило свою тяжелую руку, достигают объявления себя невинными не прежде, чем пройдя длинный и тернистый путь всевозможных испытаний. Поэтому я счи-

тал бы себя последним негодяем, если бы я сделался умышленною причиною всевозможных беспокойств для этих лиц и тяжелого горя для их родных и друзей за то только, что лица эти имели смелость питать ко мне дружеские чувства, не смущаясь постигшей меня опалой. Я слишком верю в искусство и доброе усердие чинов III отделения для того, чтобы считать мои показания в этом случае сколько-нибудь необходимыми...

...Я старался добросовестно исполнять принятые на себя обязательства, но не переставал чувствовать себя на коронной службе совершенно не в своей тарелке. Но главное — я совершенно не привык и не желал долее сидеть в Ставрополе, как собака на цепи, лишенный права свободно располагать собой и не стесняясь высказывать свой образ мыслей. Конечно, я с гораздо большим удовольствием предпочел бы уехать за границу легальным путем, если бы не был уверен, что мне откажут в позволении на это»[43].

Лопатин добросовестно ответил на все тридцать жандармских вопросов.

Капитан Афанасьев прочел показание и с досадой отодвинул листы к арестованному:

— Ну зачем же вы... так откровенно резко? Поверьте моему опыту — это вам только повредит. Снимите все эти излишние рассуждения о правосудии, о тернистом пути испытаний и тому подобные, не относящиеся к делу, излияния.

— Это не излияния, а убеждения. Переписывать не буду...

— Вот и напрасно. Я советую из уважения к вашему батюшке. Надо соблюсти должную деликатность.

— Убеждения не меняют, как перчатки.

— Ну что ж! Тем хуже для вас...

...Капитан Афанасьев больше с Лопатиным не встречался. Через два дня он уехал в Новороссийск. Старшим в жандармском управлении остался переводчик Мартынов — подхалим и карьерист.

5 января на прогулке Лопатин встретился с Ниной Александровной Нейман и попросил ее на французском языке:

— Пришло самое удобное время. Передайте кому следует: завтра в это время я уйду отсюда.

— Хорошо, мой дорогой! Я все для тебя сделаю.

3

Капитан Афанасьев, медленно подбирая нужные слова, писал донесение в III отделение собственной его императорского величества канцелярии:

«После обыска, произведенного 7 декабря на квартире чиновника Лопатина, он был арестован и помещен на главной гауптвахте. Здесь, как оказалось по собранным мною сведениям, он с первых же дней, по снисхождению караульных начальников, пользовался большой свободой. Так, например, к нему беспрепятственно имели доступ его родные; с ними он без всякого надзора со стороны караула имел свидания, ему позволялось, также без надзора, выходить с гауптвахты на прогулки и, наконец, уходить почти каждый вечер на продолжительное время к знакомой своей, вдове полковника Нине фон Нейман.

Нет сомнения, что при таких условиях содержания Лопатин имел полную возможность приобресть все средства для совершения побега...

Самое бегство произошло вечером 6 января с прогулки, которую он делал вместе с другими арестованными: хорунжим Улитиным и его женою.

Улитин, человек вообще неодобрительной нравственности, также навлекает на себя подозрение в знании и способствовании Лопатину бежать. Подозрение это основывается на следующем обстоятельстве, имеющемся в следственном деле.

Когда хорунжий Улитин был позван с прогулки на гауптвахту, то на вопрос караульного начальника отвечал, что Лопатин остался на улице с его женою. Между тем проживающий в Ставрополе отставной капитан Николай Гриельский показал следователю, что в то время, когда Улитин был истребован с прогулки на гауптвахту, Лопатина уже не было при Улитине, что Лопатин ранее отделился от них, под предлогом сходить будто бы к своему знакомому, для чего уговорил остаться при Улитине его — Гриельского, выставив причиною к тому, что бывший в карауле прапорщик Масалов, видя гуляющими всех трех, не догадается об отсутствии Лопатина. Хотя Гриельский известен страдающим расстройством умственных способностей и потому показание его не может иметь законной силы, но тем не менее, в данном случае, рассказ его правдив, потому что содержит в себе многие другие указания, вполне согласные с показаниями самого Улитина, отвергающего присутствие Гриельского на этой прогулке...

О бегстве и задержании Лопатина дано знать губернаторам по телеграфу во все места губернии и, кроме того, начальникам Кубанской и Терской областей, Кутаисскому военному губернатору и полицмейстерам в Ростове-на-Дону и Новороссийске. О том же, с указанием примет, телеграфировал и я, когда возвратился из отпуска в Новороссийск, начальникам жандармских наблюдательных постов в Ростове, Таганроге и Керчи»[44].

4

...В дверь постучали. Хозяйка Мария Петровна Негрескул посмотрела на брата мужа Автонома Федоровича:

— Кто это может быть? Я никого не жду.

Стук повторился — громче и торопливей.

Автоном Негрескул встал, подошел к двери, неохотно пригласил:

— Входите... Пожалуйста...

Вошел военный, в фуражке, в мохнатой черной бурке, в поблескивающих сапогах.

Негрескул невольно попятился:

— Вы не сюда попали... С кем имею честь?

— Штабс-капитан Скирмонт. Пожаловал к Марии Петровне Негрескул, урожденной Лавровой.

— Скирмонт? Впервые слышу, — удивилась Мария Петровна. — Кто вас послал?

Штабс-капитан снял фуражку, улыбнулся:

— Нехорошо забывать старых друзей из преподобного «Скита».

— Лопатин! Ой как вы нас напугали! Ну разве можно так маскарадничать! Откуда вы?

— Из ссылки, вестимо. Жандармы грозятся, а я... ухожу. Из рядовых — в штабс-капитаны.

— Снимайте свою свирепую шкуру и садитесь к столу. Я только что заварила чай.

— От чая и чего-нибудь более существенного не откажусь. И пока я чревоугодничаю, расскажите о житье-бытье вашинском. Начните с мужа: где он, и каково здоровье, и чем грозят мундиры голубые?

И пока Лопатин не спеша пил чай, Мария Петровна спокойным, ровным голосом поведала о тяжелых переживаниях минувшего года. Лопатин узнал, что ее муж Михаил Федорович, арестованный в связи с делом Сер-

гея Нечаева и заключенный в Петропавловскую крепость, тяжело заболел чахоткой. Непрерывные, изнурительные допросы, холодная, сырая камера и скверное питание выматывают последние силы подследственного, а до суда еще далеко.

— На днях я видела Михаила и, поверьте, не узнала его. Страшно смотреть — бледная, дряблая кожа обтягивает немощные кости. На двадцать седьмом году жизни он выглядит семидесятилетним,— устало и грустно сообщила Мария Петровна. — Свидания мне не разрешены, но моей свекрови как-то удалось уговорить плац-майора, и он исправно берет с меня за каждое свидание с мужем двадцать пять рублей...

— Ну и живодер, этот плац-майор,— не удержался от оценки Лопатин. — Михаила надо срочно спасать. Как это ни противно, а придется вам или его матери писать прошение главному жандармскому церберу Шувалову об неотложном освобождении по болезни, под домашний арест.

— Что вы! Для меня они ничего не сделают. Ведь я — дочь Лаврова, а они его ненавидят и боятся. Вот уже три года отец мучается в ссылке: все время болеет, не может работать, тоскует по родным и знакомым. С ним единственный, неотлучный ангел-хранитель старушка мать. Она всем пишет письма, просит и требует. Вы знаете Елену Андреевну Штакеншнейдер?

— Дочь известного архитектора и добрую приятельницу вашего батюшки видел, но лично не знаком.

— Так вот, моя бабушка засыпала ее прошениями на влиятельных и могущественных столичных особ. Елена Андреевна, используя военных знакомых, после долгих хлопот добилась приема у самого шефа жандармов Петра Андреевича Шувалова. Он мимоходом выслушал ее, сказал, что «разберется», и... отказал. Тогда бабушка прислала новое ходатайство и попро-

сила Елену Андреевну вручить лично генерал-адъютанту Мезенцеву. Надо поклониться настойчивости и упорству этой гордой женщины — она встретилась с Мезенцевым. Он ее выслушал и знаете что сказал: «Знаю я эту старуху Лаврову. Преназойливая старуха, и сын — ее достойный плод. Если бы зависело только от меня, то я ничего бы не сделал». Потом было еще одно прошение к бывшему столичному губернатору светлейшему князю Александру Аркадьевичу Суворову. Тот принял весьма любезно, но выхлопотать ссыльному Лаврову выезд за границу не мог. Я уже не знаю, какое по счету послание все-таки попало в руки самого государя императора. Как на него надеялась бабушка! Она мне писала: «Только бы моя просьба попала к Государю, он так добр, что, наверное, согласится». И вот царь прочел прошение и на полях изволил начертать: *«Если это тот Лавров, что читал в Артиллерийском училище, то в просьбе отказать»*[45]. И круг замкнулся.

— Можно представить, какие мучительные переживания вызвало это царское равнодушие у вашей бабушки и отца.

— Бабушка стала слепнуть. Один глаз уже не видит.

— Круг замкнулся, круг надо разорвать, — твердо произнес Лопатин. — Царь понимает, что Лавров за границей — это новый Герцен с новым «Колоколом». Не отпускают — значит, надо бежать.

— Михаил тоже об этом говорил и подбирал надежных людей, которые рискнули бы поехать в Кадников.

— Пришла пора не говорить, а действовать. Я завтра еду в Кадников к вашему отцу, успокою его и подготовлю к побегу.

— Завтра... и один?

— Одному удобнее. И вернее. А вас и Автонома Федоровича попрошу заняться приобретением верного

заграничного паспорта для Петра Лавровича. Да еще нужно позаботиться о временном абсолютно безопасном пристанище для беглеца. По причинам, вам понятным, ему, так же как и мне, нельзя ночевать у вас.

Мария Петровна не могла сразу ответить на это.

Молча слушавший разговор Автоном Федорович охотно предложил:

— Может остановиться у нас...

— Не годится. Вы лицо поднадзорное — брат государственного преступника.

— Я, кажется, нашла! У папы есть хороший, можно сказать, преданный ученик — артиллерийский офицер Лобов. Он вне подозрений и живет на окраине.

— Вот это подходит! До отъезда я к вам еще зайду. Да, чуть не забыл весьма существенное: из Ставрополя я удрал налегке, не заходя домой, а посему достаньте, пожалуйста, деньги для поездки в эту самую Вологодчину. Вот и все на сегодня. Я пошел...

— Где же вы будете ночевать, Герман Александрович? Ведь все ваши друзья арестованы...

— Голубушка! У меня в запасе предостаточно подруг. Примут с распростертыми объятиями, ибо любовь есть лучшее проявление нашей души. Спокойной ночи... заговорщики...

5

...Темнело, когда Герман Лопатин приехал в Кадников. Оставив лошадей на постоялом дворе, без труда отыскал дом, в котором жил Лавров. Не спеша прошелся по улице, высматривая одного из двух жандармов, приставленных сторожить единственного на весь уезд ссыльного. Взбудоражил, разозлил собак, безошибочно угадывающих приезжих, но сторожа в синем мундире так и не обнаружил.

П. Л. Лавров, профессиональный революционер, публицист, поэт.

Перед тем как войти в дом, осмотрелся. Тишина, ни единого прохожего, да и соседние избушки уже угомонились, не светятся огоньки.

Вошел в переднюю и сразу же узнал хозяина: высокий, плечистый, рыжебородый, белолицый. Грузный, недружелюбный, загородил дорогу и, вглядываясь в военного незнакомца близорукими серо-голубыми глазами, холодно осведомился:

— Зачем пожаловали?

— Отставной штабс-капитан Скирмонт прибыл к бывшему полковнику Петру Лавровичу Лаврову по поручению его дочери Марии Петровны Негрескул.

Лицо хозяина дивно преобразилось:

— Ах, какой неожиданный и приятный гость! Милости прошу в наш дворец. Очень рад, очень рад. Проходите, проходите, рассказывайте, как там мои...

Приспособленная под кабинет комната была завалена книгами. На столе возвышались кипы бумаги и журнальных вырезок. Лопатин невольно подумал о том, как тяжело будет поднимать такой громоздкий багаж. Сел на табуретку, сказал, не скрывая грусти:

— Ваши-то кровные здоровы, вот только зять и мой друг, Михаил Федорович, тяжело расхворался в казе-

мате. Его надо спасать, вытаскивать из Петропавловки. Будь она проклята!

— Это очень трудно осуществить. Простите мою рассеянность: я занялся разговором и не предложил вам покушать. Дорога тяжелая, длинная, наверное, очень проголодались.

— Не беспокойтесь. Я в Вологде сытно пообедал. А дороги меня не пугают. Санный путь до Кадникова накатанный, и лошадки попались резвые. Отдыхают на постоялом дворе. Им еще предстоит длинный...

Стук в дверь оборвал Лопатина, и он тихо спросил:

— Это не ваш ли синий цербер ломится?

— Жандармы сюда не заходят. Это мои знакомые земцы, весьма уважаемые в уезде деятели и ужасные любители чаепития. Придется вам присоединиться к сей доброй компании.

Уездные деятели очень обрадовались остроумному и много видевшему столичному гостю и замучили его разнообразными вопросами. Лопатину пришлось рассказывать о событиях за границей, и о петербургских знаменитых литераторах, и о театральных любимцах публики. Слушали очень внимательно и напугали настойчивыми просьбами — непременно навестить их и «откушать хлеба-соли». Пришлось пообещать — «навещу на обратном пути».

Петр Лаврович нервничал, с трудом играл роль гостеприимного хозяина, украдкой посматривал на часы и вздохнул с облегчением, когда местные деятели удалились. Закрыв дверь, подошел к Лопатину, посетовал:

— Вот не вовремя явились. Отняли вечер...

— Ничего! У нас с вами будет еще много свободных вечеров. Совершенно свободных. Я не Скирмонт, а Лопатин. Да, только для вас — Лопатин Герман Александрович. Наши общие друзья поручили мне увезти

вас отсюда в Петербург, а оттуда — за границу. Вы готовы? Когда можете отправиться в путь?

— Согласен ехать хоть сию минуту! — воскликнул Лавров.— Вот только надо собрать самое необходимое.

— Сиюминутный побег не получится. Давайте обговорим все по порядку. Прежде всего уточним реальные силы наших противников в граде Кадникове.

— Исправник Ставровский и его помощник Сорхотин, кажется, сейчас на месте.

— Для нашей баталии слово «кажется» не годится. Надо уточнить.

— Их моя личность мало интересует. Весьма увлекаются картишками...

— Пусть играют. Не заметят, как вас проиграют. Продолжим обозрение сил неприятеля. Цербера — два, но я ни одного поблизости не обнаружил.

— Видите ли, они следят попеременно не за мной, а за моим окном. Если свет горит, и я хожу из угла в угол и обдумываю очередное сочинение, значит, ссыльный Лаврович на месте и при деле. И караулить нечего — можно спокойно спать.

— Прекрасно! Пусть спокойно спят... всю масленицу. Используем сие важнейшее обстоятельство. Решаем: огонек в вашем кабинете будет светить и тогда, когда вас уже здесь не будет. С наступлением темноты ваша милейшая матушка придет в сей храм творчества и зажжет вдохновенную лампаду и время от времени, с грустью и отрадной надеждой вспоминая вас, походит по стершимся половицам. Сквозь занавески просматривается лишь силуэт, и церберы не догадаются, что в кабинете Елизавета Карловна, а не их Лаврович.

— Это вы очень хорошо придумали, Герман Александрович. Чем позже надзиратели узнают о побеге, тем лучше для нас.

— Следует особо подумать, как отсрочить это самое узнавание. Вы что-то морщитесь, должно быть, скверно себя чувствуете. Мне Мария Петровна рассказывала, что местный климат вам очень вреден, часто болеете.

— За три года этого злодейского заточения я сильно постарел и поизносился. За это время единственный раз и то по ходатайству матери я был освидетельствован старшим уездным врачом Ринашевским. Он нашел сердечные заболевания, приливы крови к голове и судорожное нервное потрясение. Этот добрый человек составил свидетельство, в котором просил начальство переместить меня по болезненному состоянию из Тотьмы в Вологду для правильного курса лечения под постоянным надзором врачей и предохранения жизни от видимой опасности. В Тотьме врача не было, и благодаря энергичному ходатайству моей подруги Анны Павловны Чаплицкой (она тоже была ссыльной), я был переведен в Вологду. Пробыл в ней чуть побольше месяца. Видите ли, тотьминские друзья, а их у меня накопилось больше дюжины, слишком шумно и горячо провожали меня и разбудили от дремоты местное высшее начальство. Последовали допросы и доносы губернатора генерал-майора Хоминского и начальника жандармского управления полковника фон Мерклина, и меня загнали в этот пятиулочный город Кадников. Однако я увлекся воспоминаниями. Сейчас от постоянной тоски и хвори душевной меня часто мучают сильные головные боли, и я становлюсь противным самому себе — первым, придирчивым, злым. Тогда мамаша изолирует меня от окружающих и своей заботливой рукой постепенно снимает мигрень...

— Одну минуточку. Нечаянно уловил весьма ценное признание: *«Мамаша изолирует меня от окружающих»*. Так вот пусть эта строжайшая изоляция наступит

завтра утром и продолжается до... ее разоблачения. Никаких знакомых, никаких гостей не принимать. Кроме мигрени, давайте придумаем еще зубную боль. Ее используем в пути. Что сие значит? Главная ваша зримая примета — яркая борода. Этакое пламя! Так мы ее, рыжую, прикроем повязкой с ватой, как будто у вас флюс. При этом пропадет еще одна примета — некоторая картавость в говоре. С повязкой-то особенно не разговоришься. Будете мычать «да» и «нет». И еще одно пожелание. Я успел заметить, что на меня изучающе пристально посматривала ваша кухарка Машенька. Я наслышан, что она весьма преданный человек, но все же лучше ее отпустить домой на всю масленицу. Пусть погуляет недельку у родни. После того как ваш побег обнаружится, этот карьерист немец фон Мерклин и его свора сцапают Машеньку и будут с пристрастием допрашивать, или, как принято у них говорить, «приводить в сознание». Она тогда и поставит всю деревню в свидетели — «дескать, мир подтвердит, как я дома гуляла».

— Полностью приемлю, как весьма разумное и дальновидное суждение.

— Есть еще одно суждение — предложение. Очистить кабинет от всего лишнего: сжечь старые газеты, журналы, ненужные бумаги, рукописи. И даже некоторые книги...

— Ну это слишком, штабс-капитан Скирмонт! Это невозможное... злодеяние. Единственная моя отрада на этой грустной земле — книги и статьи. Да, чуть не забыл. Я готовлю к изданию мои «Исторические письма», которые, если вы успели заметить, печатались в столичной «Неделе» под именем П. Миртова. Рукопись переписывают набело, к набору, мои почитатели — вологодские семинаристы. Возможно, она уже готова. Я не могу ее оставить здесь. Герман Александрович,

голубчик, выручите — поезжайте в Вологду и привезите эти «Письма». Сейчас я напишу адрес старшего — Дроздов, а вот имя запамятовал — кажется, Саша.

Лопатин взял адрес, с трудом прочел немыслимые каракули автора, посетовал:

— Трудную задачку решает семинарист Дроздов. Почерк у вас ужасный. Да и моя задачка осложняется. Мы не можем долго задерживаться в Кадникове. Однако я хорошо понимаю вас как автора. Куски «Исторических писем» читал с восхищением и отзывы о них людей моего склада слыхивал весьма лестные для вас, дорогой Петр Лаврович. Утром раненько поеду в Вологду. А вы подготовьте соответственно вашего ангела-хранителя и собирайте все необходимое в дорогу. Помните, наши возможности ограничены. За книгами и за бабушкой приедет сюда ваш сын Миша. Облегчите его багаж — сожгите все лишнее.

— Придется полковнику подчиниться штабс-капитану. Вы у нас заночуете?

— Ни в коем случае. Я пошел к моим лошадкам — на постоялый двор. Итак, завтра — суббота — день ваших сборов. А в воскресенье, пятнадцатого февраля, я приеду за вами.

— Очень хорошо — пятнадцатого февраля исполнится три года ссыльного прозябания. Три года «по закону» нужно было терпеть, а больше — ни одного дня. И время подходящее — начало масленицы. Все церберы будут гулять... Это они умеют, это у них шикарно получается...

6

...Утром 15 февраля Лопатин вернулся из Вологды в Кадников. Остановился на постоялом дворе. Зашел к Лаврову, передал довольно объемистую рукопись «Исторических писем», посоветовал:

— Сразу же извольте положить в дорожный пакет. В спешке и забыть недолго. Между прочим, ваш семинарист Дроздов и его помощники, увидев внезапно появившегося грозного штабс-капитана Скирмонта, то бишь меня, ужасно перепугались, и только мой объяснительно-спасительный хохот удержал их от позорного бегства.

— Надо было написать записку.

— Остерегайтесь записок. Письма да стихи, которыми вы баловались в печати, и привели вас в Кадников. Судя по запаху и повышенному теплу, вы вняли моей просьбе и кое-что лишнее испепелили. С легким сердцем ухожу на постоялый двор. Притворюсь больным и проваляюсь в постели до вечера. Как только стемнеет, будьте в полной готовности к экспедиции.

— Та́к я вас не отпущу,— решительно заявила Елизавета Карловна.— Милости прошу к столу. Отведайте-ка моих дорожных пирожков.

Лопатин глянул на багровые от плиты щеки хозяйки, на покрасневшие от слез и бессонницы глаза ее, и такая острая жалость хлестнула по сердцу, что он не осмелился возразить. Низко поклонился:

— От такой просьбы не смею отказаться.

Теплые, коричневатые пирожки вкусно пахли свежей капустой, антоновскими яблоками, луком. Добротно пропеченные, похрустывающие, они очень понравились Лопатину и заслужили радостную похвалу:

— Вдохновенное чудо кулинарии! Ничего подобного вкушать не доводилось. Воистину пища богов!

— Вот как вы проголодались в суете хлопотной, мил человек. Эх, если бы вы побывали в нашем Мелехове на Псковщине в пору мясопустной недели, на пасху или на троицу,— вот где благодать была, столы трещали от изобилия земного. Покойный муж мой, Лавр Степанович, хоть и строг был, но весьма любезен и

гостеприимен в престольные праздники. Сейчас даже не верится, что у нас, в Мелехове, сам государь император Александр Первый соизволил гостить, направляясь в Южную Россию, в том очень памятном 1824 году. И чтили тогда нас и уважали повсеместно, не то что теперь. Подумать только — в свое родовое имение не пускают. А как бы мне хотелось, перед смертью-то, побывать на родимой стороне...

Опасаясь, что воспоминания могут затянуться, Лопатин встал и, поблагодарив хозяйку, поцеловал ее морщинистую, пахнувшую маслом и сметаной руку.

Елизавета Карловна, давно отвыкшая от подобного внимания, сказала виновато:

— Что вы, что вы, Герман Александрович! Руки-то мои кухней пахнут...

— Прекрасные у вас руки. Материнские! Вы от всего отрешились и так много сделали и делаете для Петра Лавровича.

— Это вы по доброте душевной так думаете. Друзья-приятели — до первой беды, а мать, пока жива,— с сыном. Поверьте, я так расстроилась, думала, конец пришел, когда узнала, что государь не понял материнского сердца и... отказал. Я Пьеру даже не сказала об этой нелепой жестокости. Он такой близорукий, такой беспомощный, как большой ребенок. Я доверяю вам самое дорогое, что осталось у меня в жизни,— своего несчастного сына. Отправьте его в Париж. Там ждет Александр Иванович Герцен.

Лопатин не посмел сказать матери, что ее сын потерял большого, верного друга. Герцен умер еще 9 января.

— Не беспокойтесь. Все будет хорошо!

— Я верю вам. Вы богом посланы,— сказала Елизавета Карловна и легко коснулась губами щеки Лопатина.

В избу ворвалась песня. Лопатин вышел на улицу. Пара вороных уносила широкие сани, покрытые цветастым покрывалом.

«Началась разгульная масленица»,— улыбнулся Лопатин и, убедившись, что за ним никто не следит, быстро зашагал к постоялому двору...

...До вечера Лопатин читал в постели. Как только стемнело, приказал кучеру Кузьме запрячь лошадей, быть наготове к дальнему пути и поспешил к Лаврову. В его кабинете горел свет.

Лопатин рассмеялся, увидев в передней неуклюжую, громоздкую фигуру Петра Лавровича: все лицо старательно обмотано белым бинтом, только торчит удивленно крупный розовый нос да высунулись ехидно рыжие усы. На плечах — медвежья шуба, на ногах— валенки. С трудом раскрывая рот, чуть слышно спросил:

— Что? Уже пора?

— Забирайте пожитки. Я сейчас подгоню лошадей...

Лопатин спешил. Радовало безлюдье, — кадниковцы пируют за праздничными столами.

Лошадей остановил у дома. Вскочил в избу:

— Поехали, Миртов, поехали!

Елизавета Карловна поцеловала сына, торопливо перекрестила Лопатина:

— С богом, родимые, с богом! Берегите друг друга.

Резвые, сытно накормленные кони промчались по улицам, вынесли сани на широкую дорогу. Лопатин наклонился к Лаврову, спросил:

— Ну как — ничего не забыли?

Лавров подумал, с огорчением вспомнил:

— А ведь мы пирожки-то оставили...

— Стой, Кузьма,— распорядился Лопатин. — Я сейчас за ними сбегаю.

— Помилуйте, Герман Александрович! Стоит ли из-за таких пустяков останавливаться? Бог с ними, с пирожками.

— Мамаша будет ужасно огорчена. Столько трудилась! Да и нам очень пригодятся. Я мигом.

И Лопатин побежал к знакомому дому.

Елизавета Карловна испугалась при виде его:

— Что случилось? Где Пьер?

— Не волнуйтесь. Забыли узелок с пирожками.

— Какой вы отчаянный! Вот он. Зря возвратились — худая примета. Не будет удачи.

— Будет! Ждите письма на пасху: «Весна наступила. Воистину воскрес!».

— Буду ждать...

Лопатин добежал до саней, ввалился, крикнул Кузьме:

— Озябли, голубчики. Гони! Гони!

Кузьма привстал, щелкнул кнутом, лихо свистнул, и кони понеслись, отбрасывая копытами комья рыхлого снега, и студеный, тугой ветер хлестнул по лицам и заставил поднять воротники.

У Вологды Кузьма успокоил лошадок и, смахивая рукавицей выжатые стужей слезы, спросил:

— Как оно, заезжать куда-нибудь или прямиком?

— Поезжай прямо до Грязовца.

— Вот так-то оно и способнее. А ну, ласточки-касаточки, полетели! — И Кузьма гулко щелкнул вожжой.

Ночь была ясной, тихой, светлой. Радуя глаз, мелькали дорожные версты. Белым шарфом тянулся за санями взметенный снег. Еще издалека по звону колокольчиков угадывались редкие встречные; все шумные, распаленные, песенные, и кони праздничные — в разноцветных лентах и в сбруе, начищенной до блеска.

Лопатин подвинулся вплотную к Лаврову, сказал в самое ухо:

— Вчера в Вологде мне повезло. Случайно встретил отчисленного по бедности из университета бывшего друга Ивана Амохина. Сейчас он служит на почте. Так вот от него узнал, что главный жандарм фон Мерклин куда-то по телеграмме скоропалительно выехал. Если черти нанесут на нас этого фончика-барончика, вы в разговор с ним не вступайте. Объясняться буду только я.

— Могу мычать...

— Нельзя. Сочтет за оскорбление его высокого достоинства...

Лошади утомились. К Грязовцу подъехали утром. Не по возрасту зоркий и проворный Кузьма, поворачивая к постоялому двору, безошибочно определил:

— Вижу коней барона Мерклина. Вылезайте, господа хорошие. Поворачиваю домой.

Лопатин не стал уговаривать ямщика,— слишком он боится главного уездного жандарма. Подал руку Лаврову:

— Пошли... на горячие блины.

Кузьма ловко повернул лошадей, хлестнул кнутом:

— Ну, вороны... Трухайте...

Лопатин осмотрелся, сказал угрюмо:

— Трухаем на постоялый. За свежими лошадками...

И только вошли на широкий, оледенелый, скверно пахнущий двор, как появился полковник фон Мерклин.

Лопатин шепнул спутнику:

— Отвернитесь...

Лавров по-военному выполнил команду, достал платок и погрузил в него свой солидный, приметный нос.

Засунув правую руку в карман и нащупав рукоять револьвера, Лопатин искоса следил за полковником. С удовлетворением заметил: лицо у барона неприятно красное, злое,— видно, широкая, разгульная масленица не обошла и его. Ругает своего холуя:

— Ну и лодырь, ну и лодырь беспросветный. Только спать и жрать способен. Смотри — чтобы через два часа я прибыл в Пречистое. Там храпи, хоть целый день.

Фон Мерклин глянул на сморкавшегося Лаврова, хотел что-то спросить, но, услышав за спиной покорно-виноватое: «Лошадки готовы-с. Можно трогаться, ваше превосходительство!» — торжественно опустился в санки, прикрыл ноги теплым покрывалом, приказал:

— Пулей лети! Пулей!

Лопатин проводил повеселевшим взглядом проплывшее по тракту снежное облако, сказал своему спутнику:

— Отбой! Пожалейте ваш великолепный нос. Так и отсморкать сей несравненный орган недолго. Пошли в тепло.

— Мне и без того жарко. Вот нанесла нелегкая сила. А вы еще шутить способны.

— Пока... легкая! Считайте — очень повезло. Я думал на этой самой Пречистой станции влезть в чугунку. Однако дважды испытывать судьбу не рекомендуется. Придется, к сожалению, раскошелиться и нанять пару гнедых до самого Ярославля. А сейчас проследуем к столу и закусим бесподобными пирожками вашей любезной матушки. И снова в путь...

7

...В среду 18 февраля 1870 года Герман Лопатин привез Петра Лаврова в Петербург на квартиру его ученика офицера Лобова. Оробевшему хозяину сказал:

— Передаю из рук в руки Петра Лавровича в полнейшей целости и сохранности, прошу беречь и елико возможно быстрее отправить по месту назначения — в Париж.

Петр Лаврович снял надоевшую повязку, улыбнулся:

— Жду вас в гости, дорогой мой! Я ваш вечный должник... Мой новый адрес узнаете у Елены Андреевны Штакеншнейдер.

— Благодарю за приглашение. Непременно побываю. На той стороне вы будете пока единственным своим... Придется все начинать сначала. А сейчас не смею задерживаться...

Лавров обнял своего спасителя:

— Еще раз сердечно благодарю. Желаю удачи, верный мой д'Артаньян...

...Через два дня Лопатин зашел к Автоному Негрескулу и осведомился:

— Ну как, Петр Лаврович уехал?

— Нет. Не могли достать заграничный паспорт. В столице, сами понимаете, ему проживать опасно, вот и пришлось отправить к знакомым под Лугу.

— Отправили! Так ведь это не багаж, а нервный, остро переживающий неудачи человек. Сколько он будет там сидеть?

— Пока не привезу паспорт на станцию Луга.

Лопатин трижды пересек комнату, сказал, не скрывая раздражения:

— Скверно! Очень скверно! Совершенно очевидно — власти уже разослали телеграммы с приметами беглеца, и его будут искать прежде всего на станциях Варшавской железной дороги. Промедление гибельно. Придется мне отдать свой заграничный паспорт на имя доктора Ореста Эдуардовича Веймара. Вот он. Извольте немедленно отвезти его и вручить Петру Лавровичу. Передайте ему мою просьбу — как только он пересечет границу, пусть сразу же отправит этот паспорт по адресу: Петербург, Большая Конюшенная, дом восемь, квартира семь, Николаю Францевичу Даниельсону. Не записывайте! Постарайтесь запомнить — Большая Конюшенная, дом восемь, квартира семь.

— Мне известен этот адрес от брата. Огромное спасибо вам, Герман Александрович. Я чувствую себя ужасно виноватым. Ведь вас тоже ищут...

— Полноте! Это закономерное завершение моего задания. А меня не найдут. У меня много надежных мест в столице и в пригородах. Передайте мой поклон беглецу. Счастливого пути!

...В это время в Кадникове еще не знали о побеге Лаврова. Его старенькая слепнущая мать точно, неукоснительно выполняла каждый пункт сохранения столь дорогой для нее тайны. С наступлением темноты загорался свет в кабинете ссыльного ученого и сквозь занавески была видна фигура, медленно ходившая из угла в угол.

Только 22 февраля начальник Вологодской губернии свиты его величества генерал-майор С. Ф. Хоминский послал в министерство внутренних дел телеграмму:

«Полковник Лавров 20 числа из города Кадникова скрылся безызвестно».

А на следующий день отправил секретную депешу:

«Господину Министру внутренних дел.

Состоявший в гор. Кадникове под надзором полиции бывший член конференции и преподаватель математических наук Михайловской артиллерийской академии полковник Петр Лавров вечером 20 числа сего февраля неизвестно куда скрылся.

По получении об этом 22 числа донесения от Кадниковской полиции я тотчас же телеграммою сообщил г. директору Департамента полиции исполнительной, а также телеграфировал г. С.-Петербургскому и Московскому обер-полицмейстерам и начальнику Архангельской губернии для принятия мер к разысканию Лаврова и, кроме того, предписал кадниковскому исправнику о немедленном производстве при участии начальника Вологодского губернского жандармского упра-

вления подробного дознания об обстоятельствах этого побега и не было ли с чьей-либо стороны оказано в этом случае пособничества Лаврову.

Имею честь донести об этом вашему высокопревосходительству, докладывая, что о результатах дознания я не премину сообщить вслед за сим».

Сообщались приметы бежавшего:

«От роду 45—48 лет, волосы на голове русые, на теме несколько рыжее, усы и бакенбарды рыжие, глаза серые, лицо круглое, чистое, красноватое, нос средний, довольно толстый, подбородок круглый, росту большого, особых примет не заметно» [46].

Лаврова искали упорно, повсеместно и не нашли. Занятие бесполезное — 1 марта 1870 года Петр Лаврович Лавров прибыл в Париж.

Не удалось жандармам установить лицо, «оказавшее пособничество Лаврову». Его мать Елизавета Карловна и кухарка крестьянка Кадниковского уезда Мария Землякова с мужской стойкостью перенесли длительные допросы, не испугались угроз и ничего не сообщили полковнику фон Мерклину и его подручным.

9 марта 1870 года начальник Вологодской губернии с прискорбием сообщал в канцелярию Министерства внутренних дел:

«...Сделанные розыски для определения, каким путем Лавров отправился из Кадникова и не способствовал ли кто ему в побеге, к положительным результатам до сих пор не привели, хотя имеются указания, что за несколько времени до происшествия навещал г. Лаврова какой-то неизвестный молодой человек, не из жителей города Кадникова» [47].

В III отделении канцелярии его императорского величества никому не могло прийти в голову, что бежавший из Ставрополя с намерением скрыться за границу ссыльный Лопатин мог так долго задержаться в сто-

лице, завернуть в Вологодчину, чтобы увезти другого ссыльного — Лаврова и, передав с таким трудом добытый паспорт, добровольно уступить право первым скрыться от грозившей опасности.

Ничего подобного в жандармской практике не наблюдалось...

8

...Лопатин пришел к Даниельсону поздно вечером. Учитывая, что друг может испугаться его военной формы, сразу же представился:

— Штабс-капитан Скирмонт тире Герман Лопатин.

Даниельсон закрыл дверь на ключ, спросил:

— Давно в бегах?

— С шестого января сего года.

— Удивительное совпадение: я шестого января был арестован по нечаевскому делу и месяц с лишним находился под арестом Третьего отделения.

— Значит, и ты сподобился? И, судя по внешнему виду, вырвался из жандармских объятий... без последствий?

— Совершенно чистехонек! А ты знаешь, что Иван Билибин взят на поруки? Судебное преследование его еще не прекращено, и ходить к нему нельзя.

— Наслышан, выкарабкается. А где сейчас Любавин?

— Полагаю, что в Берлине.

— До моего ставропольского заточения дошли смутные слухи, что вам удалось установить переписку с Марксом. Меня это очень интересует. Расскажи все, как было. Ведь разговоры в «Скиту» велись еще при мне.

— Первое письмо в сентябре 1868 года я послал Марксу через Любавина, который доучивался в Берлине.

Я сообщил Марксу о возможности издания в Петербурге «Капитала» и просил выслать те его сочинения, которые нам не удалось достать.

— Я хорошо помню — в «Скиту» мы имели «Нищету философии», «К критике политической экономии» и «Манифест Коммунистической партии». Я их вижу... как будто вчера еще держал в руках...

— Я просил еще портрет автора, чтобы поместить его в книге, и список литературы по рабочему вопросу в Соединенных Штатах.

— Это явно лишнее! Я на такое письмо не стал бы и отвечать.

— Тебе далеко до Маркса. Он довольно быстро прислал обстоятельный ответ.

— Весьма чувствительный укол. Что же он написал, Карл Маркс?

Даниельсон прошел к столу, покопался в ящике и протянул Лопатину конверт:

— Вот прочти.

Лопатин вытащил из плотного конверта письмо и фотографию. Почерк был торопливым, неразборчивым. Сверху стоял адрес. Лопатин несколько раз прочел его и запомнил: «Модена вилла, Мейтленд-парк, Лондон». Дата — 7 октября 1868 года.

«Милостивый государь!

В ответ на Ваше любезное письмо могу сообщить следующее:

1) Вам не следует дожидаться второго тома, так как появление его может задержаться еще месяцев на шесть. Я не могу завершить работу над ним, пока не будут доведены до конца некоторые официальные обследования, предпринятые в течение прошлого и 1866 года во Франции, Соединенных Штатах и Англии, или

пока данные этих обследований не будут опубликованы. К тому же первый том представляет собой законченное целое.

2) Прилагаю мою фотографию.

3) Социалистической литературы в Соединенных Штатах не существует. Там есть только рабочие газеты.

4) Что касается моих сочинений, написанных на разных языках и вышедших в свет в различных местах, то я сам не имею полного собрания их. Большинства их нет уже в продаже...» [48]

Лопатин прочел письмо до конца, спросил:

— Позволь, как это понимать: «Краткой заметкой о моей литературно-политической деятельности воспользуйтесь для предисловия к Вашему переводу». Ты что, взялся за «Капитал»?

— Нет, все сложнее! Я договорился с известным тебе книгоиздателем Николаем Петровичем Поляковым. Он предложил довольно приличный гонорар — тысяча триста рублей за первый том. Любавин вызвался найти переводчика. От Негрескула он слышал, что Михаил Александрович Бакунин остро нуждается в деньгах. К сожалению, тогда он еще плохо знал его как переводчика. Списался с ним. Бакунин дал согласие и сразу же запросил аванс. Пришлось мне пойти к Полякову, и тот, скажу прямо, не ахти какой богач, раскошелился и выдал нам триста рублей. Я переслал их Любавину, а тот — Бакунину...

— И денежки горько плакали,— уверенно определил Лопатин. — Я о Бакунине в достаточной мере наслышан — это вулкан, постоянно извергающий разрушительную лаву. Разве можно такого привязать к столу и заставить заниматься сугубо экономической литературой, научным изложением чуждого ему по духу социализма!

— К сожалению, ты совершенно прав. После упорных напоминаний Любавина, в течение пяти месяцев Бакунин перевел примерно около двух печатных листов первой главы «Капитала», которые оказались совершенно негодными для печати. Могу их показать — лежат в моем столе. Знаешь, мне даже стыдно встречаться с Поляковым. Он так поверил нам, что, не имея еще готовой рукописи, дал 4 августа 1868 года объявление в «С.-Петербургских ведомостях» о предстоящем выходе «Капитала» на русском языке.

Лопатин полюбовался на портрет с автографом Маркса, сказал восхищенно:

— Какая воистину титаническая работоспособность у этого замечательного человека. Как много он успел сделать за двадцать восемь лет непрерывной работы. И кончается письмо весьма приятно и знаменательно: «Преданный Вам Карл Маркс». Значит, и нам следует ответить должной преданностью автору этого делового письма. Храни его. Пригодится для первого издания «Капитала» на русском языке. Не по своей воле, а под угрозой голубых мундиров я вынужден бежать за границу. Я непременно встречусь с Марксом и расскажу, почему несколько задержался перевод его труда. Полагаю, что нашему содружеству надлежит погасить свой долг перед честнейшим и благороднейшим Николаем Петровичем Поляковым. Книгу я достану у автора.

— А когда ты уезжаешь?

— Наивный вопрос! Как будто я еду в Гатчину или в Петергоф. Я жду заграничный паспорт. И тут я должен извиниться перед тобой. Я дал твой адрес одному весьма порядочному человеку — Петру Лавровичу Лаврову...

— Ах, вот как! Догадываюсь: это ты помог ему бежать.

— Догадывайся, пожалуйста, про себя. Никому вслух об этом не говори. Как только получишь паспорт, сообщи мне по адресу: Восьмая линия, дом семнадцать — верхний этаж, лаборатория профессора Николая Николаевича Зинина.

— Принесу сразу же, как только получу. В дальнейшем прошу письма посылать на мой служебный адрес: Петербург, Общество взаимного кредита, в здании Государственного банка. Для меня. Так удобнее и прочнее.

— Спасибо! Я исчезаю.

— Поздно. Ночуй у меня.

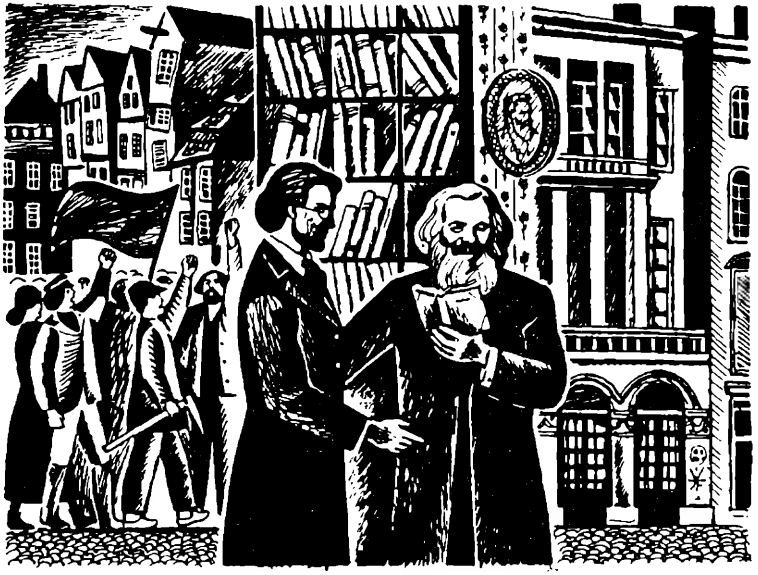
— Ты еще не акклиматизировался после вынужденной изоляции. У меня есть абсолютно надежные убежища.

— Тогда хоть перекуси на дорогу.

— От этого не откажусь. А ты тем временем просвети меня по нечаевским делам... Кстати, а где он сам, Сергей Геннадьевич?

— Уехал за границу... К Бакунину. Ты ешь, помалкивай, и похудел и постарел, вот уж не скажешь, что двадцать пять лет...

— Это пусть женщины определяют. А ты не отвлекайся, рассказывай о Нечаеве и нечаевцах...



«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

1

Во второй половине марта 1870 года чиновник города Ставрополя Андрей Сидоренко получил из Берлина от Германа Лопатина письмо. В нем оказалось заклеенное письмецо, которое Лопатин просил передать матери Софии Ивановне. В тот же день Сидоренко вручил письмо, и семья Лопатиных узнала, что Герман благополучно пересек гра-

ницу и еще раз просит у родителей прощения за все причиненные неприятности.

Из Берлина Лопатин направился в Париж. В этом большом, чужом городе у него был лишь один знакомый человек — Петр Лавров. С трудом разыскал его квартиру. Петр Лаврович встретил радостно, гостеприимно. Прежде всего поинтересовался:

— Когда последний раз кормился? Каково денежное обеспечение? Только, пожалуйста, без домыслов.

— Аппетит у меня свирепый. Усмирил в станционном буфете. Денежные дела скверные. Платить надо на каждом шагу, а заработка нет и не предвидится.

— Первый пункт мы сейчас уладим полностью — вместе пообедаем. Непременно пригласим в компанию Анну Павловну Чаплицкую. Не вздумайте за ней ухаживать: хотя мы и живем в разных помещениях, но она — моя жена. А вот второй пункт с ходу не решишь. Все наши заграничники, так принято сейчас называть эмигрантов, как правило, бедствуют. Живите пока у меня. Питанием будете обеспечены. А работы никакой, кроме переводческой, пожалуй, здесь не подберешь.

— Мои друзья советуют заняться переводом «Капитала» Маркса. Последний разговор на эту тему состоялся по пути к вам с Николаем Любавиным. Настроение у него сквернейшее. В начале марта он получил от нечаевского революционного комитета этакое письмо-распоряжение. Главная мысль: если кулак-буржуй Любавин и подобные ему тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть и кладут на оный собственные силенки. И далее следует приказание Любавину: немедленно уведомить Бакунина, что он освобождается от всякого нравственного и материального обязательств продолжать перевод вследствие требования революционного комитета.

— Вы считаете, что этот революционный комитет реально существует и действует?

— Не существует, а действует. От имени революционного комитета в Женеве довольно ловко орудует Сергей Нечаев. Я не сомневаюсь, что послание Любавину — дело рук Нечаева. Все выдержано в его духе и стиле. Любавин считает, что это ультимативное предупреждение написано с ведома Бакунина, а посему послал ему письмо, в которое вылил весь запас накипевшего возмущения. Ответа не последовало. Не скрою— вся эта история меня очень взволновала. Так уж повелось с детства — дружеские отношения, личные привязанности для меня святыня. Я опасаюсь, что так называемые «народные расправники», в лице Нечаева и компании, могут уничтожить Любавина так же бессмысленно и жестоко, как они устранили в Москве своего единомышленника студента Ивана Иванова. У них рука не дрогнет. Вот почему я собираюсь выехать в Женеву, встретиться там с Бакуниным и открыть ему глаза на все «художества» его друга Нечаева.

— Не кажется ли вам, что вы излишне самоуверенны, мой друг? Учтите, в Женеве у Нечаева есть дружки-соратники, и они такому правдолюбцу могут изрядно помять бока. Или, что значительно хуже, прострелить голову, как этому самому Ивану Иванову...

— Возможно, вы и правы! Однако я обещал Любавину навести соответствующие справки у Бакунина, и отступать от своего слова не в моих правилах. А посему прошу хотя бы кратко охарактеризовать противостоящие мне силы в Женеве. Подскажите и возможных союзников. Ведь есть там и честные, порядочные люди.

— Есть! Но все в свое время. Точнее — после обеда. Единственное преимущество чужбины — здесь можно разговаривать совершенно откровенно. Давайте накрывать на стол...

Кухарничали вдвоем. Лопатин добровольно принял и довольно успешно выполнил роль старшего повара. В глубине шкафчика обнаружил запыленную, но еще не початую бутылку легкого вина, вытер ее и водрузил в центре стола.

Петр Лаврович ушел за Чаплицкой, а Лопатин стал торопливо приводить в порядок довольно запущенную и загроможденную старыми, ненужными вещами квартиру. Единственно, что радовало, это — изобилие книг, разбросанных по всей площади. Конечно, их надо собрать в одно место — сколотить простенькие полки, и нужно это сделать незамедлительно. Сам хозяин на такую деятельность, пожалуй, не настроится.

Лопатин подметал пол, когда явился Петр Лаврович с Чаплицкой, Анна Павловна сказала улыбаясь:

— Не верю своим глазам: чистота и уют.

— Служанка Гермина, — представился Лопатин. — Прошу господ пожаловать к столу.

И за обедом Лопатин шутил, рассказывал забавные истории о том, как в столице пугал друзей и знакомых, появляясь в обличье штабс-капитана Владимира Скирмонта, произносил кавказско-ставропольские тосты.

Бледные, впалые щеки Чаплицкой порозовели. Насильно оторванная от родной Польши, безвинно осужденная, потерявшая здоровье и красоту в ссылке, она искренне радовалась такому неожиданному, такому веселому знакомству. Стала прощаться, когда на улице зажглись фонари. Собеседники проводили ее до квартиры, вернулись и продолжали разговор до полночи. Лопатин слушал молча, удивляясь осведомленности Лаврова и полноте его метких характеристик женевских заграничников. Узнав, что после смерти Герцена его ближайший друг Николай Огарев сблизился с Нечаевым и стал называть его по-стариковски нежно «внучком», Лопатин не выдержал:

— Вот ловкач, и этого опутал! По-своему талантлив изувер Нечаев. А я так верил в светлую, рассудительную душу Николая Платоновича Огарева. Ведь многие стихотворения его, не по книжке, а по истрепанным спискам, еще в университете выучил наизусть. Ведь это про меня, да и про вас сказал он в стихотворении «Искандеру»:

Нет! проклят будет этот век,
Где торжествует все, что низко и лукаво,
И где себе хороший человек
Страданья приобрел, убийственное право,
Но все ж вперед!

А с какой верой в светлое будущее нашей многострадальной родины повторяли мы, отроки, пророческие огаревские строки о свободе:

Знакомое вижу лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! Свобода!

— Нужно понять суровую истину — смерть Герцена надломила и Огарева. Вы увидите его в Женеве и все поймете. Я буду рад, если вам удастся отлучить дедушку от демона-«внучека». Огарева надо беречь. Он был надежнейшим звонарем знаменитого «Колокола». Его слышала вся Россия.

2

...Встречи, встречи, встречи! Как много их было у Лопатина в Женеве, и как мало принесли они ему радости. Довольно долго и красноречиво беседовал

с Николаем Платоновичем Огаревым, пытаясь убедить в том, что его «внучек» Нечаев не заслуживает столь глубокого уважения, что он обманывает порядочных людей, использует для достижения цели такие порочные для революционера средства, как шантаж, воровство, угрозы, убийство. Не по годам постаревший, сутуловатый, придавленный неизбывным горем, Николай Платонович отмахивался от назойливого собеседника сухой, морщинистой ладошкой, говорил отрывочно и не очень связно, и только когда Лопатин процитировал его стихотворение «Арестант»: «Ночь темна. Лови минуты! Но стена тюрьмы крепка. У ворот ее замкнуты два железные замка» — и добавил, что эту скорбную исповедь заключенного его друзья-студенты пели на тайных вечеринках, а пророческие строчки «И будет подвиг твой свободный святыней в памяти народной» были своеобразным паролем,— лицо поэта дивно преобразилось, на блеклых губах появилась улыбка и скупые слезы радости скатились по впалым щекам...

— Вот как вы меня растрогали! Выходит, что я не зря жил,— тихо, взволнованно произнес Николай Платонович. — Спасибо вам, добрый молодец, утешили старика.

— Какой же вы старик! Мы ждем от вас новые, замечательные стихи...

Огарев сокрушенно покачал головой:

— Увы, не дождетесь. Пытаюсь... Извожу бумагу, и сам понимаю — не получается. Смерть Искандера оборвала все поэтические струны моей души. Это тяжко... Я очень впечатлительный и даже сентиментальный человек. Ваши рассказы о Нечаеве мне крайне неприятны, отвратительны. Я не могу поверить вам. Советую встретиться и поговорить с Михаилом Александровичем Бакуниным. У него с Нечаевым явное родство на политической стезе. Я приглашал Бакунина на собрание

русских эмигрантов в Женеве, и он, по-видимому, приедет...

— Когда? Я должен непременно с ним встретиться. У меня ограниченное время...

— Не знаю. У него, видите ли, неспокойная натура. А вы не спешите. Можете остановиться у нас — в семье Герцена.

— Великое спасибо! — поклонился Лопатин. — Берегите себя, дорогой Николай Платонович.

От Огарева Герман Лопатин направился к своему вероятному союзнику — Николаю Исааковичу Утину, редактору журнала «Народное дело» и организатору русской секции Интернационала в Женеве. Вежливо представился, назвав свое настоящее имя. Утин встретил равнодушно:

— Лопатин? Не имею чести знать. Не наслышан...

— А ведь мы с вами встречались в Петербургском университете осенью 1862 года. Вы довольно солидно защищали кандидатскую диссертацию об Аполлонии Тианском и, несмотря на изрядно подмоченную мятежными выступлениями репутацию, добыли золотую медаль. А я тогда только начинал курс естественного отделения физико-математического факультета.

— Догадываюсь — миновав мятежные выступления, вы благополучно окончили университет.

— Не так гладко. Кандидатскую защитил после отсидки в Петропавловской крепости.

— Ах вот как! Что же вы стоите? Садитесь. Повествуйте...

— Я — человек новый и гожусь только в слушатели. Пожалуйста, познакомьте меня с женевскими новостями. А я передам их своему другу Лаврову.

Утин рассказывал обстоятельно и довольно образно обрисовывал поселившихся в Швейцарии русских изгнанников. Откровенно и зло ругал своих «неисправи-

М. К. Элпидин, издатель революционной литературы.

мых» противников Бакунина и Нечаева. С нескрываемым восхищением и сердечной теплотой говорил о Карле Марксе и его друге Фридрихе Энгельсе.

Беседа затянулась. Лопатин посмотрел на часы, спросил:

— А что вы скажете о Михаиле Элпидине?

— Весьма приличный человек и, по моему убеждению, способный книгоиздатель, но глубоко поражен манией преследования и шпионобоязнью. Полагаю, что вам полезно с ним познакомиться.

Лопатин поблагодарил Утина и направился к «весьма приличному человеку».

Элпидин, выпятив толстые губы и крупный утиный нос, настороженно и недоверчиво осмотрел непрошеного гостя и не проявил должного интереса к его фамилии. И тогда Лопатин вручил рекомендательное письмо Лаврова. И сразу же Михаил Константинович резко изменился и объявил, что время позднее, а город чужой, а посему он до утра земляка никуда не выпустит. А через час Лопатин уже знал, что хозяину 35 лет, что он сын дьякона, учился в Казанском университете, но окончить не успел, так как был арестован, угодил в Казанский тюремный замок и бежал из оного за границу. Потом пришел черед рассказывать Лопатину,

и он, блеснув красноречием и остроумием, понравился хозяину и хозяйке. У Элпидина была хорошая библиотека, и Лопатин до полночи просматривал русские газеты и журналы. Задержался на заграничном «Народном деле». Михаил Константинович, с трудом усмиряя зевоту, спросил:

— Что скажете? Каков журнальчик?

— Название хорошее. И печать четкая. А вот содержание, даже при беглом ознакомлении, представляется мне весьма посредственным. Подлинной русской народной жизни при всем желании не могу обнаружить. А ведь издается-то журнал для России, а не Швейцарии.

— Нельзя так строго, Герман Александрович. Вы сами понимаете — во главе такого издания должна стоять сильная, популярная и, конечно, талантливая личность. За примером далеко ходить не надо: умер редактор Герцен — и замолк «Колокол». Огарев и Нечаев выпустили свой «Колокол», а набатного звона не получилось. Так себе... Валдайский колокольчик, что висит под дугой. Революционный, нужный всему трудовому народу журнал мог бы повести, скажем, Николай Гаврилович Чернышевский, но его великий талант погибает в Сибири — на каторге.

— Все это правильно. Я тоже очень люблю и уважаю Чернышевского, но он пока далеко от нас. Полагаю, что журнал может вести коллективный разум, но в Женеве, к сожалению, нет сообщества единомышленников-революционеров, объединенных ненавистью к самодержавию и любовью к родному народу. Больше того — нет даже землячества. Каждый копошится в своей норе, а если и вылезет, то для того, чтобы плюнуть сплетней соотечественнику в лицо. В разобщенности, в идейной враждебности я вижу главную беду

местных россиян. Хороший журнал мог бы объединить все лучшие силы русской эмиграции.

— А вот вы и попробуйте! — усмехнулся Элпидин. — Все на деле сложнее, чем кажется со стороны. И не пытайтесь возражать. Время позднее, вы очень устали, ложитесь спать...

На следующий день Лопатин побывал у дочери А. И. Герцена — Наталии Александровны.

Семейные фотографии на стене и столе, рукописи и книги, и высокая стопка «Колокола», и письма, на которые еще надо ответить,— все, все напоминало хозяина и оставалось нетронутым, как при нем, и казалось, он вышел на часок-другой и скоро вернется к неотложным делам своим. И Лопатину было неловко и неприятно вести разговор в этой строгой, деловой чистой комнате о скверных делах и поступках человека, который стремился породниться и с хозяином и старшей его дочерью. Но рассказывать надо было, Александр Иванович Герцен не простил бы такого подлого замалчивания.

Наталия Александровна выслушала Лопатина терпеливо, молча, но ее красивое, заметно побледневшее лицо не могло скрыть охватившего ее волнения и горестного разочарования.

— Вы говорите искренне, и я верю вам,— сказала Наталия Александровна. — Считаю, что вам следует все это, но в более энергичных выражениях повторить Бакунину. Должна предупредить, что Михаил Александрович влюблен в Нечаева и на слово вам не поверит. Нужны документальные доказательства. Не могли бы вы показать Михаилу Александровичу угрожающие письма Нечаева к Любавину?

— Я просил Любавина выслать мне копии имеющихся у него писем. Возможно, я получу их к приезду Бакунина.

— Михаил Александрович, вероятно, задержится. Скажите, где вы остановились?

— Предпочитаю кочевой образ жизни. Вчера был у Михаила Элпидина, сегодня пойду к Владимиру Озерову.

— А завтра приходите к нам. Не стесняйтесь, пожалуйста. Мне все время кажется, что я где-то вас видела. И типично русское лицо, и манера говорить...

— Все это напоминает вам юношу-бродягу, который на обратном пути из Италии внезапно завернул к вашему любезному батюшке. Была у меня такая желанная, такая памятная и, к сожалению, единственная встреча. Непременно воспользуюсь вашим приглашением... Непременно...

3

...Не дождавшись приезда своего вождя М. А. Бакунина, женевские заграничники провели 7 мая 1870 года собрание, посвященное обсуждению протеста швейцарскому правительству против выдачи политических эмигрантов русским властям.

Герман Лопатин присутствовал на этом собрании. Терпеливо выслушав ораторов, выносивших предложения и проекты петиций, он высказал свои соображения об издании журнала, вокруг которого должны организоваться все революционные силы русской эмиграции. Новое периодическое издание должно служить освобождению трудового народа от деспотизма самодержавия, нелегально переправляться на родину и широко распространяться по всей России.

Это предложение поддержал Николай Иванович Жуковский, вызвавшийся служить в журнале репортером по делам Интернационала и переводчиком наиболее значительных статей иностранных авторов.

Бывший ротмистр, высокий, худощавый, русоволосый Владимир Озеров высказался за издание нового журнала, который должен по своей политической направленности коренным образом отличаться от утинского «Народного дела».

И тут начались преждевременные и явно бесплодные разговоры о деньгах, о гонораре, об издательстве, о редакторе и о том, кого можно пригласить и кого не следует брать сотрудниками в новый журнал. Казалось, этим разговорам не будет конца.

Обсуждение продолжалось с утра до вечера, но единого мнения собравшимся так и не удалось достичь. Условно был принят проект протеста, составленный Владимиром Озеровым, в котором решительно осуждалась попытка царского правительства вытребовать для расправы политического эмигранта С. Г. Нечаева как уголовного преступника.

Никто из заграничников и не подозревал, что в одной комнате с ними сидел весьма ловкий и осторожный агент III отделения П. Г. Горлов. Он не спорил, только вежливо улыбался и запоминал суждения лиц, при сем присутствовавших. В тот же день Горлов послал донесение в Петербург, в котором сообщил, что в первых числах мая в Женеву прибыл Герман Лопатин «с целью передать неизвестное мне поручение Бакунину и вообще посмотреть, насколько солидарна русская эмиграция». О самом «сборище» агент сообщал крайне лаконично:

«Собрание состоялось 7 мая 1870 года. На этой сходке присутствовали: бывшая жена Огарева, а теперь почему-то называющая себя женой Герцена, старшая и младшая дочери Герцена, мадам Озерова, русская, настоящей фамилии которой еще не знаю, Жуковский с женой, Элпидин, Гулевич, Мечников, Озеров, Лопатин.

Из неэмигрантов один, назвавший себя Романовым из Казани, и другой назывался Серебренниковым, и я. Бакунина в Женеве не было»[49].

Бакунин приехал из Локарно в Женеву в середине мая. Узнав от друзей об этом, спустился из тайного убежища в горах Сергей Нечаев.

Два противоречивых чувства боролись в Лопатине, когда он шел на встречу с Бакуниным. После разговоров с его друзьями он хорошо узнал этого необыкновенного человека и проникся уважением к его постоянной, упорной борьбе за свободу угнетенных, к его высочайшему мужеству в ожидании смертной казни, к его смелому побегу за границу. И в то же время Лопатин не мог понять, как этот известный революционер и талантливый публицист мог подружиться и назвать «героем без фраз» Сергея Нечаева — человека фанатичного, беспринципного, склонного к диктаторству и готового на любое преступление для достижения своих целей. Трудно поверить, что Михаил Александрович Бакунин не заметил этих отвратительных качеств в своем любимце.

Лопатин опасался, что нервный, прямой и резкий Бакунин может прервать неприятный для него разговор и выставить за дверь. И первая встреча окажется последней.

Большой, грузный, весь седой Михаил Бакунин поздоровался с Лопатиным, как с хорошим, старым знакомым, показал на стул, сказал, щуря усталые серые глаза:

— Я слышал о вас хорошие отзывы, и мне приятно с вами познакомиться.

— К сожалению, я ничего не могу сообщить вам приятного. Скорее...

— Прошу без дамских ужимок и реверансов. По-мужски. Честно и прямо.

И Герман Лопатин рассказал честно и прямо все, что знал о проступках и преступлениях Сергея Нечаева.

Бакунин слушал внимательно, молча, но постепенно белое лицо его стало краснеть, покрываться нездоровыми пятнами, и неприятный крупный пот выступил на его большом выпуклом лбу. Узнав о том, что никакого революционного комитета сейчас в России не существует — он выдуман Нечаевым для получения унаследованного Герценом фонда помещика Бахметьева[50], Бакунин порывисто встал, сердито спросил:

— А что такое, по-вашему, массовые аресты нечаевцев в Петербурге и в Москве? Тоже выдумка? Извольте отвечать за свои слова.

— Отвечаю за каждое слово. Мне противна ложь. Отвратительна! Вы должны знать, что большинство арестованных — участники студенческих волнений. И еще прошу учесть одну весьма важную, поясняющую аресты, подробность. После убийства Нечаевым и его сообщниками разочаровавшегося в их «деятельности» Ивана Иванова у Петра Успенского был произведен обыск. Судебный следователь уже собирался уходить, когда один глазастый жандармик заметил торчащий из дивана клок бумаги. Диванчик скоропостижно распороли, нашли литографский станок, прокламации и разные бумаги. Среди них оказался список около четырехсот лиц, составленный Нечаевым и его подручными по принципу вероятной полезности для них в чем-нибудь. Я и мой брат Всеволод, находившиеся в Ставропольской ссылке, были занесены в этот кошмарный перечень на основании слухов, что мы в чем-то участвовали и в чем-то обвинялись. По этому списку и стали хватать и «приводить в сознание». Прошу заметить, Михаил Александрович, аресты правых и виноватых были произведены осенью прошлого года, а письмо Любавину Нечаев

написал третьего марта этого года, пребывая, как вы теперь видите, в единственном числе.

— Невероятно. Голова идет кругом. Не могу поверить. Письмо от моего имени, а я ничего о нем не знаю!

— Позвольте, Михаил Александрович, уточнить. Любавин говорил мне, что еще в марте послал вам резкое, ругательное письмо, но ответа от вас не получил.

— Значит, письма не было. А вы-то сами видели у Любавина это злосчастное послание Нечаева?

— Читал и в конце оного зрел весьма угрожающую и явно разбойничью печать: скрещенные кинжалы и револьвер. Я запросил у Любавина копию этого письма.

— Чепуха какая-то. Неужели Бой способен на такую мерзость? Слушайте, Лопатин, а вы могли бы повторить все сказанное мне сегодня в присутствии Боя, виноват, Сергея Нечаева?

— Прежде чем пойти к вам, я встретился с этим господином и изложил свою точку зрения на его похождения. И он ничего не отрицал. Только заметил с усмешкой: «Цель оправдывает средства. А цель великая. Пусть на крови, но мы построим социализм».

— Меня уже корили за баснословную доверчивость к людям. Что поделаешь? — такова моя природа, голубчик, не переменишь. Не могу примириться и поверить, не могу. Уважьте мои седины, молодой человек, повторите всю эту грязную историю самому сочинителю в моем присутствии.

Лопатин посмотрел на багровое лицо, на сутулые, беспомощно опущенные плечи, и ему стало жалко этого безвременно постаревшего человека, вдруг потерявшего лучшего друга — наследника всех добрых дел и планов. Кивнул головой:

— Я готов к этой необычной очной ставке. Пойдемте, Михаил Александрович, к вашему Бою. И я дам бой — Бою...

4

После тягостных объяснений с Бакуниным и Нечаевым и бесплодных переговоров с Огаревым и Озеровым, крайне недовольный собой Герман Лопатин уехал в Париж. Попытка объединить самый крупный отряд русской революционной эмиграции «под обложкой» нового журнала не увенчалась успехом. Бакунин и Огарев не поддержали предложения Лопатина. Не удалось установить добрые деловые отношения также и с представителями противоположного лагеря — с Николаем Утиным и Антоном Трусовым.

В Париже Лопатин остановился у Петра Лавровича Лаврова. Подробно рассказал ему о всех женевских встречах. 26 мая неожиданно получил неприятно резкое, бранное письмо от М. А. Бакунина. Показал Лаврову.

— Надо ответить, и незамедлительно, — посоветовал Петр Лаврович. — Только предварительно остыньте, успокойтесь. Не вздумайте отвечать на брань руганью. Оставайтесь джентльменом.

— Меня мама учила: «Дружбу помни, а зло забывай».

Задумавшись над полученным письмом, Лопатин ясно представил, как Сергей Нечаев настойчиво и уверенно убеждает Бакунина, что ошибки и промахи неизбежны в крайне сложной и тяжелой борьбе и искупаются достигнутыми целями. И постепенно «молодой фанатик, верующий без бога, и герой без фраз» оправдывает эту характеристику и вновь отвоевывает уважение у знаменитого «разрушителя старого мира». И как ни обидно, но приходится в письме приводить уже дважды высказанные доводы и принципы.

Лопатин писал медленно и долго:

«Париж, 26 мая. Немедленно по получении письма из Женевы.

Я горько сожалею, что не прожил в Женеве еще дня два-три, и, вследствие этого, принужден теперь письменно перерывать всю эту грязь. Но делать нечего: такие письма, как ваше, не могут быть оставлены без ответа...

Прежде всего, я должен и желаю выгородить Любавина из всей этой истории, в которой он не виноват, как говорится, ни сном, ни духом...

Когда я приехал в Петербург, Любавин находился за границей, а Н.[51] — в тюрьме. Наши общие друзья очень опасались за них на том основании, что оба эти лица в последнее время разошлись с вами, а, между тем, в руках Нечаева находилась известная расписка (Даниельсона), а в ваших руках было несколько писем (Любавина). Никто из моих друзей не предполагал никогда, что *вы* употребите во зло имеющиеся у вас в руках документы, но относительно Нечаева все эти господа находились в большом сомнении. Они сообщили мне, что *говорят,* будто бы, по поручению Нечаева, некто Лихутин делал уже (Даниельсону) некоторые, довольно прозрачные намеки насчет возможности употребления его расписки в известном смысле, если он не сделает того-то и того-то. Далее я слышал, что, по поручению того же Нечаева, кто-то угрожал Любавину имеющимися у вас в руках его письмами...

Перечислив лиц, с которыми я говорил об этом предмете, я хочу поставить теперь этот вопрос на почву общих принципов...

Когда мы были с вами у Нечаева и когда он, своим молчанием, подтвердил мое мнение, высказанное ему прямо в лицо, мне показалось, что вы не так поражены, как можно было бы ожидать. На другой день я с удивлением заметил, что ваше обращение с Нечаевым нисколько не изменилось, что вы опять выглядите добрыми приятелями, как будто бы этот человек никогда не

оскорблял вас, как будто бы он не посмеялся над вами, обманув ваше доверие таким грубым образом! Признаюсь откровенно, все это показалось мне несколько странным...

Перехожу теперь к главному пункту: к рассказу Нечаева о моем разговоре с ним. Нужно ли говорить, что весь этот рассказ есть чистая ложь, с начала до конца!.. Дело же происходило, на самом деле, следующим образом: Нечаев непременно пожелал видеть меня еще раз перед моим отъездом для какого-то якобы очень «важного» разговора... Весь этот «важный» разговор может быть резюмирован следующим образом: «Зачем вы мне вредите, распуская про меня повсюду неблагоприятные для меня слухи? Положим, что мы с вами расходились во взглядах довольно значительно, но что же из этого? Все-таки и я, и вы, мы оба принадлежим к оппозиции. Не вредить, а помогать друг другу должны мы, по крайней мере хоть в тех пунктах, где мы с вами сходимся». Я отвечал ему на это: «Когда я разговариваю с человеком, с которым я надеюсь столковаться и сделать из него себе сотрудника и помощника, я знакомлю его со своими взглядами двумя способами: я или прямо излагаю свои воззрения в положительной форме, или критикую другие, несимпатичные для меня учения, доказывая их теоретическую и практическую несостоятельность примерами, почерпнутыми из истории, попыток, сделанных для проведения этих учений в жизнь. Я считаю такой образ действий вполне законным и честным; а потому намерен держаться его и впредь...»

Далее Нечаев говорит, будто я сказал: «Старик не выдержал, отдал письма, теперь он в *наших* руках; *мы* можем сделать с ним все; он против *нас* ничего!» Я могу только пожать плечами, видя такую непроходимую бездну наглости. «Что за язык!» — воскликнул я вместе

с вами. И почему это Нечаев воображает, что каждый человек, подобно ему, должен говорить про себя «мы». Смею его уверить, что, кроме него, только одни императрицы выражаются так глупо! И почему Нечаев вообразил также себе, что все люди, подобно ему, только и думают о том, как бы им держать других людей «в руках»? Еще раз смею уверить Нечаева, что это опять-таки императорская замашка; большинство порядочных людей хлопочет только о том, чтобы их самих никто «в руках» не держал... Как могли поверить всем этим выдумкам вы, господин Бакунин? Положим, вы меня не знаете; но все-таки, до сих пор, вы не имели никаких данных считать меня лжецом и негодяем; Нечаев же — человек, уличенный во лжи при ваших собственных глазах; и что же? тем не менее вы принимаете его показания без малейшего колебания, не потрудившись даже проверить их справедливость, и на основании подобных показаний делаете мне сцену! Согласитесь, что всякий должен считать такой образ действий по меньшей мере странным!..

В заключение позвольте мне сказать вам, что я очень ценю вашу сострадательность и ваше доброе сердце, заставляющее вас *жалеть* меня, но, тем не менее, я считаю нужным возвратить вам обратно ваши сожаления, с присовокуплением моих собственных, которые, как кажется, придутся гораздо более кстати. Рассудите в самом деле сами: ваше положение по отношению ко мне допускает только два объяснения, две альтернативы: или вы обманываете меня, притворяясь, будто бы вы поверили грубым, топорным выдумкам Нечаева; — в таком случае это — нехорошо; или же вы действительно были обмануты Нечаевым, и обмануты не в первый раз; это жалко! Выбирайте любое.

Согласно вашему желанию, я непременно прочту г. Лаврову и ваше письмо, и мой ответ» [52].

Лопатин снял «на всякий случай» копию. Дал прочесть письмо Лаврову. Тот прочел, сказал улыбаясь:

— Можно было бы и покороче. Вам удалось выдержать спокойный тон и избежать обидных слов. Весьма похвально. Полагаю, что Бакунин теперь окончательно поверит вам. И отвернется от Нечаева.

— Большего мне и не нужно.

Лавров оказался прав. Еще в Париже Лопатин получил письмо от М. А. Бакунина, отосланное им 9 июня из Локарно. Оно начиналось так:

«Прочитав внимательно ваше письмо, я убедился, с глубочайшим прискорбием для Нечаева и для себя самого, но с радостью за вас, что весь мнимый разговор ваш, переданный мне Нечаевым, был со стороны последнего чистая выдумка, наглая ложь.

Зачем ему нужно было меня обмануть, и почему я ему поверил, об этом теперь я с вами рассуждать не стану. Скажу только, что, поверив ему, я сделал непростительную глупость и, кроме того, большую несправедливость в отношении к вам, написав вам письмо оскорбительное, все выражения которого беру назад и о котором от всей души прошу у вас прощения»[53].

В письме были и упреки:

«Вы знали, что я должен был приехать в Женеву, вы ждали меня. Почему же вы не подождали меня, чтобы пояснить, чтобы уяснить совершенно дело вам плохо известное, прежде чем употреблять его в своих разговорах, как *пояснительный пример* своих теорий? Я не полагаю, чтобы вы сделали это из злого чувства; вы не похожи на злого человека. Но думаю, что вы увлеклись своим обаятельным красноречием, а в праздноглаголении нет спасения».

Бакунин обещал Лопатину переслать через Озерова письма Любавина и расписку Даниельсона.

Одновременно Бакунин написал письмо к Нечаеву:

«...Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшей ложью, было основано на песке. Значит, ваш комитет — это вы. Значит, все дело, которому вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось, как дым, вследствие ложного, глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей вас самих и еще больше ваших друзей.

...Увлеченный верою в вас, я отдал вам свое имя и публично связал себя с вашим делом... Веря в вас безусловно в то время, как вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком, — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет, — хуже этого, я испортил свое положение в отношении к русскому и интернациональному делу» [54].

5

В субботу 2 июля 1870 года Герман Лопатин приехал в Лондон. После долгих, утомительных поисков нашел неказистую, скромную улицу Мейтленд-парк роуд. Неторопливо походил вокруг двухэтажного серого домика, обозначенного № 1, осмотрел примыкающий к нему густой, ярко-зеленый сад, окинул взглядом окна и никого не увидел. Попытался угадать, где кабинет хозяина, и дома ли он, и как-то встретит, и на каком языке с ним объясняться. Усмехаясь, Бакунин говорил о «железном сарказме» Маркса. Неужели придется испытать на себе это неприятное качество?

Лопатин достал «спасительно-рекомендательное» письмо своего нового знакомого Поля Лафарга к его

тестю Карлу Марксу и решительно постучал. И сразу откуда-то выскочили четыре разнокалиберных и разномастных пса и залаяли громко, сердито, напористо.

— Тубо, тубо, цыц! — сказал Лопатин и посмотрел под ноги, подыскивая подходящее оружие для самозащиты.

Дверь распахнулась, выскочила девочка лет четырнадцати-пятнадцати и строго скомандовала:

— Виски, Самбо, Блекки, Дикки — марш по местам!

Собаки стихли и, миролюбиво помахивая хвостами, поплелись в сад.

— Не бойтесь, — по-английски сказала девочка. — Они с виду злые, а по характеру добрые. Лают шутя, для порядка.

Лопатин понял, что это младшая дочь хозяина, спросил:

— Скажите, пожалуйста, доктор Маркс дома?

— У себя. А вы кто и зачем?

— Я с письмом от Поля Лафарга.

— Ой, и от Какаду. Идемте к Мавру.

В кабинете заранее подготовленной вежливой английской фразой Лопатин поздоровался, представился и передал письмо Лафарга. И пока Маркс читал, успел отметить, что густые длинные волосы на величавой голове совсем белы, но ощутимо пахнущая табаком борода еще иссиня-черна и оливково-смуглые щеки еще не изрезаны морщинами. Глубокие продолговатые, необычайно яркие черные глаза смотрят проницательно, иронично и совсем молодо.

Маркс положил письмо на стол, сказал:

— Пойдемте в столовую и там всему семейству расскажите о Лауре, Поле и Шнаппи, виноват, — маленьком Шарле.

Лопатин выразил сожаление, что он плохо владеет английским языком, и попросил:

— Разрешите говорить на французском.

— Пожалуйста. Как вам удобнее и легче.

В столовой Маркс представил гостя жене, дочерям и служанке, Елене Демут.

Скромно улыбаясь, Лопатин поклонился дамам и медлительно, неловко стал рассказывать о том, как познакомился в Париже с семейством Поля Лафарга и что увидел и услышал у них за короткие, но милые и памятные встречи. Запас французских слов оказался явно недостаточным, и Лопатин вынужден был вставлять английские, немецкие и, совсем некстати, русские слова. Прибегал к жестам и мимике и к латинским крылатым выражениям.

По-видимому, слушатели поняли, что в семье Лафарга все здоровы и шлют поцелуи всем обитателям Модена виллы.

Младшая дочь Элеонора с детской непосредственностью подытожила рассказ гостя:

— Какой великолепный акцент, и как он смешно перевирает грамматику! Такого и в театре не услышишь...

— Что ты говоришь, Тусси, — лукаво усмехаясь, погрозил пальцем Маркс. — Гражданин Лопатин, хотя и плохо, но понимает английский язык.

— Если понимает плохо, я буду его учить. Вы согласны, гражданин Лопатин?

— Сердечно благодарю. Почту за честь быть вашим учеником.

— После обеда первый урок, — решительно объявила Тусси.

Лопатин благоразумно промолчал, и родители, влюбленные в свою младшенькую, не возражали, — пусть девочка попрактикуется в лингвистике, в жизни пригодится.

Маркс встал, пригласил гостя в свою комнату. Здесь царствовали книги: им было тесно в шкафу и на пол-

ках, и они лежали у стола и на столе, находились, как потом определил хозяин, «всегда под рукой».

Любуясь литературными залежами, Лопатин с нескрываемой радостью заметил полочку с русскими книгами и журналами и сказал, улыбаясь и приветственно протянув к ним ладонь:

— Здравствуйте, земляки! Как приятно встретиться с вами на чужбине. Знаете, уезжая, я просил моего друга Даниельсона постоянно присылать вам русские книги, которые могут пригодиться для вашего *капитального* труда.

— Ах вот как! Оказывается, вы друг моего корреспондента Даниельсона. Я получил от него вот это замечательное сочинение, — и Маркс снял с полки книгу Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России». — Для меня это настоящее открытие. И не только для меня — для всей Европы! Это — труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного критика и мощного художника. Я ничего о нем не знаю, но книга показывает мне человека, возмущенного против гнета во всех его видах, не терпящего всевозможных национальных гимнов и страстно делящего все страдания и все стремления производительного класса. Полагаю, что такие труды, как вот этот и сочинения Николая Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века.

Маркс поставил книгу на полку и неожиданно, старательно произнося каждое слово по-русски, признался:

— Чернышевский и Флеровский заставили меня изучать очень трудный русский язык.

— Очень рад. Будем говорить по-русски.

— Пока не могу. Продолжим разговор на французском.

— Продолжим, по принципу смешения языков и наречий. Преклоняюсь перед вашей прозорливостью — по книге вы довольно метко определили человеческие качества Вильгельма Вильгельмовича, или по-русски — Василия Васильевича, Берви, пишущего под именем Флеровского. Я его знаю по шумной университетской истории 1861 года. Представьте себе: кандидат юридических наук, чиновник министерства принимает самое живое участие в организации петиции в защиту арестованных студентов. Не прошло и полугода после сего острого конфликта, обращается к самому царю с выражением искреннего сочувствия тверским мировым посредникам, несправедливо осужденным Сенатом. Получив столь дерзкую бумагу, разгневанный Александр Второй распорядился арестовать чиновника особых поручений надворного советника Берви и отправить в психиатрическую лечебницу на предмет испытания умственных способностей. И представьте себе — совершенно здорового человека семь месяцев держат в сумасшедшем доме. Можно только удивляться, как он вынес такое жестокое испытание...

— А дальше? Что с ним случилось? — с тревогой спросил Маркс.

— Разделил судьбу всех протестующих против произвола и насилия — попал в сибирскую ссылку. И что очень важно и знаменательно — остался непобежденным и написал книгу, о которой вы так метко, так высоко отозвались... А издал ее Поляков, тот самый Николай Петрович Поляков, который согласился выпустить первый том вашего «Капитала».

— Я слышал, что издателя подвел переводчик.

— К сожалению, слухи соответствуют действительности. — И Лопатин рассказал о том, как его друзья по университету, интересуясь экономическими и политическими вопросами, решили перевести некоторые труды

Маркса, и в первую очередь «К критике политической экономии» и «Капитал». По доброте душевной и неопытности проживающий за границей Николай Любавин пожалел остронуждающегося Бакунина, поручил ему перевод «Капитала» и выпросил у издателя аванс — 300 рублей. Переводчик не выполнил своих обязательств, прервал работу на первой главе и совсем недавно подобрал на эту роль журналиста Николая Жуковского...

— И вы дали согласие? — строго спросил Маркс.

На его смуглом лице выступили пятна румянца, крупные черные глаза гневно сверкали.

Лопатин покачал головой:

— Нет! В мае месяце я выезжал в Женеву и лично познакомился со всеми русскими эмигрантами. Встречался, и неоднократно, с Бакуниным и его друзьями Нечаевым и Жуковским. И прежде всего толковали о переводе «Капитала», о непогашенном издательством авансе и о документах, угрожающих моим друзьям Любавину и Даниельсону. Скажу откровенно: разговоры эти были крайне неприятными, а силы явно неравными — мне довелось одному воевать со всей бакунинской ратью. Я надеялся на старика Огарева, но он не понял меня. Единственной союзницей и, если хотите, секундантом в этом поединке оказалась дочь Герцена — Наталия Александровна. Я окончательно убедился в том, что ни Бакунин, ни Жуковский и никто другой из их лагеря не могут перевести «Капитал». Во-первых, они не подготовлены для такой огромной и ответственной работы и, во-вторых, они не уважают, больше того, подло пакостят автору этого сочинения. Замечу, что обстоятельство это весьма важное. Дело, как я понимаю, сугубо полюбовное; полагаю, что переводчик и автор должны быть друзьями-единомышленниками, хотя на практике такие идеальные отношения встречаются редко.

— Совершенно с вами согласен. Позвольте спросить: успели вы познакомиться с гражданином Утиным и его друзьями?

— Имел честь! Был весьма прохладно встречен Николаем Утиным и должной поддержки в борьбе с общими противниками, к сожалению, не получил. По мнению русских эмигрантов в Женеве, Утин слишком самолюбив и склонен заменять деловую полемику бранью.

— А вы разделяете это мнение?

Лопатин уловил тревогу в голосе Маркса, но кривить душой не стал:

— Я слышал из уст Утина проникновенные фразы о любви и преданности Марксу и делу Интернационала. Знаю, что он, Николай Исаакович Утин, вам весьма нравится. У меня еще нет должного представления о деловых качествах русского политического эмигранта Утина. Считаю это условие основополагающим для суждения о любом человеке. Время покажет и рассудит.

— Согласен. Разрешите еще один вопрос: вы сами-то знакомы с сочинением, за которое изволили сражаться в Женеве?

— Я приехал в Лондон, чтобы от себя и своих друзей извиниться перед вами за вынужденную задержку выхода «Капитала» на русском языке. Я прочел, с огромным трудом, эту книжищу. Простите за откровенность и прямоту — такой у меня дурной характер — подчеркиваю: *с огромным трудом*. И не только потому, что посредственно владею немецким языком, но, главным образом, из-за сложной, трудно переводимой на русский язык терминологии. Полагаю, что вашей книге суждена долгая жизнь, а посему осмеливаюсь высказать совет — стремитесь сложные категории излагать елико возможно проще, чтобы они были доступны не только

экономистам и юристам, но и каждому образованному человеку. Может, я рассуждаю несколько упрощенно, более того — примитивно, но все же решаюсь предложить пожелание: не могли ли бы вы переработать, сделать более популярной, понятной весьма трудную для освоения первую главу? Поймите меня правильно: грамотный, но не имеющий специальной экономическо-философской подготовки читатель начнет знакомиться с первой главой, ничего не поймет и с досадой закроет книгу.

Маркс повертел висящий на груди монокль, лукаво прищурил черные глаза, сказал:

— Если отбросить все словесное обрамление по поводу примитивности ваших рассуждений, то останется безусловная истина — первую главу следует переработать и автор это непременно сделает при подготовке второго издания. Между прочим, об этом мне говорил мой давний друг Фридрих Энгельс.

— А если мы попросим вас переработать первую главу для нашего русского перевода, найдете ли вы время на это неотложное дело?

— Свободного времени у меня нет. Нельзя оставить теоретические вопросы и практические дела, но и отказать первым переводчикам «Капитала» я, естественно, не могу. Скажите, а когда вам нужна переработанная первая глава?

— Я уже сказал, что это — неотложное дело. Ведь перевод-то нужно начинать с первой...

— А вы начните со второй. Пока будете работать над второй и последующими главами, я подготовлю первую.

— Конечно, можно и со второй, — согласился Лопатин.

В кабинет не вошла, а влетела черноглазая возбужденная Тусси и торжественно провозгласила:

— Достопочтенный Мавр! Высокоуважаемая Ленхен настоятельно требует тебя, а значит, и нашего гостя, к накрытому столу.

— Ну что же, пойдемте мыть руки. Отдадим должное кулинарному искусству высокоуважаемой Ленхен. А весьма интересный наш разговор продолжим после обеда.

Живущий впроголодь Лопатин был приятно удивлен изобилием пищи и не спеша, с достоинством отведал всего, что приготовила дородная, розовощекая, добродушная Елена Демут, и нашел, что титул «высокоуважаемая Ленхен» присвоен ей вполне заслуженно. Хозяин налил какого-то легонького, кисленького винца и предложил выпить за русского гостя, ловко сбежавшего из ссылки, гражданина Германа Лопатина.

Такого тоста Лопатин не ожидал, по-девичьи жарко покраснел и стоя поклонился всем присутствовавшим.

После обеда Маркс пригласил гостя в свой кабинет, но капризно и властно вмешалась Тусси:

— Пусть он побудет с нами. Ведь я обещала провести первый урок английского языка.

— Подожди, Тусси! — И Маркс, повернувшись к гостю, попросил: — Не можете ли вы, Герман Александрович, прийти к нам завтра и принять участие в общей загородной прогулке?

— Сочту за великую честь.

— Вот и хорошо! Завтра Тусси проведет с вами первый урок.

— Завтра я буду гидом. Ведь Герман Александрович — ой как это длинно и трудно, просто — наш друг — впервые в Лондоне. Пусть терпеливо смотрит и слушает. А сейчас вы немножко поговорите, а потом я покажу нашему другу домашний зверинец. Хорошо?

— Хорошо! — охотно согласился Маркс с доводами своей младшей и самой любимой дочери.

Пробыв весь воскресный день в семье Маркса, довольный своим визитом, Герман Лопатин возвратился в маленький, туманный, опостылевший Брайтон. Хотелось рассказать о необыкновенной встрече, поделиться впечатлениями, и Лопатин написал Петру Лавровичу Лаврову:

«...Итак, я отправился и сделал визит Марксу, в чем теперь нисколько не раскаиваюсь, потому что это знакомство оказалось одним из приятнейших, сделанных мною.

Во-первых, я опасался, что у меня не хватит сюжетов для разговора с этим светилом, и потом я втайне недоумевал, на каком языке, кроме языка знаков, я могу объясняться с ним? Все эти опасения оказались напрасными: в оба моих визита (из которых последний продолжался 10 часов сряду) разговор не прекращался ни на минуту. Маркс говорит по-французски не бог знает как, то есть произносит плохо и говорит довольно медленно, вследствие чего я его понимаю отлично. (Я вообще ужасно люблю и умею разговаривать по-французски с немцами и англичанами.) Что же касается до меня, то я считаю, что по отношению к лингвистике я его побил наголову. Судите сами, он умеет говорить вдруг только на *одном* языке; я же говорил единовременно на *четырех* языках, мешая с восхитительной развязностью слова романского, германского, славянского и саксонского происхождения в одну большую кучу; к грамматике я отнесся с полнейшим презрением и постарался свести ее на очень небольшое число самых простых и самых необходимых форм. Недостаток условных грамматических красот я старался заменить беглостью речи и различными выражениями лица и всего тела, соответствующими сюжету разговора. — Впрочем,

Маркс утверждает, что он понимает меня отлично, и его жена и дочери уверяют, что они никогда не воображали, чтобы можно было создать такой понятный и выразительный язык при помощи таких простых средств.

Во-вторых, я всегда опасаюсь у разных знаменитостей слишком сухого приема. Опять приятное разочарование! Я не могу сказать, что я встретил у Маркса *любезный* прием, потому что это значило бы сказать слишком мало; обращение его под конец было скорее *сердечное,* чем любезное. А жена его объявила мне, что она сочтет себя обиженной, если, приехав в Лондон, я вздумаю остановиться в отеле; что в их доме я всегда найду для себя отдельную комнату; «никто Вас не стеснит: Вы можете бродяжничать». — Потом: «до тех пор, пока вы не выучитесь по-английски настолько, чтобы вести экономно собственное хозяйство, Вы должны знать, что за нашим столом Вы всегда найдете накрытым, в ожидании Вас, лишний куверт» и пр. Согласитесь, что все это очень мило?

Сегодня я получил от него новый номер «Народного дела» и очень милую записку по поводу последних известий о суде над парижскими собратьями[55]. В заключение он спрашивает: не желаю ли я, чтобы он приискал для меня место клерка в какой-нибудь лондонской конторе? «Профессия переводчика отвратительна, — говорит он, — профессия коммерсанта дала бы вам куда более благоприятные возможности использовать свободное время для занятий и пропаганды...»

Я отвечаю, что, во всяком случае, я не решусь ответить на подобный вопрос *сразу.*

Что Вы думаете об этом?»[56]

...Днем раньше, 5 июля 1870 года, Карл Маркс известил Фридриха Энгельса о встрече с Германом Лопатиным:

«...Лопатин посетил меня в субботу, я пригласил его на воскресенье (он пробыл у нас с часу дня до двенадцати ночи), а в понедельник уехал обратно в Брайтон, где живет.

Он еще очень молод, два года провел в заключении, а потом, восемь месяцев, в крепости на Кавказе, откуда бежал. Он сын бедного дворянина и в Санкт-Петербургском университете зарабатывал себе на жизнь уроками... Он поселился в Брайтоне, потому что там может два-три раза ежедневно бесплатно — в некотором отдалении от официального пляжа — купаться в море.

Очень ясная *критическая* голова, веселый характер, терпелив и выпослив, как русский крестьянин, который довольствуется тем, что имеет. Слабый пункт: *Польша.* По этому пункту Лопатин говорит совершенно так же, как англичанин, скажем, английский чартист старой школы — об Ирландии.

Он рассказал мне, что вся история *Нечаева* (23 года) — наглая ложь. Нечаев *никогда* не сидел ни в одной русской тюрьме, русское правительство *никогда* не пыталось его убить и т. д.

...В Женеве Лопатин прежде всего потребовал объяснений лично у Нечаева (по поводу его вранья); тот оправдывался политической выгодой от подобной сенсации для так называемого дела. Тогда Лопатин поведал всю историю Бакунину, который сказал Лопатину, что он, как «наивный старик», всему верил.

...Чернышевский, как я узнал от Лопатина, был присужден в 1864 году к восьми годам каторжных работ в сибирских рудниках, следовательно, ему нести эту ношу еще два года. Первый суд был достаточно честен, чтобы заявить, что против него *нет* абсолютно *ничего* и что мнимые инспирированные заговорщические конспиративные письма представляют собой очевидные *фальшивки* (так и было в самом деле). Но *Сенат,* по

императорскому приказу, отменил своей верховной властью этот приговор и выслал в Сибирь этого хитрого человека, который «так ловок», как значится в приговоре, что «сохраняет в своих сочинениях неуязвимую с точки зрения закона форму и вместе с тем открыто изливает в них яд». Вот оно, русское правосудие!

...Лопатин по призванию натуралист. Он и изучал естественные науки. Но вел также и коммерческие дела, и было бы счастьем, если бы удалось отыскать для него что-нибудь в этом роде. Я поговорю об этом с Боркхеймом и Полем» [57].

7

28 июля 1870 года Лопатин сообщил Лаврову:

«...Я покидаю Брайтон и уезжаю в Лондон... Да, 1 августа я окончательно переселюсь в Лондон, а потому не пишите мне более по брайтонскому адресу... Если же есть что-нибудь интересное, то адресуйте тогда: Артуру Фрейман, Лондон, почта до востребования».

Лондон встретил с жестокой неприветливостью кочующего эмигранта. 7 августа Лопатин писал Лаврову:

«Маленькие несчастья продолжают преследовать меня неутомимо.

Как только я вышел из дому (в Брайтоне), пошел дождь и шел весь день, не переставая. Под этим дождем, без зонтика и пальто, я странствовал по Лондону с половины девятого утра и до позднего вечера, отыскивая логовище. Едва-едва отыскал, и то черт знает как далеко, комнату за 4 ш. в неделю (т. е. 20 франков в месяц).

Прихожу к Марксу. Он спрашивает меня: «Надеюсь, вы ненадолго сюда? Потому что мы собираемся к вам

в Брайтон: доктора велели мне поехать на несколько недель на море, и я предпочел Брайтон, так как я и моя семья рассчитывали там на вас, как на веселого собеседника».

Теперь он переменил план и едет не в Брайтон, где жизнь, по моим описаниям, показалась ему слишком дорогою, а в Рамсгет; во всяком случае я остаюсь опять горьким сиротою.

Лондон хочет, кажется, поддержать передо мною свою репутацию: я еще не видел солнца на этой неделе: то туман, то дождь...

Трачу на жратву по 1½ ш. в день и в каждый данный момент голоден как собака. Обусловливается это в настоящую минуту не незнанием английского языка (я достаточно насобачился, чтобы торговаться и не давать себя в обиду), а всем складом здешней жизни.

Перо отвратительное: едва пишет; есть хочу смертельно; а потому до свидания!» [58]

У эмигранта Лопатина был лишь один, и то довольно жалкий, ненадежный источник заработка — переводы. Прежде всего нужно было подобрать такого автора, сочинениями которого безусловно заинтересуется русская читательская публика и примут редакции журналов, и главное — пропустит свирепая правительственная цензура. Следует учитывать и редакционные возможности — большой кусок ни один журнал не проглотит. Да и журналов прогрессивных очень мало, и находятся они не под боком, а в далеком, закрытом для беглеца Санкт-Петербурге. Значит, подготовленный перевод надо посылать старым друзьям Николаю Даниельсону или Ивану Билибину и просить их: помогите, пристройте, ради бога, куда-нибудь. Да не проговоритесь, кто перевел. Цензура и III отделение — близнецы-братья. И они не должны знать, что автор перевода — разыскиваемый государственный преступник.

Ко всему прочему — подводит и почта. Где-то затерялся пакет, посланный еще из Парижа, и не пришло еще подтверждение от аккуратнейшего Николая Даниельсона о получении статьи, отправленной из Брайтона. И все-таки: для того, чтобы жить, — надо переводить!

С большим трудом, при содействии Лаврова Лопатин получил почти все сочиненное известным французским социалистом, публицистом и историком Луи Бланом. Обнадеживающая весть пришла от Николая Даниельсона — «Отечественные записки» определенно заинтересованы этим популярным автором. Прочел наиболее подходящее сочинение «Организация труда». Наметил куски для перевода. После встречи с Марксом пришлось отказаться от этого верного заработка. Надо переводить «Капитал». Работа огромная, трудная, и за полгода, пожалуй, не управиться, а привезенные русские деньги на исходе. А тут еще добренький за чужой счет Владимир Озеров неожиданно прислал нахлебника — французского солдата, бежавшего из действующей армии. Кроме ненависти к Наполеону, у него за душой ничего нет. Нельзя отказать человеку, барахтающемуся на чужбине — без денег, без работы, без языка. Хоть и незнакомый, но свой брат эмигрант. Вот и думай, как вдвоем-то прокормиться?

Написал о своем решении перевести «Капитал» Даниельсону и Любавину. Вскоре получил восторженно-приветственный ответ от Николая Даниельсона: весьма благосклонный издатель Николай Петрович Поляков согласился незамедлительно выплатить за перевод «Капитала» всю оставшуюся сумму — 1000 рублей. Лопатин читал и не верил: такими большими деньгами располагать еще не доводилось. Баловень-француз обрадовался: «Животы будут в порядке до новой Великой французской революции. А там поедем в Париж».

После долгого, мучительного раздумья Лопатин отказался от столь щедрого аванса, следуя правилу: надо вначале выполнить работу, а потом уже получить за нее деньги.

Весь август Лопатин занимался только переводом «Капитала». Рано утром уходил в Библиотеку Британского музея и работал, пока звонок не извещал о закрытии. Никому из новых друзей-заграничников о своем главном деле не писал. 29 августа получил письмо от Лаврова, в котором преданный друг предлагал весьма выгодную совместную работу в Париже. Петр Лаврович великодушно обещал общее жилье и общий стол. Открывалась приятнейшая возможность уйти от полуголодного существования, но Лопатин не мог прервать начатую ответственнейшую работу по переводу главного труда Карла Маркса. 30 августа Герман Лопатин вынужден был открыть свою тайну Лаврову:

«Отвечаю Вам на Ваше письмо немедленно...

Я ни в коем случае не мог бы согласиться на Ваше предложение ранее четырех-пяти месяцев, и вот почему: мне предлагали много раз переводить «Капитал» Маркса; я постоянно отказывался; но в последнее время, когда я прочел почти всю эту книгу, я увидел, что я могу перевести ее, особенно если взять во внимание проживание в одном городе с автором... Я был без работы, а за «Капитал» мне предлагают около 1000 рублей с правом получить вперед хоть всю сумму. (Понятно, я не возьму ничего.) Итак, я взялся, дал обещание и до окончания этой работы не могу взяться ни за что другое.

Нечего говорить, что это есть *единственная* существенная причина моего отказа. Нечего говорить, что я бы ухватился за Ваше предложение более чем с радостью, не спрашивая об условиях. Я вижу в этом предложении пропасть приятных сторон: во-первых, большое

удовольствие работать вместе с Вами и жить в одном месте (это не комплимент); во-вторых, по Вашим словам, работа была бы разнообразна, а это как нельзя более подходит к моим вкусам; в-третьих, разнообразное, разнохарактерное, разноязычное чтение, затем разговоры по поводу прочитанного принесли бы мне пользу не в одном лишь материальном отношении. И прочее, и прочее, и прочее... Об условиях я тоже не говорю, так как это последнее дело для меня: Вы знаете, я человек умеренный.

Итак, вот каковы дела. Я Вас попрошу, Петр Лаврович, не говорить *никому* о том, что я перевожу «Капитал». По разным причинам для меня это очень важно. (Между прочим, например, Жуковский никогда не поверит, что я взялся за этот перевод лишь недавно... Ему положительно отказали бы в этой работе и написали мне, что предпочитают лучше оставить мысль об издании этого сочинения, чем опять входить в сделку с Бакуниным, Жуковским и К°...» [59].

Почти каждую неделю Лопатин наведывался на улицу Мейтленд-парк роуд, слушал, как жалобно подвывают соскучившиеся по Элеоноре собаки, значит, семья Маркса еще не вернулась из Рамсгета. И грустно, и обидно. При переводе накопилось много недоуменных и спорных вопросов, решать которые следует с самим автором. Как много в его огромном труде совершенно незнакомых для русского читателя экономических терминов! Их надо перевести с предельной точностью. Ведь с выходом в свет «Капитала» в Петербурге они постепенно будут входить в научную литературу и в разговорную речь. Придет время, и эти сложные термины станут близкими и понятными каждому грамотному русскому человеку. А пока, по ходу дела, каждый политэкономический термин Маркса надо взять на карточку и придумать единственно правильное российское изображение.

И объяснить читателям, почему немецкие слова нашли такое русское выражение. И пунктуально точный Герман Лопатин делает характерное для стиля его переводческой работы примечание:

«Выражение Mehrwert мы сначала думали перевести словом «сверхстоимость», построение которого вполне согласно с духом русского языка и которое тоже представляет все выгоды одного сложного слова по сравнению с двумя простыми. Но потом мы вынуждены были перевести его словами «прибавочная стоимость», для того чтобы сохранить этимологическую аналогию с словом «прибавочный труд» (Mehrarbeit), соответствующую той аналогии, которая существует между этими двумя названиями в сфере экономической. Конечно, было бы лучше перевести Mehrarbeit каким-нибудь одним словом, но, к сожалению, такие слова, как Mehrarbeit, Mehrprodukt и т. п. не имеют соответствующих им русских выражений» [60].

Лопатин долго думает, как перевести термин Stufenfabrikat. По Марксу, это такой продукт, который лишь *постепенно* доходит до степени настоящего фабриката. Каким русским словом передать эту идею? Перебрав множество вариантов, Лопатин останавливается на определении — *полуфабрикат*.

И постепенно получают как бы новое русское гражданство такие термины, как потребительная и меновая стоимость, заработная плата, первоначальное накопление, производительная сила труда, капиталистический способ производства и многие другие. Они были безоговорочно приняты и распространены на второй, третий, четвертый тома «Капитала», вышедшие в русском переводе. Со временем терминология, установленная Германом Александровичем Лопатиным, стала достоянием русской культуры и науки, обогатила русский язык [61].

Переводя «Капитал», Лопатин счел нужным проверить ссылки на произведения тех авторов, которых цитирует или упоминает в своем труде Маркс. Все разночтения в названиях сочинений и в самих цитатах заносил на карточки. Эта работа оказалась очень трудоемкой, но очень полезной для переводчика и автора.

8

...Узнав о том, что семья Маркса вернулась в Лондон, Лопатин поспешил на знакомую зеленую улицу. И снова, как в июле, первой встретила и очень обрадовалась гостю загорелая, красивая, не по годам рослая и физически развитая Элеонора. С присущей ей непосредственностью сообщила отцу:

— Наконец-то явился наш общий друг, и я опять займусь с ним английским языком.

— С завтрашнего дня, — сказал, улыбаясь, Маркс. — А сегодня у нас очень много важных деловых разговоров.

Повернулся к Лопатину, указал на стул, спросил:

— С чего начнем?

— С «Капитала», — и Лопатин положил на письменный стол перевод второй и большей части третьей главы, пачку авторских карточек и листок с перечнем нерешенных вопросов.

Щуря черные глаза, Маркс прочел заголовок, заглянул на последнюю страницу, спросил удивленно:

— Когда это вы успели? Неужели все это сделано в Лондоне?

— Я начал переводить сразу же после нашей встречи. В Брайтоне работал крайне медленно — ни словарей, ни подлинных сочинений критикуемых вами авторов под рукой не было. В Библиотеке Британского музея я на-

шел все необходимое. Прекрасное книгохранилище, но, пожалуй, наша Публичная библиотека лучше...

— Позвольте, а зачем вам понадобились в подлинниках использованные мною сочинения? Вы что, мне не доверяете?

— Видите ли, мой отец, чиновник весьма пунктуальный и строгий, частенько напоминал мне и моему брату Всеволоду: доверять — нужно, а проверять — необходимо. Постепенно это житейское правило и вошло в привычку — доверяя, всегда проверяю. Поймите меня правильно: как переводчик я разделяю с вами ответственность за каждое слово в сугубо научном труде, именуемом «Капитал». Научном — значит, предельно точном. Придирчивый русский читатель, обнаружив малейшую ошибку, назовет невеждой не вас, а меня, грешного. Дескать, неправильно, неряшливо перевел. Поторопился. Вот и пришлось все сверить. В этих карточках отражены каждая буква и каждая запятая, пропущенные вами в названиях сочинений и в цитатах.

Маркс положил на вытянутую ладонь увесистую пачку, покачал ее, сказал, с трудом подбирая и произнося русские слова:

— Какой крупный камешек в мой огород, — и сразу же перешел на французский: — Впервые встречаю такое добросовестное отношение к переводу моих сочинений. Поверьте мне, никто из ваших коллег не тратит драгоценное время на этакую нудную «ловлю блох». Чаще всего и не вникают в сущность написанного, а механически пережевывают то, что автор в рот положил. Ведь надо что-то заработать.

— Пусть обо мне говорят: «„Капитал“ переводил, а капитала не нажил».

Маркс рассмеялся:

— Это ко мне больше подходит. Я не мог бы осилить эту работу и умер бы с голода, если бы не оказывал

постоянную финансовую помощь мой лучший друг Фридрих Энгельс. Узнав, что я болею, он прислал мне сорок фунтов стерлингов, и мы поехали в Рамсгет. Я никогда с ним не рассчитаюсь. Фред в середине сентября перекочует в Лондон, и вы познакомитесь с этим замечательным человеком. Однако я отвлекся. Благодарю вас за все уточнения, за неожиданную помощь в моей работе. Все учту при переиздании первого тома.

Лопатин не ожидал такой похвалы, сказал улыбаясь:

— Эти карточки — ваше достояние. Все исправления для русского перевода мною уже внесены. Я не имею представления о содержании второго тома «Капитала», но мне и моим радикально настроенным товарищам очень хочется увидеть в вашем труде побольше фактического и аналитического типично русского материала. В первом томе, скажем прямо, вы Россию обошли вниманием. К примеру, возьмем такой интереснейший вопрос, как земельная рента в сложных, весьма противоречивых условиях капиталистического развития Российской империи. Для нас, россиян, этот вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Я, со своей стороны, уже принял некоторые действенные меры: попросил Николая Даниельсона подобрать необходимые книги и журналы. Прежде всего он должен выслать вам земские статистические сборники. В них горы ценнейшего фактического материала. В пору вынужденного ставропольского сидения мне довелось участвовать в составлении двух местных историко-статистических летописей. Для ученого-экономиста они неоценимый клад.

— Тронут вашим вниманием и заботой. Согласен с вами, что бурно развивающейся феодально-капиталистической России следует уделить должное внимание, и я это непременно сделаю. Кстати, о книгах. Я слышал, что вышел четвертый том сочинений Чернышевского. Не

можете ли вы достать его для меня? Я очень уважаю, больше того — люблю Чернышевского и собираю все, что он успел написать. Из всех современных экономистов Чернышевский представляется мне, пожалуй, единственным оригинальным мыслителем — среди множества ловких компиляторов. Как вы, наверное, смогли заметить, сочинения Чернышевского заметно выделяются силой и глубиной мысли и заслуживают протекции и пристального изучения. Русские должны стыдиться, что ни один из них не отважился познакомить Европу с таким замечательным мыслителем, революционером и социалистом. Поймите, мой друг, грустную истину: политическая смерть Чернышевского — ничем не восполнимая потеря не только для России, но и целой Европы.

— Грустно. Очень грустно. Я был свидетелем гнуснейшего глумления над этим великим человеком. — И Лопатин рассказал о диком обряде на Мытнинской площади — гражданской казни над государственным преступником Николаем Гавриловичем Чернышевским 19 мая 1864 года. Маркс слушал внимательно, тяжело сдвинув густые, широкие брови. Когда Лопатин показал, как Мария Михаэлис бросила прикованному цепью к столбу Чернышевскому букет цветов, Маркс с восхищением сказал:

— Изумительной смелости женщина! А вот храброго мужчины, который решился бы спасти народного вождя Чернышевского из гибельного его заточения, в России не нашлось. Весьма прискорбно.

Вошла жена Маркса и пригласила собеседников к столу.

...Лопатин распрощался с хозяевами поздно вечером. Маркс напомнил:

— Приходите завтра.

— И пораньше! — добавила Тусси. — У нас с вами урок.

Проработав весь день в библиотеке, Лопатин вечером шел к Марксу и вместе с ним решал накопившиеся недоуменные вопросы. После делового разговора следовал урок английского языка. Старательно выполняя роль учительницы, Элеонора в тетради успеваемости проставляла явно заниженные оценки своему ученику по чтению, письму, грамматике и разговорной речи. Ей хотелось, чтобы уроки были бесконечными, ей очень нравился веселый, остроумный, к тому же красивый — общий друг.

4 сентября, выслушав очередной обзор русских новостей, Маркс сказал своему собеседнику:

— Вы прекрасно осведомлены о делах российских и к тому же весьма трезво и правильно оцениваете события. Не могли бы вы занять пост секретаря-корреспондента Генерального Совета по России?

Вопрос был неожиданным и трудным. Лопатин счел нужным спросить:

— Если не ошибаюсь, этот пост по просьбе русских интернационалистов в Генсовете занимаете Вы? Заменить Вас я не способен.

— У меня более чем достаточно всяких других постов и обязанностей. Вы будете первым русским социалистом в Генеральном Совете Международного товарищества рабочих.

— Но ведь я не рабочий...

— И я не рабочий, однако мастеровой журналистского цеха.

— Не смею причислить себя к этому цеху. Если вы находите, что я могу принести какую-то пользу в Генеральном Совете... Я готов...

— Я сообщу вам о результатах моей рекомендации.

...6 сентября 1870 года на заседании Генерального Совета Интернационала выступил деятель французского и международного рабочего движения Огюст Серрайе и внес предложение — избрать гражданина Германа Лопатина в члены Генерального Совета.

Серрайе познакомился с Лопатиным на квартире у Карла Маркса. Разговаривали на французском языке. Лопатин узнал, что его собеседнику 30 лет, что по профессии он столяр, изготовляющий обувные колодки, а в Генсовете выполняет обязанности секретаря-корреспондента для Бельгии.

Предложение Огюста Серрайе поддержал Карл Маркс, кратко охарактеризовавший революционную деятельность Лопатина в России.

На следующем заседании 20 сентября Герман Александрович Лопатин был единогласно избран в члены Генерального Совета Интернационала.

Об этом решении Лопатину сообщил Карл Маркс. Он же рассказал о том, что Генеральный Совет выделил гражданина Лопатина в делегацию, которая должна принять участие в подготовке народной демонстрации с требованиями признания английским правительством Французской республики.

— Вот как! Из свидетелей событий сразу выдвинут в активные участники, — не скрыл удивления Лопатин. — Скажите, пожалуйста, а кто еще вошел в делегацию?

— Прежде всего Иоганн Эккариус, бывший портной, а ныне наш секретарь, затем Джемс Кон — рабочий-сигарочник, с моим другом, тоже портным, Фридрихом Лесенером вы уже знакомы, и четвертый — Джордж Миллер, типичный ирландец, по специальности тоже портной.

— Знаете, дело прошлое, но я с первого дня возникновения этой гнусной, кровопролитной войны не сомневался в поражении Франции. Полагаю, что разгром под

Русский революционер Г. А. Лопатин у Карла Маркса. *С картины И. Захарова.*

Седаном и пленение стотысячной армии во главе с императором Наполеоном еще не означает окончания боевых действий. Бисмарк пойдет дальше, чтобы отнять у побежденных Эльзас и Лотарингию. Только вооруженное вмешательство Англии может спасти Францию.

— Постойте, постойте! Не впадайте в крайности. Исходите из реальной обстановки. Хитрый и дальновидный политик Гладстон на вооруженное вмешательство не пойдет. Его вполне устраивает роль постороннего наблюдателя. Вот почему мы должны использовать все средства: сходки, митинги, демонстрации, распространение наших воззваний о франко-прусской войне, чтобы

заставить британское правительство признать Французскую республику. Сам акт признания ее великой державой безусловно умерит возрастающие с каждым днем аннексионистские вожделения пруссаков.

— Использовать традиционное средство «давления извне», — вмешался в разговор незаметно вошедший в кабинет Фридрих Энгельс. — Францию может спасти рабочая солидарность всех стран.

— А, генерал, явился. Знакомьтесь — это наш общий друг — Герман Лопатин.

— Я его хорошо знаю по письмам, — улыбаясь пожал руку Лопатину Энгельс.

— А теперь будете работать вместе. Рад сообщить, что гражданин Лопатин уже избран в члены Генерального Совета, а тебя вчера выдвинули...

— Выдвинули! А я еще свой багаж не успел распаковать...

— Разрешите, я вам помогу по части переноса, передвижения, перестановки вашего имущества. И особенно книг, — предложил Лопатин.

— Судя по фигуре, вы вполне способны на такую помощь, — с удовольствием любуясь Лопатиным, сказал Энгельс. — От такого содействия не откажусь. Можете у меня и ночевать. Просторно! Занимаю целый дом...

10

...27 сентября 1870 года усталый и голодный Герман Лопатин шагал по длинной улице Хай Холборн к дому № 256, в котором вот уже третий год собирался на свои заседания Генеральный Совет Интернационала.

Сегодня утром, вместе с новыми товарищами Эккариусом, Лесснером, Милнером и Коном, он, русский эмигрант Герман Лопатин, вошел в состав большой

делегации, которая была принята самим премьер-министром Англии Уильямом Гладстоном. Впервые в чопорно-важный президентский дворец пришли не лорды, отягощенные монументальной наследственной славой, а лучшие представители рабочей Англии, строго требующие немедленного признания Французской республики, смелого, мужественного содействия в заключении мира между воюющими державами. Рабочий-краснодеревец, генеральный секретарь объединенного общества столяров и плотников, Роберт Аплгорт говорил взволнованно, горячо, непрерывно выбрасывая вперед мускулистую правую руку, словно стругал рубанком упрямую, шершавую доску. Он смотрел в упор на улыбающегося Гладстона и не просил, а приказывал встать на защиту разграбленной, истекающей кровью республиканской Франции.

Добренькая приветная улыбочка слетела с круглого розового лица премьер-министра, когда делегат Генерального Совета Международного товарищества рабочих Иоганн Эккариус заявил о том, что разгоряченные победой полки железного канцлера Бисмарка угрожают не только Парижу, но и Лондону, и пришло время на весь мир заявить, что в Англии есть оружие и есть солдаты, способные остановить обнаглевших разбойников, посягнувших на богатейшие провинции Франции — Эльзас и Лотарингию.

А потом длинно, убаюкивающе красиво изливал свои выводы известный историк профессор Лондонского университета Эдуард Бизли, и на упитанном, потном лице Гладстона снова появилась успокоительно добренькая улыбка. Терпеливо выслушав речи и письменные декларации, лидер лейбористской партии гуманно осудил войну и пообещал содействовать ее прекращению. Речь премьер-министра была плавной, мелодичной, заранее подготовленной и ни к чему решительному не обязы-

вающей британское правительство. Лопатин, привыкший определять характерную сущность человека меткой кличкой, назвал про себя Гладстона — «Гладкий» и, забыв о джентльменском приличии, неожиданно для самого себя громко спросил:

— Когда?

— Когда будет признана Французская республика, когда вы примените силу в защиту мира? — уточнил вопрос сидевший рядом с Лопатиным Иоганн Эккариус.

Гладстон плавно взмахнул руками, сокрушенно приподнял пухлые плечи и, со вздохом опустив их, сослался на крайнюю необходимость утверждения Временного правительства Франции ее Национальным собранием, поскольку все временное, к сожалению, непрочно...

...На заседание Генерального Совета Лопатин явился точно в указанное время и сел рядом с Карлом Марксом. И в дальнейшем секретарь-корреспондент по России ни разу не опоздал и не пропустил ни одного заседания.

Комната была скромной — ничего лишнего: длинный грубоватый стол, вокруг него дешевые стулья да небольшой простенький шкафчик в углу для словарей и деловых бумаг. На стене большая карта Европы.

Лопатин сразу же заметил — здесь нет деления на старших и младших, все равны, все граждане. И только так обращаются друг к другу. В тот памятный день председательствовал гражданин Джордж Милнер. По установившейся традиции секретарь Эккариус огласил протокол предыдущего заседания. Утвердили голосованием. Слово для сообщения попросил Карл Маркс. Лопатин впервые увидел Маркса не беседующим, а выступающим. Докладчик нашел нужным встать, хотя за столом сидело всего восемь человек. Под рукой ни записей, ни вырезок, ни цитат. Все в памяти, все в удивительно цепкой и вместительной памяти. И еще Лопатин отме-

тил редкое у ораторов и свойственное Марксу умение ценить чужое время: ни одной общей банальной фразы, ни одного лишнего «красивого» слова. За каких-нибудь десять минут успел рассказать о последних событиях в Германии и Франции и почти дословно процитировал пересланное находящемуся в Манчестере Эжену Дюпону письмо из Франции о повсеместном усилении реакции.

Таким же лаконичным был отчет Эккариуса о встрече объединенной рабочей делегации с премьер-министром Гладстоном.

Гражданин Джордж Милнер в пятиминутном выступлении сумел довольно убедительно обосновать свое предложение о необходимости объединения рабочих организаций со всеми демократическими группами и обществами, сочувствующими республиканским идеям и выступающими против возрождения монархии во Франции.

Без излишних дебатов было принято решение: «Секретарю поручается послать экземпляры воззваний о войне членам парламента, а также тем адресатам, которые не получили первого издания» [62].

Лопатин весьма охотно проголосовал за утверждение этого предложения. Ему довелось участвовать в обсуждении написанного Марксом «Второго воззвания Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне». Запомнился глубоко интернациональный вдохновенный призыв, которым заканчивался этот размноженный в типографии социалиста Эдуарда Труглава документ:

«...Пусть же секции *Международного Товарищества Рабочих* во всех странах призовут рабочий класс к действию. Если рабочие забудут свой долг, если они останутся пассивными, настоящая ужасная война станет предтечей новых, еще более ужасных международных

войн и приведет в каждой стране к новым победам над рабочими рыцарей шпаги, владык земли и капитала. Да здравствует республика!» [63]

В своем выступлении Лопатин высоко оценил марксовский текст воззвания и первым подписал его. Сегодня днем, во время приема делегации во дворце премьер-министра, секретарь Генсовета Эккариус вручил воззвание Уильяму Гладстону. И это воззвание Герман Лопатин раздавал докерам на митинге в лондонском порту.

...Заседание Генерального Совета закончилось в 11 часов вечера. Лопатин вызвался проводить Маркса до дома. Время неспокойное, и в городе есть не только друзья, но и враги Карла Маркса. К тому же представляется возможность поделиться впечатлениями о большом, насыщенном важными событиями дне.

11

...На заседании Генсовета 11 октября впервые участвовал Фридрих Энгельс. Лопатин сидел рядом с ним и слушал Маркса, сжато и взволнованно рассказывавшего о революционных событиях последних дней. В Германии имели место новые аресты друзей Интернационала. В Берлине и в Мюнхене прошли бурные собрания против захватнической политики правительства. Тревожные вести получены из Лиона. Неистовый бунтарь Михаил Бакунин покинул Локарно, выехал в Лион и собрал горстку своих единомышленников в конспиративной штаб-квартире. 25 сентября по всему городу были расклеены анархистские воззвания, призывающие народ к оружию. И через два дня тридцатитысячный отряд повстанцев с красными знаменами вышел в центр города и занял ратушу. С ее балкона Бакунин стара-

тельно и долго призывал собравшихся на площадь упразднить административные и правительственные государственные учреждения, создать комитеты спасения Франции и образовать объединенный революционный конвент в Лионе. И пока великий бунтарь сотрясал площадь громовым басом, батальоны национальной гвардии беспрепятственно подошли и оцепили ратушу. Гигантский митинг рассеялся. Бакунина арестовали, избили, бросили в тюрьму. Через час он был освобожден своими друзьями. Неподготовленное, преждевременное вооруженное восстание было подавлено. Апостол анархизма бежал из Лиона.

Вывод Маркса был жесток и справедлив: безмозглые ослы Бакунин и его подручный генерал Гюстав Клюзэре провалили все дело в Лионе. Восстание — искусство. Нельзя играть в восстание.

Лопатину было горько и обидно за своего соотечественника Михаила Бакунина, выступавшего стихийно, необдуманно и нанесшего вред делу Интернационала.

Дело Интернационала стало дорогим и близким Герману Лопатину. Еще никогда он так напряженно и вдохновенно не работал, как в эти осенние дни 1870 года. Переводил «Капитал». Собирал и обобщал сведения о революционном движении в России. Активно поддерживал предложения Маркса в Генеральном Совете, в котором у Лопатина появилось много друзей — подлинных вожаков рабочего класса.

8 ноября Герман Лопатин довольно успешно выступил в трудной для него, русского человека, роли председательствующего на заседании Генерального Совета. Говорил с акцентом, но довольно логично и понятно, на английском языке. Положительно сказались уроки Элеоноры Маркс, чтение газет и участие в рабочих митингах.

После утверждения протокола предыдущего заседания Лопатин охарактеризовал революционную деятельность французского учителя, бывшего делегата Базельского конгресса Поля Робена, приговоренного к тюремному заключению и освобожденного после провозглашения республики. Две недели прошло, как Карл Маркс рекомендовал Робена в члены Генерального Совета. И вот теперь Лопатин поставил этот вопрос на утверждение. Избрали Поля Робена единогласно.

Довольно сложным оказался вопрос о помощи демократической газете «Наблюдатель гончарного округа», издаваемой в городе Ханли. Редактор Уильям Оуэн просил всяческого содействия для основания кооперативного типографского общества. Лопатин знал, что Генсовет не может оказать денежной помощи, и потому предложил послать в редакцию газеты специальное письмо Генерального Совета, пообещать всяческую моральную поддержку, высылать агитационную литературу и снабжать отчетами о деятельности Интернационала.

Лопатину удалось успешно завершить выдвинутый на повестку дня еще 18 октября вопрос о выборе финансового секретаря. На этот пост выдвигалось несколько кандидатур. Маркс рекомендовал Энгельса, но тот возражал, считая, что для ведения финансовых дел следует избирать только рабочих. Председательствующий Лопатин рекомендовал на должность финансового секретаря активного деятеля английского рабочего движения Джорджа Харриса. Он и получил большинство голосов.

Ровно в 10 часов вечера Герман Лопатин закрыл заседание Генерального Совета. Маркс похвалил председательствующего:

— С вас следует брать пример. Все вопросы успешно решены и сэкономлен час драгоценного для всех нас времени.

...22 ноября Герман Лопатин выступил на заседании Генерального Совета с весьма важным информационным сообщением. Оно сохранилось в протокольной записи:

«Некоторые документы из архива Наполеона, касающиеся Интернационала, были опубликованы в русских газетах. Накануне плебисцита Оливье[64] написал во все города Франции, что руководителей Интернационала следует арестовать, иначе голосование не удастся провести так, как нужно. В Руан Оливье написал, что там находится один из наиболее известных членов Интернационала, а на запрос, по какому обвинению тот должен быть арестован, Оливье ответил: по обвинению в принадлежности к неразрешенному обществу, намекнув при этом, что против него имеются и более серьезные улики, которые обнаружатся постепенно, когда будут захвачены документы всех членов. Оливье утверждает в этих письмах, что члены Интернационала вообще отличаются неистовством своих нападок на правительство. Он рекомендует отнестись с максимальной строгостью к более образованным членам Интернационала, особенно к адвокатам, и обращаться возможно снисходительнее с невежественными рабочими.

Гражданин Лопатин сообщает, что железнодорожная сеть на юге России расширена вдвое, чтобы облегчить перевозки солдат; предполагается также увеличить армию»[65].

Председательствующий Энгельс предложил ввиду позднего времени сообщение Лопатина обсудить на следующем заседании.

На улице Лопатин сказал Энгельсу:

— Смотрите, какая ясная погода, совсем не лондонская. Я вас провожу.

— При непременном условии — ночуете у меня. Пойдемте. Перед сном весьма полезно прогуляться. И пе-

множко остыть. Я заметил, как вы волновались, как мучительно трудно подбирали нужные слова.

— И, как всегда, не ладил с грамматикой.

— На это никто не обратил внимания. Все знают, что вы русский. И это обстоятельство делает вам честь: сообщение о намерении монархистов типа Оливье расправиться с нашими друзьями во Франции пришло к нам не из Парижа, а от русского эмигранта, выловившего столь важную для Интернационала публикацию из газет, которых, в сущности, у него и нет под рукой.

— Почти все русские газеты есть в Библиотеке Британского музея. Должен признаться — я тоскую по Петербургу, по России, и вести с родины для меня подобны хлебу насущному. Истины ради уточняю: хотя и с опозданием, но друзья высылают мне «Санкт-Петербургский вестник» и замечательный журнал «Отечественные записки».

— Я остаюсь при своем мнении — нам удалось подыскать прекрасного секретаря-корреспондента по России. Маркс придерживается такого же мнения.

— Сожалею, что сегодня Маркс не был на заседании.

— Вы завтра ему все расскажете.

— Я не могу пойти к нему завтра. Напомните ему, пожалуйста, о первой главе «Капитала».

— Хорошо! Я скажу, что вы заканчиваете последнюю главу и потому весьма нуждаетесь в переработанной первой.

— Не преувеличивайте мои успехи. Сейчас я завершаю сравнительно небольшую по объему пятую главу. И весьма сожалею, что до конца еще далеко.

— Скромность украшает только несовершеннолетних девушек. А вы мужчина, к тому же, по определению господина Оливье, отличаетесь неистовством. Вы одолели четыре главы из шести. Весьма похвально, если учесть, что работаете в полуголодном состоянии. Вот

сейчас придем ко мне и обязательно поужинаем. И не смейте возражать. Поужинаем, гражданин Лопатин, по-русски — основательно, фундаментально...

12

23 ноября Лопатин собрал в дорогу свое весьма скромное «движимое имущество». Самым весомым в багаже оказался первый том «Капитала» да подготовленная к набору рукопись его перевода. Долго раздумывал, как поступить с письмами. Перечел еще раз дорогие, пересланные через Лаврова, материнские, полные любви и грусти листки и сжег в печке. Туда же отправил послание от многочисленных столичных друзей. Но не мог уничтожить письма Карла Маркса и Петра Лаврова. Уложил их в большой конверт, прикрутил к последнему тому «Отечественных записок», попросил квартирную хозяйку:

— Книги, пожалуйста, сберегите. Они еще пригодятся.

— Не беспокойтесь. Никто их не тронет.

Было трудно уезжать, не простившись с Марксом и его родными. Пожалуй, чаще всех будет вспоминать общего друга юная Элеонора. Милые, добрые люди будут переживать и упрекать своего постоянного гостя, внезапно исчезнувшего из Лондона. Обидно, но ничего не поделаешь.

Тяжело оставлять новых замечательных друзей в Генеральном Совете Интернационала, не сказав им, куда и почему столь поспешно уезжаешь. Считай, без малого три месяца вместе решали трудные вопросы международного рабочего движения. Многое увидел и многому научился. Как-то Маркс лукаво заметил:

— Вы успешно проходите курс революционной борьбы, освобождаетесь от порочных национальных пред-

рассудков, становитесь подлинным интернационалистом.

И вот приходится, не завершив этот курс, тайком уезжать в Россию, накануне неотвратимо надвигающейся рабочей революции во Франции. И бежать не в Петербург, а на далекую окраину, в студеную Сибирь, — спасать Николая Гавриловича Чернышевского. Сразу же после первого разговора, положившего начало дружбы с Карлом Марксом, пришло это неотступное, все иное отстраняющее повеление: вернуть России великого ученого и революционера. Упрек Маркса — в России не нашлось мужчин, способных спасти Чернышевского, — Лопатин принял целиком в свой адрес. Единственное, что удерживало его от незамедлительной поездки в Сибирь, — отсутствие денег. Без них ничего не свершишь! Пришлось писать друзьям и просить их о содействии благородному делу «Воли Н. Г. Ч.». Постепенно собрали более тысячи рублей. Теперь можно действовать.

Лопатин никого не посвящал в свои планы. Однако счел нужным 20 ноября оповестить о своем стремительном отъезде Петра Лаврова:

«Некоторые обстоятельства принуждают меня покинуть Европу. Писать о таких темах я нахожу не совсем удобным, особенно когда я не совсем уверен, — дойдет ли это письмо до вас и когда дойдет.

...Я вернусь назад месяцев через 5—6 и тогда, конечно, постараюсь немедленно разыскать ваш адрес или вас самих. А пока до свидания, будьте здоровы и счастливы» [66].

Лопатин не решился попросить у Лаврова денег на дорогу. Не богат — с трудом сводит концы с концами. Предлагал полсотни шиллингов на «хлеб насущный» добрейший человек Фридрих Энгельс. Отказался. Их надо возвращать... Пришлось прибегнуть к помощи состоятельного и весьма радушного Михаила Константиновича Элпидина и завернуть к нему в Женеву.

НА ВОЛЮ!

I

...15 декабря 1870 года за письменным столом Николая Даниельсона Герман Лопатин писал Карлу Марксу:

«По почтовому штемпелю на этом письме Вы увидите, что, несмотря на Ваши дружеские увещевания, я нахожусь в России. Но если бы Вы знали, что побудило меня к этой поездке, Вы, я уверен, нашли бы мои доводы

достаточно основательными. Полученное в Кенигсберге письмо дало мне понять, по какому делу я был вызван из Англии. — Хотя дело это, как Вы легко можете догадаться, не угрожает ни европейскому миру, ни существованию нашего отечественного правительства, тем не менее оно показалось мне очень привлекательным, да к тому же я проделал уже такое длинное путешествие, что решил не отступать, — и вот я снова на дорогой родине.

Характер моего дела вынуждает меня покинуть в ближайшие дни Петербург и отправиться в глубь страны, где я пробуду, по всей вероятности, три-четыре месяца, так что я не могу воспользоваться любезным приглашением г-жи Маркс на ваш рождественский обед; боюсь также, как бы мой строгий маленький учитель не нашел, что мои познания в английском языке несколько убавились за то время, что я истратил на собственные приключения...»

Лопатин отодвинул лист, задумался. Теперь нужно перейти к более сложной, деловой части. За короткое время нелегального пребывания в столице все-таки удалось кое-что сделать полезного для автора «Капитала». Прежде всего, удалось разрешить самый трудный вопрос о завершении перевода «Капитала». Решали втроем. Перебрали много кандидатур. Николай Любавин нашел наиболее подходящим для такой ответственной работы Григория Захаровича Елисеева, но Даниельсон категорически возразил:

— У него слишком много дел в редакции «Отечественных записок». Не возьмется.

— Да если и возьмется — слишком затянет перевод, а нам нужно в будущем году выпустить русский «Капитал» в свет. А посему придется вам, други мои, заканчивать этот труд. Для ускорения дела Любош переведет первую, а Фриц — последние главы. Я отдаю вам все,

что успел сделать. Полагаю, справитесь — самое трудное позади, сложнейшая экономическая терминология Маркса — *обрусела,* легла на карточки. Берите их и пользуйтесь...

Други переглянулись, помолчали, согласились.

Писать об этом Марксу, пожалуй, преждевременно. Вот когда Даниельсон сдаст рукопись издателю Полякову, тогда и порадует автора. А вот о весьма полезной встрече с Берви-Флеровским сообщить надобно. Василию Васильевичу было очень приятно услышать весьма лестный отзыв о его книге самого Маркса, и он охотно согласился подготовить для автора «Капитала» специальное письмо о положении крестьян в России. Оно пригодится для дальнейшей работы. Условились: Василий Васильевич принесет пакет Даниельсону, и тот отошлет Марксу [67].

Лопатин протер очки, склонился над листом:

«Посылаю Вам несколько страниц «Philosophie Positive» с замечаниями о «Капитале». Мне сказали здесь, что «Этюды» Де-Роберти, о которых мы говорили, были посланы мне в Лондон несколько дней тому назад со статьями Чернышевского по крестьянскому вопросу [68]. Если Вы зайдете сами к моей квартирной хозяйке или пошлете кого-нибудь к ней с прилагаемой запиской, то она выдаст Вам эти книги.

На днях я сообщал Вам, что в «Архиве судебной медицины и гигиены» (русский медицинский журнал) была напечатана статья о положении рабочего класса в Западной Европе [69]. Статья основывалась на материале главным образом Вашей книги и имела несчастье вызвать неудовольствие правительства. Теперь она окончательно конфискована и предана сожжению, а так как журнал является в известной мере официальным органом, то главный редактор снят с должности.

Второй том произведений Лассаля в русском переводе также конфискован правительством, и никто не знает, будет ли он разрешен к продаже или нет. На обложке этой книги было напечатано сообщение о выходе в ближайшие месяцы «Капитала». Но даже и это невинное объявление, как мне передавали, не ускользнуло от бдительного ока правительственных чиновников. Главный цензор запросил издателя, не является ли «Капитал» произведением того самого Маркса, который играет такую видную роль в Интернационале, и если это так, то как он допустил подобное объявление? Несмотря на это, мой издатель (Н. П. Поляков. — *Н. К.*) надеется, что дело с «Капиталом» еще может уладиться к нашему общему удовольствию и мой труд не пропадет даром.

Флеровский говорит, что он уже давно написал специальную книгу об артелях и обращался с ней к ряду издателей, но все отказались ее напечатать. Он обещал изложить основные места этой книги в виде письма, достаточно короткого для перевода на английский язык.

Две недели тому назад редакторы ведущих русских газет были вызваны к главному цензору, и им было строго-настрого приказано не помещать ничего, направленного против Пруссии. Один из них, Загуляев, напечатал этот приказ в «Голосе». Он был немедленно арестован и сослан в одну из отдаленных губерний; даже его жена не знает точно, где он находится. Кроме того, у нас здесь ежедневно производятся новые аресты и, вообще говоря, общее положение настолько приятное, что я начинаю вполне искренне разделять Ваше мнение и мнение Генерального штаба (Ф. Энгельса—*Н. К.*) о необходимости войны с русским правительством, чтобы положить конец такому наглому поведению и ударом извне ослабить эту страшную силу.

На этом кончаю. Итак, до свидания!

Свидетельствую свое глубокое уважение Вам и Вашей семье.

Преданный Вам Л.

Привет г-ну и г-же Энгельс и маленькой Пумпс»[70].

2

Почетный гражданин, член Петербургского географического общества Николай Любавин снял со стены карту Восточной Сибири. Больше она здесь не понадобится. Из Иркутска надо уезжать.

За окном неожиданно резко заскрипел снег. Любавин встал, хотел подойти к окну, но дверь распахнулась, и в комнату влетел полицмейстер Иркутска полковник Бориславский. За ним неслышно проскользнул домовладелец Чурин. И сразу же испуганно заохали половицы под тяжелыми, пахнущими дегтем сапогами жандармских унтер-офицеров Ижевского и Черкесова.

— Что означает сие бесцеремонное вторжение? — сердито спросил Любавин.

— Приступайте к обыску! — распорядился полицмейстер. — Начинайте со стола.

— Как вы смеете! Я — потомственный почетный гражданин. Я буду жаловаться.

— В Петербургское географическое общество или в Третье отделение? — усмехнулся Бориславский. — Не отвлекайте нас от срочного дела. Попрошу бумажник.

Любавин покачал головой, вытащил из потайного кармана пухлый бумажник. Из жилета извлек вместе с носовым платком клочок бумаги и ловко проводил в рот.

— Что жуешь? Выплюнь! — закричал Бориславский.

Любавин с трудом проглотил противную, пахнущую чернилами бумагу, сказал укоризненно:

— Вы плохо воспитаны, полковник. Я не могу плеваться в присутствии столь почтенных посетителей.

— Что ты слопал? Все равно узнаю. Брюхо вспорю...

— Мятную конфетку из лавочки Базанова. А вы грубиян, полковник. Ведь я с вами весьма вежливо разговариваю.

— Ижевский! Выверните у него карманы. Проворонили.

— Так вы же сами изволили приказать — «начинайте со стола».

— Не отвлекайтесь. Действуйте!

У рослого, сильного, старательного Ижевского был солидный опыт. Не прошло и пяти минут, как Любавин был упорно и жестко ощупан с ног до головы и все извлеченное выложено на стол.

За это время Бориславский успел рассортировать изъятые из стола и бумажника документы и по достоинству оценить их. Хитро щуря мутноватые, покрасневшие глаза, спросил:

— Кто же вы будете, «почетный гражданин»: отставной прапорщик Грибоедов, сербский студент Ракич, отставной подпоручик Скирмонт или кандидат наук Болимасов?

— Я — кандидат наук Любавин.

— Ишь ты — Лю-ба-вин... Люба-люба, да не мне. Вспомните-ка хорошенько, может вы — беглый ссыльный Герман Лопатин? Что молчите?

— Я уже сказал — Любавин.

— Зря упорствуете. У вас есть еще пока время все обдумать, а нам — все поставить на свои законные места.

Подошел Ижевский, робко напомнил:

— Пол и печку будем трогать?

И тогда вмешался угрюмо наблюдавший за унтерами Чурин:

— Помилуйте, ваше высокоблагородие. Поломают, исковеркают, а как мне жить? И так хлопот не оберешься.

Борисла́вский устало махнул рукой:

— Не трогайте. Похоже, все налицо. Даже револьвер. Сейчас быстренько составим опись при сем обнаруженных вещественных доказательств и отведем этого почетного гражданина на почетное место — на главную гауптвахту...

Полицмейстер Борисла́вский послал специальное донесение генерал-губернатору Восточной Сибири Н. П. Синельникову. 5 февраля 1871 года в С.-Петербург министру внутренних дел А. Е. Тимашеву была отправлена секретная депеша:

«Иркутский полицмейстер при донесении от 4 февраля за № 33 представил ко мне:

а) дознание, произведенное им о неизвестном человеке, называющем себя потомственным почетным гражданином Николаем Любавиным, и в особом запечатанном куверте разные документы, найденные у Любавина при обыске, произведенном 1 февраля, и при том объяснил, что Любавин прибыл в Иркутск 5 января нынешнего года и остановился в гостинице «Амур», а потом через три дня занял особую квартиру в доме чиновника Чурина. С самого приезда своего в Иркутск Любавин повел таинственную жизнь и под разными предлогами уклонялся предъявить свой паспорт, давал по этому случаю владельцу дома Чурину различные ответы. Все это заставило полицию обратить на Любавина особенное внимание и учредить над ним секретный надзор. Между тем до сведения полиции дошло, что фамилия Любавин, которую этот неизвестный человек принял здесь в Иркутске, вымышленная, и что настоящая его фамилия

Лопатин, по званию студент или кандидат естественных наук С.-Петербургского университета, был прикосновен к делу о Каракозове и от суда освобожден, а по другому делу сослан в Ставрополь, где состоял на службе; по делу о Нечаеве был арестован, но в 1870 году бежал за границу. В Сибирь приехал с той целью, чтобы дать средства государственному преступнику Чернышевскому бежать с места ссылки. При обыске, произведенном у Любавина по этому поводу 1-го февраля, найдены документы на Грибоедова и Скирмонта и заграничный сербский паспорт Ракича, что некоторым образом оправдывает предположение о цели приезда Любавина в Сибирь...

Ко всему этому долгом считаю присовокупить, что Любавин содержится под стражей на главной гауптвахте, а найденные при нем деньги, всего 860 рублей 50 копеек, впредь до распоряжения хранятся у полицмейстера»[71].

Эту депешу министр внутренних дел А. Е. Тимашев направил «для прочтения» главному начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютанту графу П. А. Шувалову.

3

...Арестованный Любавин—Лопатин мучительно долго думал о том, кто виновен в провале так успешно начатой операции. Прежде всего, придирчиво и строго проверил самого себя, мысленно проделав длиннейший и труднейший путь от Петербурга до Иркутска. И не обнаружил за собой ошибок, которые могли бы обернуться вот такой бедой. Да и в самом Иркутске довольно легко и убедительно разыгрывал роль молодого ученого, члена Петербургского географического общества. Един-

ственный просчет — задержался почти на месяц, но ведь нельзя было двигаться дальше, пока не удалось от разных лиц раздобыть точные сведения: где в настоящий момент находится государственный преступник Чернышевский, кто его охраняет, каков тюремный режим, кто может оказать содействие и по какой дороге легче всего уйти от погони. Во многом помог проживающий в Иркутске бывший каторжанин Сергей Стахевич. Он хорошо знал Чернышевского по заточению в Александровском заводе и даже дружил с ним до самого дня отъезда на поселение. По обстоятельным и весьма конкретным рассказам Стахевича удалось нарисовать план смежных камер и постов охраны. Его пришлось проглотить при обыске, как единственную, но весьма неприятную улику.

Проверив самого себя, Лопатин стал с той же строгостью проверять своих товарищей-соучастников; Даниельсона, Любавина, Билибина. Вроде бы все они умеют «держать язык за зубами» и не выдадут друга даже под следствием, под пыткой. Менее близок и не испытан временем сын надворного советника, отставной подпоручик Николай Алексеевич Грибоедов. Да и осведомлен, пожалуй, он лучше всех: вместе разрабатывали план спасения на основе им же собранных ценнейших сведений о государственном преступнике Чернышевском, его семье и режиме на сибирской каторге. Как ни прикидывай — соучастник, передавший свои документы, не может быть предателем. Вероятнее всего — осведомительная телеграмма пришла в Иркутск из Швейцарии. Виноват во всем Элпидин. Вокруг него всегда крутятся-вертятся заграничники, и среди них под маской революционеров могут быть и прохвосты — агенты III отделения. Явно подозрителен усердно подслушивающий и выпытывающий все эмигрантские новости проныра и подлиза Горлов. Любитель прихвастнуть, ошеломить слушателей Михаил Элпидин на дружеской пирушке не

вытерпел и по-глупому, по-бабьи рассказал все, что знал о сибирской экспедиции. И остановившись на этой весьма вероятной догадке, Лопатин стал обдумывать свою линию поведения на предстоящих длительных и тяжелых допросах. Вот как все глупо, гнусно повернулось: хотел вызволить Чернышевского, а приходится спасать самого себя. Кого-то назначат следователем, с кем-то придется вести «словесную войну»?

...Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. П. Синельников «в силу исключительной важности дела» для производства следствия назначил начальника отделения по надзору за политическими преступниками подполковника Купенкова. Было оговорено — при сем присутствует жандармский штаб-офицер полковник Дувинг.

Допрашивали каждый день. Две недели Лопатин скрывал свое имя, назывался Любавиным. Предал начальник амурского телеграфа Ларионов, показавший, что он узнает в Любавине знакомого по Санкт-Петербургскому университету Германа Александровича Лопатина. Пришлось отказаться от старых показаний и рассказать о себе всю правду, утаив главное: зачем приехал в Сибирь. Следователь Купенков и активно помогавший ему Дувинг не могли заставить арестованного признаться, что он появился в Иркутске с целью «содействовать Чернышевскому бежать за границу».

В двадцатидвухдневном словесном поединке победу одержал Лопатин. Иркутский губернатор генерал-лейтенант К. Н. Шелашников 23 февраля 1871 года телеграфировал шефу жандармов П. А. Шувалову:

«Дело о Германе Лопатине окончено. Его виной является побег из-под следствия за границу, возвращение оттуда и проживание с чужими паспортами. Не сознался в намерении содействовать Чернышевскому бежать за границу. Улик нет. Не имея сведений о ставропольской подсудности и степени участия его в нечаевском деле,

полагал бы дело и самого Лопатина отправить в Петербург»[72].

Всесильные жандармы III отделения растерялись и долго не могли решить вопрос, что делать с Лопатиным, как пресечь его вредную, хотя фактически и не доказанную, антиправительственную деятельность. В Министерство внутренних дел был направлен специальный доклад:

«Герман Лопатин умен, с большими способностями, характера твердого, настойчивого, предприимчив, умеет расположить тех лиц, которые ему нужны. Вместе с тем натура его кипучая, требующая деятельности, но деятельности в противоправительственном духе, так как во всех его действиях и даже в письменных объяснениях весьма рельефно проглядывает ненависть к правительству и настоящему порядку в России. Поэтому невольно возникает вопрос, что делать с подобным человеком: предать его суду, — но, по бывшим примерам, суд, по всей вероятности, определит ему весьма незначительное наказание, собственно за побег и фальшивые документы, и не обратит никакого внимания на вредную его политическую деятельность, как фактически не доказанную. Затем Лопатин будет свободно продолжать эту деятельность и, разумеется, в усиленном размере, как человек, ожесточенный преследованием. Подвергнуть Лопатина продолжительному аресту без суда едва ли удобно. Наконец, остается выслать его административным порядком под надзор полиции. Но в настоящее время весьма трудно выбрать для этого такой пункт, где бы Лопатин был возможно более изолирован, что крайне было бы необходимо, так как, из сопоставления многих обстоятельств, нельзя предполагать, чтобы Лопатин вообще действовал сам по себе, отдельно»[73].

Только 7 апреля генерал Мезенцев распорядился предать Лопатина суду в Иркутске за последнее преступление и известить, какой последует приговор.

...Герман Лопатин хорошо знал законы государства Российского и мог бы успешно справляться с должностью юриста, если бы не питал к ней острое отвращение. Известие о предстоящем суде не испугало узника — по существующему законодательству за использование чужих документов и жительство не под своей фамилией полагается денежный штраф с последующим освобождением из-под стражи.

Следователь Купенков и жандармский полковник Дувинг тоже знали законы и не могли вот так запросто выпустить такую «крупную птицу», как Герман Лопатин, на волю. И хотя в предписании генерала Мезенцева было сказано: «судить за последнее преступление», ретивые стражи престола решили присовокупить к делу Лопатина его побег из ставропольской гауптвахты. По настоянию Дувинга Иркутский окружной суд в конце апреля послал в Ставрополь запрос — «вышлите сведения об обстоятельствах побега Лопатина с гауптвахты».

Ответа не получили.

В мае послали второй запрос на имя ставропольского губернатора.

Сведения не поступали. Старые, добрые товарищи Лопатина, служившие в губернской канцелярии, «не давали ходу» бумагам, которые могли бы повредить их общему другу.

А время шло. Лопатина по-прежнему содержали под усиленной охраной в секретном одиночном заключении при жандармских казармах. Тоскливые, томительные, длинные дни-близнецы. Запрещено разговаривать, читать, писать. Прогулки разрешены по двору «на предмет посещения ретирадного места», как выразился Дувинг. Туда — в сопровождении жандарма и обрат-

но — при том же окаменело-молчаливом спутнике. Единственная отрада — передачи от друзей, которых успел завести в холодном, хлопотном, тревожном январе. Чаще от женщин. И особенно дороги коротенькие, милые, пахнувшие тонкими духами записочки без подписи, но почерк знаком — принесли из сиропитательного дома от «прекрасной панночки» Наталии Сергеевны де Латр. Строго храня тайну, присылал тощие пакетики, в толстой газетной упаковке, опальный ученый, талантливейший публицист Афанасий Прокофьевич Щапов. Не в унылые «Иркутские губернские ведомости» заворачивались оранжевые пирожки, испеченные добросердечной Ольгой Ивановной, а в солидные, излагающие события в мире политическом «Санкт-Петербургские ведомости». Упаковочка с глубоким смыслом! Лопатин не спеша, бережно разглаживал газету и прочитывал все, вплоть до объявлений. С опозданием, но все-таки узнал о восстании рабочих в Париже, затосковал по настоящему, жаркому делу и решил — бежать! Опираясь на законные основания, стал требовать перевода из жандармской одиночки в тюремный замок. Окружной судья нашел доводы подследственного весьма основательными и запросил Купенкова: нет ли у него каких-либо независимых от дела сведений, которые бы воспрепятствовали переводу Лопатина из одиночки? Осторожный и хитрый Купенков ответил: Лопатина необходимо попрежнему содержать под стражей «в секретном одиночном заключении при жандармских казармах». Узнав об этом, Лопатин написал жалобу иркутскому генерал-губернатору К. Н. Шелашникову, который после долгого раздумья послал телеграфный запрос в столицу шефу жандармов.

Лопатин решил самостоятельно, не полагаясь на милость начальства, выбраться из непереносимо тягостной жандармской одиночки.

3 июня дежурным по жандармской команде был назначен ревностный и тупой служака унтер-офицер Ижевский.

Лопатин ладил со всеми младшими чинами конвоя, кроме Ижевского, люто возненавидевшего его с памятного дня ареста. Вот в его дежурство и надо бежать. Удача арестанта приведет к отстранению от службы Ижевского.

День был жарким. После сытного обеда стражники отяжелели и осовели. Лопатин попросился у дежурного в «ретирадное место». Ижевский вызвал конвойного, распорядился:

— Проводи в нужник.

Не спеша прошли по двору. Лопатин покосился на конвойного, посоветовал:

— У меня живот расстроился, так ты, братец, мою музыку не слушай.

— Оно понятно, оно ни к чему, — согласился сопровождающий и остановился на приличном для такого случая расстоянии.

Лопатин зашел в ретирадник, гулко хлопнул дверью и сразу же тихонько приоткрыл ее и посмотрел во двор. Конвойный стоял спиной и старательно свертывал цигарку.

Лопатин выскочил из ретирадника и, не оглядываясь, побежал к забору — высокому и довольно крепкому. Лопатин с ходу прыгнул, уцепился, подтянулся и, перелетая через забор, нечаянно стукнул ногой о сухую, звонкую доску. Упал. Обо что-то твердое ушиб колено. Услышал топот тяжелых сапог на той стороне и побежал к Сенной площади. Обрадовался — никого нет! Пересек площадь и свернул на Ланинскую улицу. За ней спасительная роща.

Оглушительно резко ахнул выстрел. Лопатин оглянулся. Увидел кричавшего конвойного. Побежал быстрее.

Споткнулся о камень. Сорвались и упали в дорожную пыль очки. Ругнул самого себя: «Надо было привязать, ворона!» Рукавом вытер очки, нацепил и услышал за спиной нарастающий тяжкий копытный топот. И злой, высокий голос:

— Стой, сатана! Не уйдешь. Стой!

Задыхаясь от жары, тяжело дыша, Лопатин повернул голову и увидел в серой пыли рослых, рыжих, скачущих на него коней. Понял: до рощи не добежишь — раздавят. Прижался к зеленому палисаднику. Услышал злобно-торжествующее:

— А, попался, варнак! Зарублю на месте!

Лопатин осмотрелся. Ничего подходящего для защиты. Рванул из палисадника увесистый березовый колышек.

Осаженная сильной рукой, взрывая землю, остановилась грузная лошадь. Лопатин вскинул голову, увидел искаженное, красное лицо Ижевского и занесенную нестерпимо белую саблю. Стремительно отпрянул в сторону и прикрыл голову поднятым колышком. Удар был таким свирепым, что в руке Лопатина осталась короткая палка. Второй удар отразить нечем. Вжимает в забор, тяжко топчется у самых ног лошадь. И, желая остановить, оттолкнуть ее, Лопатин ткнул в шею остро срезанным концом палки. Лошадь взметнулась на дыбы. И сразу же Лопатин услышал знакомый гневный голос унтер-офицера Фомы Черкесова:

— Не тронь, душегуб! Берем живого!

— Пусти, Фома! Я его в момент отсужу.

— Остепенись, дурак! Побойся бога!

Бога Ижевский боялся. Вложил саблю в ножны. Собралась толпа. Какая-то сердобольная женщина пожалела:

— И зачем доброго человека мучаете! Ни стыда, ни совести!

Голос кажется знакомым. Конвойный дернул за рукав:

— Пошли, пошли, рысак...

...В тот же день изрядно напуганный полковник Дувинг приказал перевести Лопатина в одиночную камеру Иркутской тюрьмы.

Последовали многочисленные донесения о «покушении на побег». Дошла весть до столицы. Помощник начальника III отделения граф Н. В. Левашев послал иркутскому губернатору распоряжение: усилить надзор за Лопатиным, «дабы предупредить могущие быть с его стороны новые попытки к бегству».

5

...Дело Германа Лопатина окружной суд рассмотрел 15 июля 1871 года и приговорил его к ссылке в Якутскую область.

Лопатин обжаловал решение окружного суда. 10 августа губернский суд вызвал обвиняемого «на предмет» пересмотра его дела. Лопатин, используя положения законов, доказал необоснованность принятого ранее решения. Губернский суд отменил приговор окружных судей, действующих по указаниям жандармского полковника Дувинга. По единственному доказанному обвинению в использовании чужих документов и жительстве под чужой фамилией Лопатин «подвергался» штрафу в сумме 100 рублей. Суд признал, что приписываемое обвиняемому подозрение в том, что он приехал с целью освободить государственного преступника Чернышевского, ничем не подтвердилось, почему и следует Лопатина «по сему предмету от суда освободить». По решению суда Лопатину должны были вернуть изъятые деньги, валенки и даже револьвер. Заканчивалось решение суда пунктом, принятым по требованию

жандармского полковника Дувинга и перечеркивающим все предыдущие параграфы:

«Ввиду распоряжения графа Левашева Лопатина не освобождать, оставив в Иркутском замке вплоть до его распоряжения»[74].

Ничего не изменилось — Лопатин оставался в одиночной камере «под строжайшим присмотром».

Лопатин обращался к гражданскому, а затем военному губернаторам с требованием освобождения из тюрьмы. Отказали. В ноябре 1871 года Лопатин пересылает через губернского прокурора обстоятельное письмо генерал-губернатору Восточной Сибири Н. П. Синельникову, в котором с исчерпывающей ясностью доказывает беззаконие иркутской губернской администрации, «совершенно не гармонирующее с общим духом современного государственного управления, помимо уже того, что оно составляет настоящую жестокость».

Ярый поборник соблюдения законов Российской империи, «Длинный генерал», как его звали в народе, Николай Петрович Синельников, прочитав блестяще аргументированную жалобу Лопатина, оставил все текущие дела и направился в Иркутский замок. Тюремщики всполошились, ожидая строгой проверки и начальствующего «нагоняя», но генерал-губернатор Восточной Сибири посетил только одну одиночную камеру — Германа Лопатина и пробыл в ней более двух часов. Синельникова поразила общая образованность, редкая юридическая осведомленность и довольно глубокие познания практики губернской деятельности у его собеседника. На прощанье губернатор с горечью сказал:

— Вы могли бы управлять губернией, а сидите в тюрьме. Скверно распорядились своими талантами, кандидат наук.

На следующий день Лопатина перевели в общую камеру. Довольно быстро подружился с новыми това-

рищами. В стороне держался только закоренелый преступник, полжизни проведший в тюрьмах, Паклин.

29 августа в камеру совершенно неожиданно нагрянул караульный офицер в сопровождении 12 конвойных. Все перевернули, перетрясли, ушли.

Мудрый, много раз нещадно битый, не признающий ни бога, ни черта, ни царя, Василий Шишкин тихонько сказал Лопатину:

— Похоже, что корыстолюбивое воинство хочет исподтишка в твой карман нагадить. Видел, как сатана Паклин вокруг да около караульного вился. Не к добру. Берегись, миляга.

Василий Шишкин угадал: не прошло и двух часов, как за Лопатиным пришли «голубые» и отвели в жандармское управление. Торжествующий, начищенный и надушенный полковник Дувинг радостно объявил Лопатину, что при обыске в его книге обнаружен порошок сулемы, а под кирпичом в печке найдены: пилка-ножовка, заостренный кусок стали и два гвоздя. Сообщил о тайнике смотрителю арестант Паклин.

— И вы поверили такому прохвосту? — возмутился Лопатин. — Ведь он собственную мать отравил!

— Прошу без восклицаний! Это к делу не относится. Вот налицо вещественные доказательства. Пишите объяснение—о попытке отравления караула в момент свершения побега.

— Ничего вы *не заработаете* на этой подлой арестантской шутке, господин Дувинг.

— Думайте о том, что *вы заработали*...

Так появилось «Дело о попытке отравления караула арестантом Лопатиным». За неделю оно разбухло до ста листов.

Отвергая вымыслы жандармов, Герман Лопатин писал губернатору Н. П. Синельникову:

«...Я могу иметь некоторые теоретические убеждения, не вполне согласные с общепринятыми взглядами на вещи, которые правительство может находить ошибочными и даже вредными и которые не раз приводили меня в столкновение с положительным законом, не всегда представляющим собою точное воплощение отвлеченной справедливости; но моя совесть не подсказывает мне ни одного бесчестного поступка, ни одной низости, и я полагаю, что ни шеф жандармов, ни кто бы то ни было другой, знакомый с моей предыдущей подсудностью, никогда не отыщут в ней ни одного обстоятельства, которое могло бы бросить хотя тень бесчестия на мое доброе имя и мою доселе не запятнанную честь»[75].

Оклеветавший Лопатина арестант Паклин, в знак благодарности, был освобожден из тюрьмы.

В Петербург ушло донесение о попытке отравления караула арестантом Лопатиным.

Всю осень Лопатин отстаивал свое право освобождения из тюрьмы.

Накануне Нового года Лопатина навестил полицмейстер А. И. Бориславский и сообщил, что шеф жандармов разрешил временно освободить Лопатина из-под стражи с воспрещением выезда из Иркутска и с подчинением его строгому полицейскому надзору.

— Распоряжение получено шестнадцатого ноября, а сообщаете в конце декабря,— наугад назвал число Лопатин. — Странные порядки.

— Распоряжение получено не шестнадцатого ноября, а несколько позже, но не в этом суть. Строжайший полицейский надзор не гарантирует вас от побега. Удерете, видит бог, удерете. Отвечать мне придется...

Лопатин махнул рукой:

— Хватит вам издеваться. Не могу я больше сидеть под замком. Честное слово, не побегу...

— Ловлю на слове. Вот бумага. Давайте подписку: я, нижеподписавшийся коллежский секретарь... и тому подобное.

Пришлось Лопатину написать, что обязуется «не выезжать из Иркутска без разрешения полиции».

— Вот и хорошо! Я вам верю. Дворянин! Новый год будете встречать у полковника Бельцова. Он считает вас весьма порядочным человеком и очень интересовался исходом ваших многочисленных прошений.

— Порядочные люди и считают меня порядочным. Вполне естественно...

6

Судьба Германа Лопатина глубоко волновала Карла Маркса и его семью.

В ответ на запрос Маркса Н. Ф. Даниельсон 11 мая 1871 года сообщил:

«...„Наш друг" находится сейчас в очень трудном положении — более худшем, чем когда уезжал отсюда. Впрочем, надежда его не покидает. Подробности позже»[76].

Маркс, не поняв намека Даниельсона об аресте Лопатина, послал 13 июня письмо, в котором советовал:

«Наш друг *должен вернуться в Лондон* из своей торговой поездки. Корреспонденты той фирмы, от которой он разъезжает, писали мне из Швейцарии и других мест. Коммерческое предприятие *потерпит крах*, если он отложит свое возвращение, и сам он навсегда потеряет возможность оказывать дальнейшие услуги фирме. Конкуренты фирмы уведомлены о нем, ищут его и заманят его в ловушку своими интригами»[77].

Даниельсон ответил 20 июня:

«...Вы говорите, что „наш друг" должен вернуться к Вам в Лондон. Да, он так бы и сделал, если бы мог,

но он этого сделать не может. Уже около месяца, как мы не имеем от него никаких сведений. Торговая экспедиция обанкротилась, и его задержали за долги. На следующей неделе я сообщу Вам некоторые подробности»[78].

Не имея достоверных сведений о Лопатине, его лучший друг Петр Лавров 7 августа просил Фридриха Энгельса:

«...Не имеет ли Уильямс (Маркс. — *Н. К.*) известий о нашем больном путешественнике, судьба которого меня так интересует? Если он получит какие-либо сведения, умоляю его сообщить мне».

Через два дня Энгельс сообщил Лаврову:

«...За последнее время от больного путешественника мы не имеем известий; но нашли возможность надежным путем переправить письмо в Петербург и надеемся вскоре получить более подробные сведения, о которых мы настойчиво просили»[79].

Не скрывает тревоги за судьбу своего ученика Элеонора Маркс в письме к Даниельсону 23 января 1872 года.

«...Мы начинаем очень сильно тревожиться о нашем «общем друге». Тот интерес, который мы все к нему испытываем, заставляет нас весьма опасаться за него. Увы, зачем он покинул тогда Англию. Вот уже несколько месяцев, как мы о нем имели сведения, и последние сообщения были не утешительны»[80].

Весть о том, что Лопатин освобожден из тюрьмы и находится под надзором полиции, обрадовала Маркса и его близких. 28 мая 1872 года Маркс писал Даниельсону:

«Известия, которые Вы сообщили о нашем *общем друге*, очень обрадовали меня и мою семью. Немногих людей я так люблю и уважаю, как его»[81].

Николай Даниельсон внес этот абзац Маркса в письмо к Герману Лопатину. Теплые, дружеские слова

Карла Маркса ускорили решение Лопатина бежать на волю. Об этом, иносказательно, Лопатин сообщил Даниельсону, а тот передал в Лондон Марксу:

«„Наш общий друг" просит сообщить Вам, что все мелкие вещи, оставленные им у Вас, он рассматривает как залог своего обязательства появиться у Вас и постарается в скором времени исполнить это свое намерение» [82].

7

8 июня 1872 года Герман Лопатин прочел в «Иркутских губернских ведомостях» обрадовавший его приказ генерал-губернатора Восточной Сибири: «С 30 мая командируется чиновник особых поручений при иркутском общем губернском управлении, коллежский асессор Заборовский, к исправлению должности иркутского полицмейстера».

Значит, слухи о повышении в должности Борисловского и отъезде его в Петербург подтвердились. Честное слово, которое он дал Борисловскому накануне освобождения из тюрьмы, потеряло свое значение. Последнее препятствие исчезло.

В ночь с 2 на 3 августа Герман Лопатин на легкой лодке-«душегубке» уплыл вниз по Ангаре. Исчезновение обнаружили только через пять дней. Беглеца искали в городе и в окрестностях. Не нашли. О побеге Германа Лопатина были посланы телеграммы енисейскому, томскому, тобольскому, пермскому, казанскому и нижегородскому губернаторам. Срочно размножили фотографии бежавшего и с его приметами разослали по всем путям, по всем трактам Сибири. Опасаясь, что Лопатин может «похитить» Н. Г. Чернышевского, в Вилюйск был послан «для личной охраны» унтер-офицер Ижевский. Генерал-губернатор Восточной Сибири команди-

ровал в Вилюйск специальнюго высокопоставленного чиновника князя Голицына для предотвращения вероятной попытки Лопатина «увезти» Чернышевского.

6 сентября 1872 года Герман Лопатин был схвачен в Томске. Арестованному удалось с этапа послать письмо Н. Ф. Даниельсону. Прежде чем уничтожить «явную улику», Николай Францевич решил ознакомить с беспримерной экспедицией Карла Маркса:

«...„Наш общий друг", между прочим, пишет:

Друзья, не знаю, известно ли вам, что в ночь со второго на третье августа я покинул Иркутск, чтобы больше туда не возвращаться. Но... после десяти неудавшихся попыток путешествовать комфортабельно я наметил план, на который мои друзья смотрели, как на безумный. Этот план требовал от меня смелости, физической силы, выдержки, крепкого здоровья и еще раз смелости...

Раздобыв ружье, я отправился на двухвесельной лодке (душегубке) вниз по Ангаре. Я греб изо всех сил, так что делал по 70, 80, 100 и даже 120 верст в один день. Ночи я проводил либо на островах, либо в прибрежной тайге, а затем и в глухих деревушках. Питался я либо взятой с собой провизией, либо тем, что добывал своим ружьем, либо черным хлебом, который покупал. Целые дни я проводил под лодкой, укрываясь от ливней. Я выступал под разными именами и профессиями. Счастливо миновав все знаменитые пороги Ангары, пройдя средн оглушающего шума воды, окруженный огромными волнами, окатывавшими мою лодку снизу доверху, между скал, которые возвышались со всех сторон, я достиг наконец реки Енисея, проделав за 24 дня 2500 верст. Тут я решил пробраться через тайгу на так называемый Староачинский тракт. Мне довелось в течение короткого времени встретить свежие следы не менее десятка медведей; мучимый всевозможными насекомыми, я благополучно добрался до Западной Сибири и 2 сентября был уже в Томске... 6 сентября я был арестован среди бела дня на главной улице...

Когда подумаю, что я мог теперь быть в Лондоне!.. О чем я еще очень сожалею, так это о своем дневнике, который я вел во время моего путешествия и который, наряду с некоторыми юмористическими заметками, содержал много записей, касающихся географии, этнографии, филологии, естествознания, политической экономии, политики и т. д.

Он находится теперь в Иркутске» [83].

В ответном письме 12 декабря Маркс сообщил Даниельсону, что «судьба нашего милого „общего друга" глубоко волнует всю мою семью. У меня есть план помочь ему — дипломатическим путем из Константинополя. Может быть, это и удастся» [84].

Получив это письмо, Даниельсон сразу же ответил Марксу:

«...Вы хотите хлопотать за „нашего общего друга", используя дипломатические каналы. Мне кажется, однако, что всякое ходатайство, исходящее не от родных,— и тем более от иностранцев,— в состоянии ему только повредить, так как оно *может придать* данной личности *особую важность* в глазах правительства. Но это зависит от средств, какие вы хотите применить для этого» [85].

Маркс заверил Даниельсона:

«Относительно общего друга. Вы можете быть уверены, что если я предприму какие-либо шаги — пока я все еще ожидаю некоторых сведений по этому вопросу из Константинополя,— то они будут такого характера, что не скомпрометируют его или еще кого бы то ни было» [86].

...Об этой переписке «общий друг» ничего не знал. Он сидел в одиночной камере Иркутского тюремного замка. Ходил на допросы, писал объяснения и ждал суда. Иногда к нему наведывался сам генерал-губернатор Восточной Сибири Н. П. Синельников. Он одним из первых прочел путевые заметки Лопатина, нашел в них для себя много полезных сведений и рекомендовал их для ознакомления Иркутскому географическому обществу. «Длинный генерал» старательно убеждал Лопатина оставить бесплодную борьбу с правительством и заняться созидательной работой по великому преобразованию дикого и богатейшего края Восточной Сибири. Лопатин слушал внимательно умного,

имеющего богатейший жизненный опыт собеседника, не скупился на советы и предложения и довольно откровенно и метко охарактеризовывал крупных чиновников, судей, купцов. И эта беспощадная и справедливая откровенность очень нравилась генерал-губернатору, и он обещал обратиться к самому государю императору с ходатайством о помиловании Лопатина и предоставлении ему права жить и работать в Иркутске. Поощрительно и доверчиво улыбаясь, Николай Петрович сказал:

— Государь весьма наслышан о моей пятидесятилетней безупречной службе на благо Российской империи и, весьма вероятно, благосклонно отнесется к моим хлопотам. Вы будете моим помощником, а потом и воспреемником всех моих добрых дел и начинаний на посту генерал-губернатора Восточной Сибири.

Такой щедрости Лопатин не ожидал:

— Весьма благодарен, ваше превосходительство. Однако должен в таком случае открыться до конца и поведать вам о моем намерении спасти великого русского писателя и философа Николая Гавриловича Чернышевского. — И Лопатин рассказал о своем плане «Сибирской экспедиции», ни словом не обмолвившись о своих товарищах-сообщниках.

Синельников выслушал внимательно и подытожил разговор ободряющим Лопатина выводом:

— Я догадывался, что вы приехали не для того, чтобы стать мелким служащим в недосягаемом для жандармских глаз сибирском пространстве. Вы явились с гуманной целью — украсть Чернышевского. Подчеркиваю — *украсть*! Я видел Чернышевского 18 декабря 1871 года, когда он останавливался на два дня передышки по пути в Вилюйск. Вы в это время «выкарабкивались» из тюрьмы на свободу. Естественно, пришлось вас задержать на некоторое время в камере.

Знаете, подальше от греха. Вы могли в пути перехватить и утащить Чернышевского. Да, да, не удивляйтесь — утащить, ибо на самостоятельный побег он не способен. Каторга сломила его физические силы. Мои попытки склонить Чернышевского на ходатайство перед государем императором о помиловании были решительно отвергнуты этим гордым, непостижимым моему разуму человеком. Мне кажется, что Чернышевский по своему духовному состоянию уже не опасен для Российской империи. Это убеждение дает мне право ходатайствовать о смягчении его образа существования.

Генерал-губернатор Н. П. Синельников сдержал свое слово: обратился в Петербург с прошением о прекращении дела Лопатина, его скорейшем освобождении с оставлением на жительство в Иркутске. Одновременно Синельников ходатайствовал о назревшей необходимости облегчить участь давно отбывшего срок наказания Н. Г. Чернышевского, разрешив ему свободное проживание в городе Якутске.

12 апреля 1873 года начальник III отделения собственной его императорского величества канцелярии сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири Синельникову:

«Вследствие письма вашего превосходительства от 27 февраля имею честь уведомить, что Государь Император не соизволил на прекращение дела о побеге из Иркутска с чужим видом Германа Лопатина, предосудительный образ действий которого памятен его превосходительству. При этом Государь Император изволил выразить, что когда состоится судебный приговор, то тогда можно будет предоставить Его Величеству о том облегчении, которое вы считаете возможным сделать для Лопатина» [87].

Ходатайство о переводе Чернышевского в Якутск было также отклонено.

Поблекший, угрюмый, явно недовольный таким решением Синельников лично сообщил Лопатину о «государевой воле» и выразил надежду, что приговор суда не будет столь жестоким, чтобы обращаться к императору о его смягчении.

Лопатин не надеялся на снисходительность судей. Он стал готовиться к третьему побегу.

3

Времени было достаточно, чтобы учесть ошибки и промахи двух побегов. Прежде всего, надо изменить наружность и сыграть с предельной выразительностью роль не барина, а мужика. И, конечно, не делать столь длительных остановок в крупных городах, лучше избегать их. Спрашивается, зачем, зачем он на пять дней задержался в Томске? Решил отдохнуть после страшного, утомительного, непомерно длинного пути — считай, только по Ангаре до Енисея, до высадки в Усть-Тунгуске «выгреб» 2000 старых «екатерининских» верст с гаком. Это только по воде, по гибельным ангарским порогам. А сколько было пройдено пешком! И вот надо же было остановиться у книжного магазина на главной улице Томска. Пожилой, знающий дело богатырь-полицейский намертво вцепился в рукав новенького костюма: «Попался, варнак! Пошли в участок». Пришлось разыграть роль оскорбленного, ни в чем неповинного проезжего доктора Кашина. Полицейский оказался на редкость упрямым. Собралась толпа. В ее сопровождении потащил полицейского к томскому губернатору Супруненко. Искренне возмущался, требовал охраны личности от произвола и насилия, угрожал

жалобами. А полицейский вытащил из кармана фотокарточку, наклеенную для сохранности на белую картонку, и прочел на обратной стороне:

«Приметы Германа Александровича Лопатина. Около 26 лет, рост 2 аршина 6 вершков, лицо круглое и чистое, волосы на голове, бороде и усах русые, борода небольшая, окладистая, волосы на голове зачесывает назад без пробора, глаза серые, близорук, носит очки, рот и нос небольшие, последний острый, походка скорая, говорит на «го» и несколько с малороссийским акцентом. Бросающихся в глаза примет нет».

Карточку передал губернатору:

— Все в аккурат сходится. Он, ей-богу, он, как есть Лопатин.

Фотография была скверной, да к тому же поистерлась от частого обозрения и потеряла сходство с оригиналом. Нетрудно было опровергнуть:

— Этот господин куда более похож на американского президента Линкольна, чем на меня. Ваше превосходительство, убедительно прошу вас прекратить это неслыханное издевательство. Вот мои документы.

Губернатор проверил паспорт, внимательно посмотрел на фотографию, пытливо сверил ее с оригиналом и, улыбаясь, сказал полицейскому:

— Вы ошиблись, голубчик. Ни малейшего сходства.

— Да ведь он из тайги приволочился, гнус и всякие прочие твари покусали, как хотели, вот и переменилась личность до неузнаваемости. И борода за месяц-то шибко прибавилась. А все остальное на месте. Видит бог, он и есть, иркутский беглый.

Губернатор покачал головой:

— Все это крайне неубедительно. Ступайте на свой пост.

— Не могу. Разрешите тайное слово молвить,— и полицейский что-то шепнул на ухо губернатору.

Верный служака выложил главный козырь — привел беглеца и губернатора в трактир к политическому ссыльному поляку Владиславу Сипневскому, который до выхода на поселение в Томск жил в Иркутске и встречался с Лопатиным. Увидев внезапно появившегося Лопатина, Сипневский ничего не сказал, но все предельно ясно рассказало его испуганное и изумленное лицо. Пришлось признаться:

— Ничего не поделаешь! Сорвалось!

Подумать только — такой изумительный, беспримерный побег оборвался из-за глупой самоуверенности! Конечно, Томска не миновать и в третьей попытке вырваться на волю. Войти в неотвратимый город нужно в новой роли и незамедлительно выйти... Впрочем, и начальство меньше всего будет искать беглеца в Томске — кто же возвращается к своей беде?

...10 июля 1873 года Германа Лопатина привели для очередного допроса в окружной суд. Губернский стряпчий Гореев указал подследственному на листок с вопросами, сказал:

— Извольте ответить елико возможно обстоятельнее и откровеннее,— и вышел.

Лопатин подвинул к себе лист бумаги. Было жарко. О стекло билась и нудно гудела крупная сизая муха. Лопатин подумал: раздавить или выпустить? Увидел: во двор въехал какой-то всадник, привязал лошадь к столбу и, не спеша, пошел к дому. Рыжая, гладкая, глянцевито поблескивающая на солнце лошадка нервно рубила копытами сухую землю, нещадно секла хвостом назойливых оводов и мух. Лопатин залюбовался: «Хороша бестия, породистая и в теле, в теле. А что если это божий дар? Редкий случай!» Встал, сказал конвойному:

— Ну и жара. Страшно хочется пить. В сенях видел ведерко. Разрешите утолить жажду.

— Да, палит нещадно. Пейте на здоровье.

Вода была холодной, чистой, вкусной. Лопатин зачерпнул полковшика, выпил, сказал:

— До чего же хороша! Родниковая! Попробуйте-ка.

Конвойный взял ковшик, наклонился над ведром. Лопатин выбежал во двор, рванул повод, вскочил в седло, ударил под рыжие бока каблуками, и лошадь понеслась. Свернул в переулок. Узкая дорожка вывела к лесопильному заводу. Тупик. Назад не повернешь — перехватят. Придется пробираться через склад — к речке Ушаковке. Лошадь неловко, боязливо перепрыгивала через бревна. Заметили пильщики, закричали:

— Ты чего, паря, носишься! Коня загубишь, дурак чертов! Костолом!

Не оглядываясь, поторапливая рыжую каблуками, с трудом удерживаясь в седле, Лопатин «допрыгал» до речки. Берег крутой, высокий. Брода не видно. Лошадь уперлась, и ни с места. Боится. Храпит. Проехал по берегу. Забор. Соскочил. Изо всех сил столкнул лошадь вниз:

— Пошла, рыжая бестия!

И сам не удержался, скатился под обрыв. Когда прыгал в седло, испуганно заметил — нет очков. Искать некогда. Погнал лошадь в воду. Противоположный берег низкий, заболоченный. «Рыжая бестия» прыгала по кочкам. Промахнулась, угодила в яму, повалилась на бок, придавив ногу. Бурлила, пузырилась темная торфяная вода. Лопатин огляделся — никого вокруг. Зад лошади медленно погружается в черную трясину. Ногу не вытащить. Какая дикая, страшная концовка столь удачного начала! Нащупал у седла плетку. Злясь на самого себя и на «рыжую бестию», сердито хлестнул ее наотмашь. Лошадь всхрапнула, напряглась, вынесла из ямы.

Лопатин выехал на проселочную дорогу, ведущую в лес, к знакомой каждому горожанину Веселой горке. К ней приезжали в праздники, пили, пели и плясали. По мягкой низкой траве лошадь бежала легкой рысцой. Сзади, от Ушаковки, донесся топот копыт и гул возбужденных голосов. Погоня! Лопатин поторопил коня. Знойный воздух ударил в лицо.

На лесной, обвитой крупными корнями дороге Лопатин придержал лошадь, прислушался. Где-то далеко невнятно кричали люди. Лопатин щелкнул поводом по мокрой шее лошади:

— Пошла, рыжая бестия, пошла!

У Веселой горки под поваленной бурей огромной сосной Лопатин нашел узел с одеждой. Спасибо друзьям — заранее доставили в условное место. Привязал лошадь. Сел на пень. Что делать? Уходить в глухую тайгу без оружия, провизии, спичек — нельзя. Погибнешь. Плыть через гибельные ангарские пороги второй раз и рискованно и опасно — будут ловить в каждой деревушке. Придется ехать медленнее, но вернее,— на телеге. Переждать тревожную полосу поисков и облав в Иркутске и тихонько плестись по ухабам тракта до самого Томска.

Лопатин переоделся в жестковатую, но прочную мужицкую одежду, спрятал свой костюм в том же тайнике, дождался темноты и не спеша поехал к Иркутску.

9

Лопатин выехал из леса. Почуял запах горящей хвои и серы. Сидящий у костра окликнул:

— Эй, парень, постой! Куда едешь?

— За постой деньги платят. Недосуг канителиться,— крикнул Лопатин и хлестнул лошадь. Донеслась ругань,

угрозы. Отъехал полверсты. Придержал лошадь, перевел на шаг. Тихо. Без очков да в темноте совсем ничего не видно. Вот сейчас оранжевое пламя заметил, а сколько человек у костра сидело, не рассмотрел. В городе пропадешь — на полицейского наткнешься и снова угодишь в тюрьму. Нужно поискать очки на месте падения — под обрывом. Только по горячему следу, должно быть, прошло много людей, и если не подобрали, то раздавили сапожищами. А вдруг улыбнется счастье? Надо попытаться...

Чья-то сильная рука схватила повод и осадила лошадь:

— Стой! Куда, откудова?

Лопатин догадался: засада, его ждали. Сказал спокойно, укоризненно:

— Что ты, братец, за коня цепляешься? Ночное время, а ты хватаешь. Нешто так полагается?

— Не крути! Кто такой?

Вмешался в разговор второй, с шепелявым сердитым голосом:

— Что с ним вожжаться! Сказано — задерживать проезжающих и шатающихся и тащить в участок. Там разберут.

— Тащить всегда успеем. Надо тут разобрать что к чему.

— Из Кедровки я,— придумал Лопатин.— Маманя к вечеру захворала. Съела что-то худое, а может, солнцем напекло. Рвет ее. Посинела вся. Ну я и вскочил на коня. Думал, напрямик скорее получится, да в темень-то заплутался. Сделайте божескую милость, люди добрые.

— Вот видишь, какой поворот, а ты — тащить!

Человек взял повод в левую руку, а правой прошелся от сапог до плеча. Шершавые сильные пальцы коснулись уха, щеки и резко пошли вниз.

«Одежду проверял, очки искал»,— догадался Лопатин и повторил как можно тоскливее и жалобнее:

— Что вы, люди добрые. Ведь там мои дохтора ждут. Кашин, говорят, шибко добрый дохтор...

— Поезжай, да заверни левее, а не то в лесопилку уткнешься...

— Спасибо! Дай бог тебе здоровья,— и Лопатин толкнул каблуками лошадь. Услышал:

— Опять ты свое — тащить. Ведь я его снизу доверху пощупал. Лопотина-то на нем деревенская и очков нет.

«Подумать только,— горько усмехнулся Лопатин.— Горе помогло».

Выехал к Ушаковке. Лошадь заупрямилась, в воду не пошла. Лопатин сполз на землю, похлопал по влажной шее, освободил от узды. Грустно улыбнулся. «Прощай, милейшая рыжая бестия. Надо бы тебя к столбу отвести, ведь хозяин горюет и меня ворюгой считает. Ничего. Завтра тебя найдет. Отдыхай, щипли травку...»

Не снимая одежды и обуви, Лопатин пошел через реку. Дно оказалось неровным, вязким и, хотя шагал осторожно, медлительно, тяжелые сапоги шумно булькали. На середине вода покрыла грудь. Не угодить бы в какую-нибудь яму, нырнешь и не вынырнешь из грязищи.

Выбрался. Вышел на чистый песок. Вылил воду из сапогов. Снял и отжал штаны. Ясно услышал:

— А я тебе говорю: кто-то здесь ходит. Явственно шаги слыхал.

— Тебе всякая ерунда кажется. Подумай здраво — ну зачем его сюда понесет?

Лопатин натянул штаны и тихо лег в высокую осоку.

Первый голос, басок:

— Кто-то шевелится. Пошли.

Перелезли через забор. Медленно прошли по берегу. Второй, с нескрываемой иронией, произнес:

— Показалось. Померещилось. Нет ему расчета сюда показываться. Слишком много знакомых.

Слева, за рекой заржала лошадь.

— Смотри-ка, конь! Здесь никогда кони не пасутся. Может, та самая? За лошадку хозяин заплатит.

Ушли. Лопатин вылез из остроперистой, ранящей руки осоки. Спасибо рыжей бестии, второй раз помогла. Надо искать ночлег. А кто примет беглого? Знакомых много, а настоящих друзей, пожалуй, нет. Был настоящий — полковник Василий Бельцев, уехал в прошлом году в Москву. Может, приютит Афанасий Прокофьевич Щапов, и живет он недалеко, на Харлампьевской улице, только в чужом доме — у дьякона Литвинцева. Нельзя хороших, к тому же неблагонадежных людей под удар ставить. А что если пойти к «вечному студенту» Фризе — вместе, правда недолгое время, весной прошлого года готовили к экзаменам детей купца-миллионщика Ивана Ивановича Базанова. Да и у Щапова встречались. Фризе, пожалуй, разрешит, а вот его женушка, Александра Васильевна, хлопнется в обморок. Есть в Иркутске еще один, весьма доброжелательный человек — Сергей Григорьевич Стахевич, но ведь он из бывших ссыльных, зачем же его на каторгу налаживать? Придется прибегнуть к содействию своячениц помощника исправника Блинова. Самого дома нет. Беглого ищет, а беглый будет ночевать в его доме. Уж этот-то дом вне подозрений. Блинов — лучший сыщик Иркутской губернии. Поймал разбойников, вырезавших в ночь на светлое воскресенье семью чиновника Чурина — десять душ. Того самого Ивана Яковлевича Чурина, у которого довелось пожить один месяц и у которого был арестован... два с половиной года тому назад.

Лопатин надвинул картуз на уши и осторожно, не спеша, побрел в город. Старался не выходить на широкие людные улицы, но и в переулках, несмотря на поздний час, суетились люди, громко обсуждали смелый до дерзости побег, угадывали, куда направится беглец и где его легче и способнее перехватить. Дошел до деревянного двухэтажного дома помощника исправника. Свояченицы, воспитанницы Девичьего института, живут наверху. В окнах нет света. Потрогал калитку — надежно закрыта. Спят. Что делать? Стоять нельзя,— может внезапно явиться хозяин. Забор высокий, а придется перелезать. Несколько раз срывался, ободрал ладони и колени, но все-таки одолел. Постучал в дверь. Выждал минуту-две, снова постучал. Заскрипела лестница. Кто-то спускается. А что если сам Блинов? Взял, на всякий случай, стоящую у стены лопату. Шаги легкие, женские. Голос сонный, испуганный:

— Кто там?

— Да это я. Дворник Алексей — из воспитательного дома. Наша барышня, Наталья-то Сергеевна, вашей Наденьке зубные капли какие-то давали. А тут у ей самой зуб схватило и мучает. Так она просила пузырек тот непременно вернуть...

— Ну обожди, я сейчас спрошу.

Дверь не открыла. Полезла наверх.

Кухня в летнее время помещалась в пристройке. Кухарка Маша, наверное, там спит. К ее звонку веревка натянута. Дернул ее трижды. Вышла женщина. Лопатин рывком притянул ее к себе, зажал ладонью рот, шепнул в ухо:

— Тихо, Машенька, тихо! Это я, Лопатин. Спускалась горничная, так я назвался дворником Алексеем из воспитательного и просил вернуть зубные капли Наталии Сергеевне. Все это выдумка. Скажи барышням, что мне негде спрятаться... А лучше — сама спрячь.

— Куда же тебя деть, горюшко ты мое? Разве что в чулане притаишься. Кроме меня, туда никто не заглядывает.

Открыла дверь. Поднялась на второй этаж. Лопатин стоял, опершись на лопату, прислушивался. Кто-то остановился у калитки. Подергал ручку. Ушел. Наконец спустилась Маша, провела к чулану, впустила, сказала строго:

— Только не шумите. Утром придут в кухню стрянать жилички, старые девы, а перегородка тонкая. Не дай бог, почуют...

— Постараюсь. Машенька, золотце, посуши и почисти мою одежду. Да не забудь главное. Пусть Наденька пойдет к доктору Кашину и достанет для меня очки. Он знает, какие нужны.

Передал свой мужицкий костюм.

Маша закрыла дверь на ключ.

Лопатин пощупал пол, наткнулся на старый рваный полушубок, постелил и лег, стараясь устроиться поудобнее и не шуметь...

10

...Всходило солнце, когда Маша принесла Лопатину сухую чистую одежду и краюху хлеба с куском говядины. Шепнула:

— Замори червячка, горюшко ты мое. Сам-то еще не пришел.

— Про очки не забудь, золотце мое.

— Как проснется Наденька, напомню.

Ушла. Дверь на ключ закрыла.

Лопатин не спеша, не потеряв и крошки, позавтракал. Лег на полушубок, подложил ладонь под щеку и сразу же уснул.

Разбудила Маша. Принесла очки. Лопатин очень обрадовался:

— Теперь я живу. Поцелуй Наденьку за меня.

— Это у тебя лучше получится.

— Возможно. Слушай внимательно — сегодня позови к себе на кухню «вечного студента». И пусть он захватит *кое-что.*

— Не могу. Я замужняя... жена...

— Свидание-то со мной. А ты будешь нас сторожить.

— Вот привязался, горюшко ты мое! Нишкни! Кто-то идет. — И закрыла дверь.

Лежал недвижно, придумывал — к кому перейти завтра. Кроткая Маша права — «привязался — горюшко». Для нее, жены ссыльного, все эти поручения могут обернуться неизбывным горем. Перебрал всех знакомых, выбрал самого неприятного, самого рискованного — Генриха Карловича Миштовта. Прибалтийский немец, картежный шулер, посредник золотопромышленников у губернатора, устроитель пикников на Веселой горке и помощник Дувинга в поисках беглых — политических. Не выдаст — побоится, слишком любит жизнь. Большой предатель, а не предаст.

В носу щипало. Разгоряченный, полез в воду, а потом лежал мокрый в осоке — вот и схватил насморк. Нащупал какую-то старую кофту, тихонько высморкался. Задремал. Очнулся от собственного, довольно зычного чихания. Зажал ладонью рот и нос. Услышал изумленный старческий голос:

— Ой! Кто-то чихает в... чулане.

И громкий, предупреждающий голос Маши:

— Да это кот. Приблудный...

В щели чулана вползал дымок, запах лука, сковородочный чад. И Лопатин не выдержал, еще раз приглушенно чихнул.

— Какой кот! Разве он сможет так по-человечески чихать?

— Да ведь он на улице болтался. Видать, шибко простудился. Паршивый кот, а божья тварь, жалко. Раз чихает, значит, на поправку пошел.

— Вот не знала. Может, парного молочка ему налить? Беспризорный...

— Не утруждайтесь. Я ему уже дала молочка и мясных обрезков положила. Говорю вам, приблудный, шелудивый, может, блохи в нем водятся.

Видно, старая дева блох не любила. Успокоилась.

...Поздно вечером Лопатин встретился с Григорием Фризе. «Вечный студент» передал револьвер, часы и заторопил:

— Скажите, что я должен сделать? Только покороче, побыстрее.

— Купите здоровую ломовую лошадь с телегой-двуколкой. Одним словом, для извоза. Деньги возьмете у Александра Павловича Гурлади. У него на даче оставите упряжку. Три дня вам хватит?

— Вполне. Я знаю его дачку. На той стороне Ангары. Постараюсь.

— Значит, договорились. Выпьем по рюмочке, посидим на дорожку, по русскому обычаю...

— Нет уж, я побегу. Александра Васильевна будет беспокоиться.

— Не смею задерживать. Заранее благодарю. Передайте Щапову, что хотел его прихватить, но для телеги он не пригоден. Явно не мужик...

Лопатин проводил Фризе до калитки, вернулся на кухню, выпил стакан водки со свежим малиновым вареньем, плотно закусил и пошел в чулан — потеть, вышибать простуду...

Водка с малиновым вареньем (отцовское верное средство) помогла. Чих прошел.

Темнело, когда в чуланчик вошла Маша и, наклонившись, торопливо шепнула:

— Уходи! Хозяин приехал. Злой. Я его заговорю, а ты удирай... Калитка открыта.

Маша поднялась наверх. Лопатин осторожно открыл дверь и вышел на улицу. Сунул руку в карман, нащупал рукоять револьвера. Вот черт принес помощника исправника раньше времени! На улицах полно народу. Могут и опознать, как бывшего чиновника контрольной палаты. Все-таки служил в ней полгода. Картуз надвинул на глаза. Потянулся к воспитательному дому. Увидеть бы, поговорить бы хотя полчаса с Наталией Сергеевной, да нельзя. Даже в лавку зайти и взять фунт свежего ситного нельзя.

Добрел до новенького добротного дома Миштовта. Свет горит лишь в одном окне. У калитки на сосновом чурбане сосет папироску дворник. Лопатин спросил:

— Барыня, Анна Станиславовна, дома?

— В театр с барином уехавши. А тебе на што?

— Да я из воспитательного дома. Наша барыня давала твоей барыне книгу занятную почитать. И вот обратно понадобилась. Приказала — без нее не вертайся.

— Долго ждать придется, паря.

— Ничего. Дождусь.

Лопатин прошелся по улице, внимательно осмотрел забор. Высокий да заостренный. Как в крепости живут. Да и страж зоркий... Сел на скамейку, поставленную у кустов сирени, прикрыл лицо ладонью...

Барон прикатил в полночь. Дворник распахнул ворота, провел лошадей и стал их распрягать. Следуя за бричкой, Лопатин проскользнул во двор. Заметив, что

с крыльца сбежала со щеткой в руке горничная, прошел в дом. Толкнул дверь в кабинет хозяина. Не заперт. Вот и хорошо. В кабинете объясняться легче, чем в спальне. Ждать пришлось довольно долго. Барон вошел, насвистывая что-то веселое. Лопатин ловко прикрыл его рот ладонью, строго предупредил:

— Прошу не шуметь. Пристрелю. Я Лопатин. Закройте дверь.

Барон щелкнул ключом, отвел руку Лопатина, шумно дыша, прошептал:

— Боже мой, как вы меня напугали! Вот уж воистину незваный гость.

— Вы тоже бывали у меня незваным гостем, прежде чем представили в должном виде полицмейстеру Бориславскому. Я все знаю. Пришла пора расплатиться по старым векселям.

— Тише. Услышит жена.

— Она человек порядочный, меня уважает и не выдаст. И вам настоятельно не советую это делать. Мои друзья знают, к кому я пошел. Предателя убьют, а дом сожгут.

— Зачем такие крайности... Сейчас засветим лампу и уточним роли в этой трагикомедии.

В дверь нервно постучали:

— Генрих! Ты чего закрылся?

— Анета, милая, я должен написать срочное, важное письмо. Ложись спать. До утра!

— Ах так! Явишься голубчик, ко мне, я тебе тоже скажу: «Ложись спать! До утра!»

Каблуки сердито застучали по коридору.

Барон покачал седеющей головой:

— Вот первая неприятность, вызванная вашим визитом. А какие тяжкие испытания ждут меня впереди!

— Вы скользкий, как налим. Отыграетесь или откупитесь. Я к вам на коротенькое время. Всего на три дня.

— Помилуйте! Три дня... я не перенесу. Может, я смогу ускорить сию экспедицию?

— Не смею вас затруднять. Прошу предоставить отдельную, изолированную от ваших домашних комнату и харчи.

— У меня есть подходящая комнатка. Окно выходит в сад. А кушать будете с нашего стола.

— Надеюсь, что окном воспользоваться не придется. Ведите в комнату. Вам придется эти дни посидеть дома. Я — ваш гость, вы меня обслуживаете. Воцаряется полное взаимопонимание.

— Окно может вас интересовать только с точки зрения свежего воздуха, цветочного благоухания. А удалитесь вы, даю слово джентльмена, через дверь, в полнейшей целости-сохранности. Пойдемте, я покажу вам туалет. Горничной, на всякий случай, шепну, что вы мой гость с прииска Артемова.

12

...Медлительный тягостный день прошел спокойно. Лопатин сытно пообедал и сел за стол, решив до темноты написать Николаю Даниельсону. За делом время идет быстрее, да и на сердце не так томительно и тяжко.

Резко заскрипели ворота. Во дворе зацокали о булыжник копыта. Выскочил из кабинета и побежал на крыльцо Миштовт. Что-то торопливо и сердито прокричала горничной Анна Станиславовна.

Лопатин подошел к двери. Заохали половицы, и по коридору прогрохотал бас полицмейстера Заборовского:

— Что, не ждали! Не рады...

— Вам всегда рады, всегда...

— Посмотрим, посмотрим!

В ответ Миштовт произнес что-то тихое и невнят-

ное. Лопатин прислушивался и пытался угадать, с кем столь нежданно примчался полицмейстер и что собирается здесь посмотреть-высмотреть. Неужели Миштовт сообщил в полицию? Лопатин на цыпочках подошел к окну и отодвинул уголок занавески. В саду никого не увидел. Если бы полицмейстер приехал арестовать, дом сразу же оцепили бы жандармы.

Прошло несколько длительных, гнетущих минут.

За стеной, в кабинете хозяина дома, загудел бас Заборовского. Миштовт отвечал кратко и тихо. По отдельным словам полицмейстера Лопатин догадался, что говорят о нем, о его поисках в городах и селениях Иркутской губернии. И еще понял, что важный гость упорно упрашивает, укоряет хозяина и обещает большую награду.

Разговор продолжался до позднего вечера и завершился согласным и мелодичным звоном бокалов.

Полицмейстер, уходя, то ли спьяну, то ли нарочно, толкнул дверь в комнату Лопатина, спросил лукаво:

— Кого или чего под замком-то прячете?

— Там мыши завелись. Такая погань, не столько съест, сколько испоганит. Положил для них потраву, да боюсь, как бы кот не слопал...

Минутная пауза и шаги: грубовато-самоуверенные, грузные полицмейстера и легкие, заискивающие барона. И вот пронзительно скрежетнули ворота, резво процокали копыта, прозвенели шины.

«Наконец-то укатил,— обрадовался Лопатин, сел на кровать, потер противно ноющие виски.— И отсюда надо уходить. В эту комнату пыталась войти хозяйка, горничная, полицмейстер. Потрава для мышей при наличии кота не очень-то звучит убедительно. А что скажет барон... когда придет в себя?!»

Барон явился в полночь. Спросил:

— Вы все поняли?

— Громкую и вздорную речь полицмейстера я уловил, а вот вашу, приглушенную, осторожную, — не расслышал.

— Я лгал, как умел. Можно сказать, совершенно изолгался. Жена догадалась, горничная догадывается. Постыдное состояние души...

— Лгать вам не привыкать. Полицмейстер обещал большую награду за мою голову. Это только для вас или для всех?

— Полагаю — негласно, но для всех. Оно и понятно — генерал-губернатор Синельников ужасно удручен, можно сказать — поражен горем. Ведь он вам доверял, как сыну, хлопотал о смягчении наказания перед государем императором, и вдруг... вы бежите... И представьте себе, Николай Петрович еще надеется, что вы вернетесь. Верит в вашу честность и до сих пор не сообщил в столицу о вашем столь дерзком исчезновении [88]. Считает в самовольной отлучке.

— Точнее — надеется, что быстро схватят.

— Вероятно! Полицмейстер уверен, что Лопатин скрывается в Иркутске и что я знаю его местонахождение.

— Приходится только удивляться прозорливости полицмейстера. А что вы ему пообещали?

Барон ответил не сразу:

— Видите ли... я не мог отказаться от поисков. Пообещал навести справки. А он в свою очередь пообещал наведываться. Да и наливка облепиховая, будь она проклята, пришлась ему по вкусу.

— Вы подвели меня к выводу — я должен уходить.

— Я могу рекомендовать вас лакеем к известному мне доктору.

— Лакеем? Благодарю покорно. Эту ночь я проведу в этом мышином царстве. А рано утром вы лично от-

кроете калитку и проведете меня мимо вашего церберa-дворника.

— С удовольствием. Полагаю, что вы стремитесь на ту сторону Ангары. Могу предложить свою лодку. Она стоит на цепи на полверсты левее белого дома. Губернаторского дома. Замок будет закрыт условно.

— А засада будет безусловной. Удаляясь из этой комнаты, я развязываю вам руки...

— Вы слишком скверно обо мне думаете. Напрасно.

— Дай бог, чтобы я ошибся. Спокойной ночи, барон.

— Полагаю, что я сегодня не усну... А вы спите, у вас должна быть свежая голова и быстрые ноги... Бежать-то ой как далеко...

После всего пережитого Лопатин так и не мог уснуть. В пять часов легонько постучал Миштовт. Лопатин быстро оделся, открыл.

— Идите,— сказал Миштовт. — Дворник лошадей кормит.

Открыл калитку, шепнул:

— Счастливого исчезновения, — и торопливо, радостно-избавительно щелкнул щеколдой.

...Лопатин отказался от столь щедрого предложения барона Миштовта — воспользоваться его замечательной лодкой. На тот желанный берег беглеца перевез сын редактора-издателя газеты «Сибирь» В. И. Вагина — Володя, которого в прошлом году Лопатин весьма успешно готовил к экзаменам по физике, химии и естествознанию.

Ночь Лопатин переспал на чердаке у А. П. Гурлади. А рано утром выехал на широкий и длинный Московский тракт и влился в огромный, растянувшийся на две версты обоз ямщины. Ехал на собственной лошади, в собственной телеге, ничем не отличимый от крестьян, занимающихся из рода в род прибыльным делом — извозом...

СЕРДЦА ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ

1

...Обветренный, опаленный солнцем, по-таежному длинно и густо обросший волосами, Герман Лопатин поздно вечером ввалился в квартиру Николая Даниельсона.

— Неужели это ты, Герман?! — пристально всматриваясь в лохматого, по-крестьянски одетого внезапного гостя, спросил хозяин. — Совершенно неузнаваем. На

улице прошел бы мимо. Значит, все-таки удалось вырваться! Ты ко мне с ночлегом?

— Если не прогонишь, переночую...

— Как тебе не стыдно!

— Видишь ли, перед моим носом только что захлопнули дверь. Не буду уточнять кто. Одна старая добрая знакомая. Я не осуждаю — никому не хочется отвечать за сокрытие беглого ссыльного. Однако я недавно отыскал новую знакомую. И представь себе: моложе, интереснее, женственнее той...

— Конечно, вдова...

— Угадал. Могу, как другу, открыть оную — Зинаида Степановна Абсеитова, урожденная Корали.

— Можешь не продолжать. Предвижу очередное и быстро проходящее увлечение.

— Ошибаешься! На этот раз сюжет более сложный и острый. Не увлечение — любовь...

— Рад за тебя. Как говорят на Руси, пора и остепениться. К Любавину заходил?

— Еще не успел.

— Так вот, наш Любош «взялся за ум», как он изволил выразиться, поступил в университет лаборантом-химиком с окладом пятьсот годовых, произведен в коллежские секретари и готовит рассуждение на приобретение степени магистра. И что самое пикантное — успешно обхаживает купеческую дочку Екатерину свет Федотовну Поветкину.

— Где сейчас живет Любош?

— На Васильевском острове, по Девятой линии, дом пятьдесят, квартира шесть.

— Я постараюсь повидаться с ним, хотя и не жду былой радости от этой встречи. Нетрудно угадать, куда пойдет «взявшийся за ум» новоявленный коллежский секретарь: обладая способностями, усидчивостью и знаниями языков, сделает блестящую научную карьеру —

будет экстраординарным профессором и, конечно, примерным мужем и заботливым отцом. И, само собой разумеется, ни переводить, ни читать «Капитал» больше не станет.

— Не сгущай краски. О Любавине нельзя сказать — способный, он довольно талантлив, о его кандидатском сочинении весьма похвально отозвался Менделеев. А что касается «Капитала», то Любош очень помог нам, переведя наиболее трудную первую главу. Кстати, ты сам-то видел наш русский «Капитал»?

— Видел в Иркутске у Щапова. И так обрадовался, что Афанасий Петрович обратил внимание и спросил: «Вы что, земляка встретили? Откуда такое сияние на челе?» Пришлось признаться, что встречался с автором и переводил эту книжищу. Позже в Томске я увидел «Капитал» в витрине магазина и, пока любовался и раздумывал — купить или воздержаться, был опознан и схвачен полицейским. И знаешь, что еще зацепило мою душевную струну, — наш «Капитал» выписал через своего родственника Пыпина вилюйский узник — Николай Гаврилович Чернышевский. Об этом мне рассказывал его сосед по камере Владислав Сипневский. Если мне не удалось увезти Чернышевского, то я помог ему ознакомиться с главной книгой века — «Капиталом» Маркса. Прости, я невольно перешел на высокий стиль. Помолчу. Послушаю тебя. Письма от Маркса получаешь?

Николай Даниельсон с присущей ему обстоятельностью и неторопливостью рассказал о своей переписке с Марксом и установившемся обмене книгами, о благодарности его за полученный первый том «Капитала», перевод которого, по мнению автора, «сделан мастерски». Лопатину было приятно услышать, что Маркс очень беспокоился о судьбе «нашего общего друга» и даже строил планы: как оказать содействие схвачен-

Н. Ф. Даниельсон, один из первых русских переводчиков «Капитала» К. Маркса.

ному «коммерсанту» через своих знакомых в Константинопольском посольстве. Весьма тревожилась о «нашем общем друге» Элеонора Маркс и сожалела, зачем он покинул Англию.

— Явно преувеличиваешь, — усомнился Лопатин.

— Могу показать письмо.

— Его письма зря ты не вытаскивай. Береги. Да и время позднее, а мне завтра надо рано уйти. Скажи, пожалуйста, у кого из наших знакомых есть за городом дача? Видишь ли, не резон мужику, да к тому же в барских очках, шататься в центре столицы. Не сомневаюсь в том, что тоскующие обо мне иркутские жандармы послали мои приметы и снимок петербургским коллегам. Могут и сцапать. Я должен задержаться на неопределенное время—надо выхлопотать абсолютно надежный паспорт и раздать долги.

— Не понимаю. Какие?

— Из фонда «Воли Чернышевского». Я скверно провел экспедицию и должен вернуть кредиторам оставшиеся после судебных издержек и дорожных расходов деньги. Я ни копейки из этого фонда себе не взял. Служил в казенной палате за двадцать рублей в месяц.

— Я свою долю от тебя не возьму. За границей тебя ждет жесточайшая нужда. Уверен, что Иван

Иванович Билибин возвращение долга воспримет, как личную обиду. Кстати, учти — Билибин снимает дачу не то в Озерках, не то в Удельной.

— Благодарю за все доброе. Попрошусь временным сарайным жильцом к Билибину. А сейчас хорошо бы уснуть. Давным-давно я лишился надежной крыши и спокойного сна. И скажу по совести — ужасно не хочется уезжать за границу, но и оставаться на родине нельзя. И «за ум браться», как это сделал расчетливый Любаш, поздно.

— А чем ты будешь кормиться?.. Виноват, заниматься... на той стороне?

— Переводами. А может, и сам кое-что сочиню. Имею весьма яркие сибирские впечатления и встречи. Буду помогать, по мере сил и возможностей, всем гражданам, что идут против царя и его своры. И, конечно, всячески содействовать тебе в завершении перевода «Капитала». Второй том получил?

— Автор серьезно заболел... А почему бы тебе самому не взяться?.. У меня есть постоянный заработок, а у тебя нет...

— Опасаюсь, что у меня не будет основополагающего — твердой оседлой жизни. Я — кочевник по призванию и по долгу. В Париже буду постоянно тосковать по России, по милому, прекрасному Петербургу, по отчему Нижнему Новгороду и суровому, но родному Ставрополю. Скучать по друзьям, у которых «сердца для чести живы». И, бросив все дела, уезжать на родину...

— И рисковать жизнью... И жить бобылем...

— Да, да! Без риска в нашем деле нельзя. А вот тебе, дружище, всякие, даже малые антиправительственные дерзания воспрещаются. Будь вне подозрений. Ты должен заняться только одним, осмеливаюсь подчеркнуть, *главным делом твоей жизни — переводом*

всего «Капитала». Для этого нужно иметь свой удобный письменный стол, свою справочную библиотеку и, дай бог, хорошую, заботливую жену, которая безропотно кормила бы, поила, вовремя укладывала спать — способствовала нормальной умственной деятельности. С автором у тебя сложились самые дружеские отношения, и, конечно, я всегда с величайшей радостью помогу тебе...

...Установив связи с друзьями-единомышленниками, выхлопотав документы, Герман Лопатин вместе с Зинаидой Степановной Абсеитовой уехал в Париж.

2

За границей Лопатин прежде всего посетил живущего в Цюрихе Лаврова. После объятий и поцелуев, радостных восклицаний и расспросов о здоровье перешли к деловым разговорам. Петр Лаврович снял с полки книгу и передал гостю:

— Вот полюбуйся — наш первенец.

Лопатин прочел рисованный, броский заголовок «Вперед!», пробежал содержание, полистал еще пахнущие краской страницы, покачал на ладони:

— Весóм! Весьма весóм! Листов тридцать будет. Чую, в сборнике много интересных материалов. Меня лично очень заинтересовал раздел: *«Что делается на Родине»*. Подумать только — *на Родине!* Сведения, взятые вами в этот раздел, понятно, устарели. Много времени прошло, пока готовили и печатали сборник. И естественно полагать, что многие важные события этого года не попали в этот том. К чему я все это плету — нельзя ли, милейший Петр Лаврович, вместо столь громоздкого сборника выпускать миниатюрную газетку с тем же многозначительным названием «Впе-

ред!»? Выпускать ее хотя бы два раза в месяц. Раздел «Что делается на Родине» вести как главный. И еще прошу учесть один весьма важный довод в пользу периодического издания: тоненькую газетку куда легче перевезти через границу, чем вот такой огромный кирпичище. Полагаю, что вы издаете «Вперед!» для русского народа, для нашей «матушки России», а не для Швейцарии.

— Не так-то просто, милостивый государь, — хмуро усмехнулся Лавров. — На практике все куда сложнее. Поймите — сам я ничего не решаю. Я — редактор, а издает журнал «Вперед!» организация социалистов-революционеров, к сожалению, весьма разбросанная и неоднородная по своим политическим тенденциям. Большая часть впередовцев — заграничники, меньшая — нелегальщики в Петербурге. Вот это меньшинство и содержит сборник за счет пожертвований и различных сборов. Однако мысль об издании газеты приходила и мне в голову. Издавать политическую газету для крестьян и рабочих России — моя давнишняя и желанная мечта. Я буду весьма рад, если вы войдете в состав редакции и поможете мне.

— Должен вас огорчить, Петр Лаврович, я не могу войти в состав редакции. Видите ли, я приехал не один,

а с невестой, и мы хотим остановиться в Париже. Само собой разумеется, буду сочинять корреспонденции в раздел «Что делается на Родине» и привлеку добрую дюжину весьма способных и расторопных авторов.

— Ловлю на слове. Не можете ли вы написать статью для второго тома «Вперед!», используя материалы сибирской экспедиции? Гонорар не осмеливаюсь обещать...

— Ладно! Наваляю статейку об иркутских переживаниях и встречах. Постараюсь прежде всего рассказать о ссыльных — Чернышевском, Щапове, каракозовцах и прочей политической братии. На гонорар вперед овцев я и не рассчитываю.

— А на что вы рассчитываете, прикатив на чужбину с невестой? И где она, покорившая столь непокорного и ветреного юношу, скрывается ныне?

— Буду переводить философов и социологов типа Спенсера и Тэна, которых можно легко пристроить в России. Имею предварительную договоренность с издателем Билибиным. А моя невеста, Зинаида Степановна, занята неотложными хлопотами — подыскивает лечебницу для тяжелобольной сестры Нади. А потом будет учиться в медицинском институте.

— Значит, в перспективе еще один едок. Весьма сочувствую вам, «наш общий друг», как величают вас Маркс и Энгельс. Они очень радовались, узнав о третьем, удачном бегстве «из плена». А Тусси просто ликовала. Да, а что же будет с Тусси, ведь она ждет вас, любит вас. Извините. Кажется, я очень косолапо залез в область интимных отношений. Виноват. Дважды виноват— увлекшись разговорами, забыл вас покормить. Сейчас что-нибудь придумаю.

— А я пока займусь уборкой. Похоже, что после смерти пани Чаплицкой здесь не ступала женская нога. Ой, виноват, и я сказал лишнее. Простите. Получилось

совершенно случайно. А женщину я вам непременно найду. Привезу из Питера. И не хмурьте столь сурово добрые брови. Если не подберу по вашему характеру даму, притащу вашу овдовевшую дщерь Марию Петровну. Поскольку в быту вы большой беспомощный ребенок и нужна заботливая и строгая нянька. Очень нужна женщина в этом доме...

3

Лопатин сдержал слово: написал большую статью «Из Иркутска» и послал ее П. Л. Лаврову. Она была напечатана во втором томе «Вперед!» и поведала русскому народу правду о его лучших сынах, томящихся в сибирской каторге и ссылке. Галерею мучеников за народную свободу и счастье Лопатин начинает «с человека, представляющего для вас (читателей), конечно, наибольший интерес и как замечательная литературная сила и как человек, имевший несомненное влияние на развитие общественной мысли в течение многих лет сряду,— я говорю о Чернышевском. С грустью должен сказать вам, что неизгладимая симпатия, оставленная Чернышевским в сердцах всех порядочных людей, сколько-нибудь знавших его, и тот неоспоримый авторитет, который его ум, знания, честность и всегдашняя верность своим основным принципам завоевали ему в кругу нашей передовой молодежи, составили истинное несчастье целой его жизни, преследующее его и до настоящей минуты». Гневно и сурово повествует Лопатин о том, как «начальство не церемонилось принимать по отношению к Чернышевскому даже такие меры, которые представляли вопиющее нарушение собственных постановлений правительства относительно ссыльных». Поведав о сидящем одиннадцатый год «под замком»

человеке, «политический образ мыслей которого имел несчастье не понравиться императорскому правительству», Герман Александрович заканчивает рассказ о Чернышевском характерным предсказанием: «Это будет не первая и не последняя дорогая жизнь, попранная на алтаре любезного нашему сердцу „Престол-Отечества“».

Не последняя жертва! И Лопатин повествует о второй — об историке Афанасии Петровиче Щапове, пропадающем в Сибири и лишенном возможности развернуться как следует и принести всю ту пользу, на которую он способен.

Не последняя жертва! Не вынес беспримерной жестокости и сошел с ума автор замечательных книг для народа Иван Александрович Худяков.

Та же горькая участь постигла создателя революционного кружка боевиков „Организация“ Николая Андреевича Ишутина. А вслед за ним Лопатин раскрывает трагические судьбы каракозовцев — Николая Страндена, Дмитрия Юрасова, Петра Ермолова, Максимилиана Загибалова, Петра Николаева, Вячеслава Шаганова, Виктора Федосеева, Павла Маевского, Максимилиана Маркса.

Рассказывает Лопатин и о ссыльных нечаевцах и о пропагандистах-народниках, сосланных в гиблые края.

В корреспонденции «Из Иркутска» впервые смело и правдиво раскрывались судьбы верных сынов России, у которых и на каторге «сердца для чести живы».

Непосредственным продолжением статьи «Из Иркутска» явился яркий художественный очерк «Не наши», опубликованный в третьем томе «Вперед!». Наблюдательному, смелому художнику удалось ярко и образно рассказать о собратьях по острогу, о Василии Шишкине и Василии Иванове, которые, «не признавая ни царя и никаких «державцев», ни их слуг, не отдают

никому никаких знаков уважения; не исполняют добровольно никаких приказаний; жадно выискивают случаи для грубого, резкого протеста пред начальством». Это Василий Шишкин бесстрашно отчитывает генерал-губернатора Синельникова, посетившего тюрьму:

«Зачем ты, старик, держишь меня здесь? Загнал, как чужую скотину, в свой хлев и не выпускаешь! Варвары вы все, кровопийцы!..»

В третьем томе «Вперед!» была напечатана статья Германа Лопатина «Благодушное правительство и его лакеи»[89], в которую вошли два его письма по поводу так называемой амнистии политическим преступникам, дарованной Александром II по случаю «семейного торжества» — бракосочетания его дочери великой княжны Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. Этот «великодушный акт императора» вызвал много толков и одобрительного шума как в России, так и на Западе. С особенным восторгом возносили хвалу «кроткому и милостивому» российскому царю английские газеты. Долг революционера, долг подлинного русского гражданина заставил Германа Лопатина разъяснить всей читающей Европе и России истинное значение «амнистии» 9 января 1874 года. Лопатин направил в лондонскую газету «Daily News» («Ежедневные новости») сжатое, но достаточно красноречивое и все разъясняющее письмо:

«Милостивый государь!

Пересматривая английские газеты за последнее время, я был крайне изумлен тем значением, которое они придали маленькому фарсу, разыгранному русским императором по поводу свадьбы его дочери. Я говорю о той амнистии, которою он пустил пыль в глаза цивилизованной Европе и которой Европа, вследствие незнакомства с тонкостями языка русских указов и законов, придала более широкое значение и бóльшую важ-

ность, чем она на самом деле заслуживает. Я почел бы себя счастливым, если бы мне удалось вывести английскую печать из ее заблуждения и представить это дело в его истинном свете».

Приведя полный «верный перевод самого указа об амнистии», Герман Лопатин разбирает его по пунктам:

«1. Прежде всего заметим, что под словами «обвиненные ранее первого января 1871 г.» указ разумеет — «обвиненные *перед судом*; а потому амнистия не распространяется на тех, которые, хотя и были арестованы по обвинению в государственных преступлениях задолго до 1871 г., но подвергались обвинению *перед судом* только после первого января 1871 г. Вследствие этого амнистия не распространяется, например, на бесчисленные жертвы последнего, так называемого «Нечаевского» процесса. Вследствие этого же амнистия не распространяется на тех лиц, которые, будучи арестованными много лет тому назад, до сих пор томятся в тюрьмах в ожидании суда. Эти выводы не только вытекают прямо из самого текста амнистии, но и подтверждаются всеми частными сведениями, которые я имею из России.

2. Для английского читателя не лишне будет заметить, что в России мы имеем два рода ссылки: одна — ссылка просто на *житье*, с лишением всех *особенных* прав, каковы, например, дворянство, чины, ордена и т. п., а другая ссылка на *поселение* с лишением всех *гражданских* прав. Не трудно видеть, что амнистия распространяется только на лиц первой, между тем как все сколько-нибудь серьезные государственные преступники принадлежат ко второй.

Амнистия не распространяется на Чернышевского, который был осужден в начале 1864 г., еще при *старых* формах судопроизводства, с вопиющим нарушением всякой справедливости, всякого правосудия — наруше-

нием, удивившим даже привычную ко всему Россию, и который потом был весьма тщательно исключаем из всех амнистий. Амнистия не распространяется на так называемых «каракозовцев», осужденных в 1866 г. Другими словами, она не распространяется *ни на одного* человека, осужденного по сколько-нибудь важному делу...

3. Но самая *соль* амнистии заключается, конечно, в первом же параграфе, который говорит, что она распространяется лишь на тех из обвиняемых ранее 1 января 1871 г., которые не только «не совершили после того каких-либо новых преступлений, но и не были замечены (конечно, администрацией) ни в чем предосудительном». Нет надобности говорить, что это распоряжение совершенно уничтожает все значение амнистии, как бы ничтожно оно ни было само по себе — ставя ее применение в полнейшую зависимость от произвола администрации. Русское правительство, по своей всегдашней привычке, дает одной рукой и отнимает другой.

Я надеюсь, милостивый государь, что после всего вышесказанного вы не найдете странным, что в самом начале этого письма я назвал новую русскую амнистию бесстыдным фарсом, сочиненным с целью пустить пыль в глаза цивилизованной Европе».

В мае 1874 года Александр II посетил Лондон. Герман Лопатин воспользовался этим визитом и направил оттиск своего письма в «Daily News» и специальное «обращение» в Букингемский дворец лично самодержцу российскому.

«Милостивый государь!

Вероятно, Ваша скромность была сильно смущена теми нелепыми, преувеличенными толкованиями, которые были выражены иностранною прессою по поводу Вашей последней амнистии, распространяющейся

исключительно на поляков,— издавна находящих себе защиту и поддержку в симпатиях иностранных держав,— и обходящей почти совершенно Ваших собственных подданных, а потому Вы, конечно, будете признательны человеку, взявшему на себя труд вывести иностранцев из этого заблуждения.

Мне очень жаль, что обилие других, неотложных занятий не позволило мне напечатать, ко времени Вашего приезда в Лондон, ряд других заметок, имеющих целью показать кое-какие образчики русского правосудия,— хотя бы на примере Чернышевского, осужденного за заговор, в котором он один был и зачинщиком, и членом, и выполнителем, и подвергающегося с той поры неслыханным притеснениям и жестокостям, — а также познакомить иностранцев с некоторыми другими эпизодами «кроткого» царствования «благодушного» русского монарха. Я употреблю все силы, чтобы искупить этот промах в возможно скором времени помещением этих этюдов в английских и французских газетах.

Позвольте мне, милостивый государь, по поводу последних происшествий с Вашим проворовавшимся племянником [90] выразить Вам мои искренние поздравления с тем, что члены Вашего семейства грешат до сих пор только воровством (если не ошибаюсь, это второй гласный случай), а не какими-либо человечными идеями и чувствами, возбуждающими с Вашей стороны столь основательные антипатии и столь суровые преследования.

Герман Лопатин. 15 мая».

Это письмо Лопатина вошло в статью «Благодушное правительство и его лакеи». В этой же статье есть специальный раздел о Польше. Автор с глубочайшей симпатией и искренней гордостью рассказывает о тех поляках, «которые были в первых рядах борцов за

Парижскую коммуну, которые осознали, что в битве за социальный переворот, в битве за социальное будущее человечества, они бьются за польский *народ*, за всех *поляков*, одинаково *равных*, одинаково вольных лишь в будущем обществе, где не будет... ни собственников, эксплуатирующих холопа, ни аристократов, гордых своим шляхетским происхождением.

Лишь в битвах за социальную революцию *всюду* каждый новый деятель бьется за независимость своего народа. В Парижской коммуне, за которую вел бой генерал Врублевский, в Интернационале, в Совете которого он заседал, он боролся за будущность своих соотечественников, в то время как боролся за будущность человечества».

Мудро и зорко смотрит автор в будущее Польши: «...единственный союзник польского народа, как и всякого другого, есть социальная революция. Она унесет его нынешних политических врагов, она унесет и его врагов внутренних, которым он во многом обязан своими бедствиями, неудачами своих героических восстаний» [91].

Статьи «Из Иркутска», «Благодушное правительство и его лакеи» и очерк «Не наши» были опубликованы без подписи автора. Карл Маркс, внимательно следивший за событиями в России и старательно собиравший все сведения о Н. Г. Чернышевском,— по стилю, по непримиримости критических оценок, по ярко выраженной ненависти к царю и его окружению — безошибочно определил, что эти корреспонденции написаны «нашим общим другом» Германом Лопатиным. 11 февраля 1875 года Маркс писал П. Л. Лаврову:

«...Искренне благодарен Вам за издания, которые Вы мне прислали. Что меня более всего заинтересовало, так это статьи «Что делается на Родине». Если бы у меня было время, я сделал бы из них извлечения для

«Volksstaat» [92]. «Не наши» — славный народ. Я подозреваю, что наш друг Лопатин имеет некоторое отношение к этой статье» [93].

4

В конце декабря 1874 года Лопатин обратился с предложением к Лаврову, перебравшемуся из Цюриха в Лондон:

«...Отчего бы вам не издавать своей газеты, на *почтовой* бумаге и притом *тонкой*? Тогда, если бы вам был сообщен список подписчиков, вы могли бы рассылать ее (из Лондона, Парижа, Берна, Цюриха)... письмами».

В том же письме советовал: весной «устроить правильную периодическую доставку газеты в С.-Петербург на шведско-финляндских пароходах, а равно и на пароходах, идущих в Одессу, Ригу и пр.» [94].

В начале нового года Лавров порадовал Лопатина, выслав ему первый номер газеты «Вперед!».

Газета была небольшой по формату, весьма удобной для пересылки по почте и транспортировки. В ней было много русских корреспонденций, правдиво и смело рассказывающих о политической жизни Российской империи. Обширный отдел «Что делается на Родине» очень пришелся по душе Лопатину, и он решил сотрудничать именно в этом главном отделе, направленном против царя и его прислужников и зовущем народ на революционную борьбу. Хотелось, чтобы статьи и заметки были понятны, доступны малообразованным читателям — рабочим и мужикам. Сколько видел он их, колеся по «матушке Руси»! И о виденном и слышанном рассказывает Герман Лопатин в замечательном цикле путевых записок и очерков по Восточной Сибири. Собранные вместе, они могли бы составить своеобразную, яркую, беспощадно смелую книгу о гигантской царской

тюрьме, о ее узниках и рабах. Лопатину удалось впервые нарисовать правдивую и образную картину ужасающей эксплуатации рабочих на золотых приисках Сибири. Рассказав, как покупаются, перевозятся, расселяются в бараках-времянках вчерашние мужики, автор ярко показывает труд золотодобытчиков: «Поднимаются рабочие в 2 часа утра, иногда в 3, чуть только начнет зориться. Оканчивается работа, когда совсем стемнеет (это летом-то!), то есть после 8 часов вечера. Последняя промывка золота совершается при свете факелов из бересты, так что рабочий день продолжается 18 часов. Передышки для еды дают самые ничтожные».

Рабочие умирают и от непосильного напряжения в поисках крупиц золота, и от тяжких болезней. Автор приводит читателя к выводу о необходимости сокрушения существующего строя, при котором «капитализм, наследственная привилегия, поповство и бюрократия поддерживают самодержавие, поскольку самодержавие в свою очередь поддерживает их в их интересах» [95].

Лопатин с особой пристальностью всматривается в жизнь рабочих и с гордостью и верой в грядущую победу рассказывает о их жизни и борьбе. В небольшой корреспонденции «Из Петербурга» он раскрывает революционный подвиг слесаря-пропагандиста Семянниковского завода в С.-Петербурге Марка Прокофьевича Малиновского. Рабочий-революционер был выдан провокатором, предстал перед Сенатом и, к изумлению всех присутствовавших, «вдруг заговорил сильным, правильным языком, красноречиво и умно». Марк Малиновский выразил уверенность в том, что только пропаганда передовых идей, только подготовка общего переворота может привести к желанной цели. Сенаторы были изрядно смущены и озадачены, но это не помешало им «осудить развитого рабочего на 7 лет каторги».

Много интересных материалов для любимой газеты привез Герман Лопатин из очередной поездки по России осенью 1875 года. Куском подлинной жизни легла на страницу «Вперед!» небольшая по объему, но значительная по силе воздействия его очерковая зарисовка «Из Луги». Автор передает разговор с одним крестьянином, который рассказал о том, как их обделили лесом, выгоном и другими необходимыми угодьями; как они из-за этих угодьев находятся в безвыходной кабале у соседних помещиков; как всех их заработков не хватает на уплату податей; как на них накопились громадные недоимки; как продавали у них всякий скарб и скот...[96]

О своеобразном протесте крестьян Воронежской губернии, недовольных тем, что от них отрезали леса и выгоны, Лопатин рассказывает в корреспонденции «Из Петербурга. Получено 15 сентября». Мужики «просто не признавали размежевание и продолжали пользоваться отрезанными угодьями как своими». Когда уговоры, увещевания, брань, угрозы и тому подобные меры были истощены, к ним «поставили военную экзекуцию». С приходом солдат все «бесчинства» прекратились. Стоило карателям уйти, как мужики вернулись к старому землепользованию. Солдат вводили трижды, но стойкость протестующих так и не смогли сломить[97].

Вся передовая Россия благодарила Германа Лопатина за первые и единственные для того времени литературно-биографические портреты замученных самодержавием выдающихся ученых-публицистов И. А. Худякова и А. П. Щапова.

Ненависть к царскому престолу и его прислужникам вылилась в хлесткие, полные сарказма лопатинские «Объявления»: «Сбежала собака, принадлежащая Государю Великому Князю Николаю Николаевичу,— моська, японской породы, мохнатой дымчатой шерсти, кличка

Тепа, каковую просят доставить в комнату Его Императорского Высочества. Говорят, что Тепа — прозвище, которое давал Николай Николаевич своей любовнице. Об этом событии есть (с несколько иными подробностями) известия в иностранных газетах»[98].

Сатирический рисунок о государственной деятельности мракобеса графа Д. А. Толстого заканчивается характерным лопатинским обобщением: «Считаем неизлишним время от времени доставлять нашим читателям случай — победив в себе чувство тошноты, заглядывать в люки той зловонной помойной ямы, различные отделения которой носят названия «правительствующего синода», «правительствующего сената», министерств и других ведомств, во всех углах которой кишат клубы гадов, носящих имя „русских государственных мужей“»[99].

5

Скромная квартира Лопатина в Париже стала своеобразным корреспондентским пунктом. Лопатин просил: «Сообщайте — «Что делается на Родине». И Лопатину сообщали Николай Даниельсон, Николай Любавин, Иван Билибин, Феликс Волховской, Орест Веймар, Николай Грибоедов, Николай Станкевич. Прислал деловые, годные для печати письма брат Всеволод.

Лопатин установил прочные дружеские отношения с писателем Глебом Успенским. 6 июня 1875 года Герман Александрович сообщал П. А. Лаврову: «Успенский пишет мне: «Если О. не сцапают, то он Ваш верный раб (по части корреспонденций)». Я просил его сообщить мне адрес другого верного раба, который будет уже совсем верный и писать будет множество. Б. грозится заполнить повестями всю вселенную и вас в том числе»[100].

В конце декабря Глеб Успенский с женой Александрой Васильевной приехали в Париж и остановились у Лопатиных. Встреча была радостной, но короткой. Глеб Иванович подробно рассказал о своих мытарствах, о вынужденном, похожем на побег, отъезде из города Калуги.

— Полагаю, что я шибко не понравился местному начальству,— грустно улыбаясь, подытожил Глеб Иванович.— Такая у меня натура! Слишком пристально всматриваюсь в житие-бытие народное. И в разговорах и в сочинениях своих придерживаюсь сущей правды. А посему и приписан к так называемым нигилистам. На прощанье я все-таки накатал на обожравшихся властью высокопоставленных калужан злой фельетон. Да кто его напечатает!..

— А он у вас при себе?

— При Александре Васильевне,— кивнул Глеб Иванович в сторону жены.— Она у меня и хранительница рукописей и цензор.

— Покажите, сделайте милость, госпожа хранительница!— улыбаясь, церемонно поклонился Лопатин настороженной Александре Васильевне.

Рукопись оказалась небольшой по объему и довольно злой по содержанию. Лопатин прочел, положил листки на стол, посоветовал:

— Давайте-ка пошлем Петру Лавровичу Лаврову. Мне кажется, что этот манускрипт вполне подойдет для газеты «Вперед!». К сожалению, печатать придется без подписи автора.

— Нельзя печатать,— строго сказала Александра Васильевна.— Мы только что из Калуги. Там, да и в Петербурге, поди догадаются, кто автор фельетона. Ведь у него такой характерный слог.

Лопатин полистал рукопись, посмотрел на угрюмое лицо автора, сказал:

— Снимем ярко выраженные признаки Калуги. Назовем ее так — город Тестоединск, по ассоциации с известным «калужским тестом». Перекрестим действующих лиц. Да и стиль упростить в наших силах. Ступайте-ка вы, Александра свет Васильевна, к Зине на кухню, она давно ждет вашего содействия по кулинарной части. А мы с Глебом Ивановичем посидим рядком...

Лопатин взял лист и четко и крупно написал:

«Шила в мешке не утаишь»

Из частного письма, получено 23-XII-1875 г.
г. Тестоединск.

Некоторые обстоятельства принудили лицо, передавшее статью в редакцию, заменить как название города, так и имена упомянутых в статье лиц вымышленными названиями».

Придвинул листок к автору, спросил:

— Согласны?

Успенский прочел, сказал:

— Вполне.

Так в полнейшем согласии и прошлись по всему фельетону.

...После обеда с подготовленной к отправке рукописью ознакомилась «домашняя цензура» и после некоторого раздумья утвердила:

— В таком туманном виде, пожалуй, и годится. Только рукопись прошу неукоснительно вернуть мне. Так-то будет спокойнее.

— Хорошо, я об этом непременно напишу редактору,— пообещал Лопатин.

— Не обижайтесь на нас, пуганых и руганых,— виновато сказала Александра Васильевна.— По вашей просьбе Ольхин написал какую-то статейку о русских

судах и лавровская газетка напечатала. Вы эту самую штуковину выстригли и послали моему Глебушке. А тот направил вырезку автору, похвалил и вестимо попросил: «Пишите еще в таком же духе». А дух-то для властей вредственный. А письмецо-то это жандармы зацапали. И вышла тому и другому большая неприятность...

— Знаю, знаю! — прервал собеседницу Лопатин. — Мне об этом писал Клеменц. Рад, что все благополучно уладилось...

— Если вам все известно, я удаляюсь к Зинаиде Степановне. Она по части лечебной первейший советчик. А болезней у нас хватает. А вы, мужчины, говорите, как хотите...

И мужчины проговорили до утра.

Глеб Иванович, молодо улыбаясь, сказал восхищенно:

— Ай да Герман Александрович! Гой еси, удалой добрый молодец. Вот натура-то для нашего брата писателя.

— Помилуйте, Глеб Иванович...

— Не помилую! Вы свое дело достойно свершили. Выпрямили мою собственную душу. Чую — дивно выпрямили. Понятно, я и думать не могу охватить всю вашу изумительную жизнь, но какой-то уголок постараюсь взять в свою власть. Вот сейчас улягусь и прикину, какой...

Усталый гость не долго прикидывал — уснул...

Герман Александрович потянулся, плотно провел ладонями по лицу, словно снимая усталость, достал лист бумаги в крупную клетку и написал Лаврову:

«Четверг. Утро.

Вчера не успел отослать письмо. Сегодня прилагаю к нему корреспонденцию. Автор ее тот чудачина, что приезжал в Лондон видеться со мной и... не виделся.

Но пусть это обстоятельство останется *между нами двумя*. Кроме того, по требованию его жены, я изменил название города и имена действующих лиц. Если вам мои изменения не понравятся, сделайте свои. Положение автора щекотливо. В место его служения приходил жандармский офицер и пожелал его видеть. В отсутствие его из дому бумаги его были перерыты и прочитаны. Надо его поберечь. Для такого автора посылаемая вещица слаба, но все-таки она, как мне кажется, годится; а главное, он обещается писать и о других сюжетах. По-моему, ее неловко разрывать, а следует поместить в *одном* номере, всего лучше в *ближайшем* (№ 24), ввиду свежести факта. Если вы почему-либо не найдете ее удобной для помещения, то возвратите мне ее поскорее назад... Я был не прочь продержать корректуру по рукописи, которую жена желала бы получить обратно.

Калугу я назвал Тестоединск ради известного „калужского теста“»[101].

На следующий день Глеб Иванович Успенский, тепло распрощавшись с гостеприимными хозяевами, уехал в Сербию.

6

В одном из многочисленных писем к Лаврову Герман Лопатин сообщил о том, что «тюк прошел через границу; обещаются на днях выслать квитанцию». В этом тюке прорвалась в Россию книга Н. Г. Чернышевского «Пролог к прологу». Рукопись этого романа переписал друг Чернышевского по ссылке М. Д. Муравский. Эта копия была доставлена в Петербург к знакомым Лопатина. Во время очередной поездки на Родину Герман Александрович взял запретное сочинение, благополучно перевез через границу и передал Лаврову.

Группа «Вперед!» осуществила первое издание крамольной книги.

Герман Лопатин был крестным отцом и другой рукописи любимого писателя — «Письма без адреса». Беседуя с Николаем Даниельсоном после побега из Иркутска, Герман Александрович узнал, что «Письма без адреса» высланы Карлу Марксу еще в июле 1872 года. Внимательно прочитав этот труд, Маркс сделал многочисленные выписки и передал рукопись для опубликования Н. И. Утину. При первой же встрече с Карлом Марксом Лопатин поинтересовался судьбой запрещенных писем Чернышевского. Узнав, что Утин обещал издать «Письма без адреса» незамедлительно отдельной брошюрой, но слова своего не сдержал, Лопатин получил «приличный предлог» и, вытребовав «манускрипт от Утина», передал издательству «Вперед!». Лавров включил письма во второй том журнала «Вперед!». Лопатин счел, что вопрос не решен и наполовину, и 5 декабря 1873 года попросил П. Л. Лаврова отпечатать «Письма без адреса» книжкой, с надписью на обложке: «Издание редакции „Вперед!“», и согласился держать корректуру. Лопатин писал: «Формату я тоже придаю большое значение в деле распространения издания. Если бы брошюрка была издана в форме русского паспорта или известного «Песенника» (Гольденберга), то ее можно было бы рассылать в обыкновенных письмах. При вашем шрифте в брошюрке ш в коем разе не будет более полутора печатных листов»[102].

Лавров охотно согласился с этими предложениями, и миниатюрно изданные «Письма без адреса» Н. Г. Чернышевского вышли в свет.

...Герман Лопатин первым ознакомился и оценил по достоинству стихотворение «Новая песня», ставшее впоследствии всенародно известной «Рабочей марсельезой».

В начале июня 1875 года Лопатин получил необычное, удивившее его письмо от Петра Лаврова:

«Можно ли Вас попросить поконспирировать со мною? Но только нужно минут десять Вашего времени и безусловное молчание. Если это возможно, откройте прилагаемый листок, спишите, что там заключается, и пришлите мне, как бы полученное Вами от лица, требовавшего безусловного молчания, для «Вперед!». Пришлите в письме, которое можно бы в случае нужды показать другим. Вещь недостаточно удовлетворительна, чтобы сознаться, а для журнала, думаю, пригодится, если другие найдут сильным. Можете, прислав, дать самое откровенное мнение. Во-первых, я желаю отклонить *всякое* подозрение, а во-вторых, я нисколько не буду в претензии. Но *безусловное молчание*».

Лопатин прочел на листке стихотворение, написанное характерным, неразборчивым почерком Лаврова, и ощутил непреодолимое волнение. Ничего подобного по содержанию, да и по форме читать еще не приходилось. И напрасно автор принижает свою неслыханную по смелости и мятежной силе «Новую песню». Сколько людей вдохновят на борьбу эти призывные строки: «Встанем, братья, повсюду, зараз! ...На воров, на собак, — на богатых! Да на злого вампира — царя! Бей, губи их, злодеев проклятых! Засветись лучшей жизни заря!» Давно тоскует по Родине Петр Лаврович. Ведь там его дети остались. Там внуки растут, которых он еще и не видел. Стихотворение с такими призывами, подписанное Петром Лавровым, навсегда отрежет ему путь в Петербург, в Псковскую губернию, в любимое с детства Мелехово. Поэтому следует «Новую песню» напечатать без подписи автора. И поместить ее не в журнале, а в газете «Вперед!» — и тираж больше, да и быстрее дойдет она до российского «голодного люда», которому и посвящена.

Четко, разборчиво переписал Лопатин «Новую песню» и, положив ее в конверт, сочинил для редакции газеты «Вперед!» записку, на долгие годы скрывшую имя автора:

«Посылаю Вам одно стихотворение, переданное мне под честное слово хранить безусловное молчание об имени автора даже с редакцией. Я надеюсь, что Вы не встретите препятствий к его напечатанию: программа, как мне кажется, соблюдена строго, а литературная форма безукоризненна».

И сразу же отнес письмо на почту.

...Вечером 21 июня Лопатин получил двенадцатый номер газеты «Вперед!». Развернул и увидел «Новую песню». Пожалел, что она помещена не в начале, можно было дать на месте передовицы. И набрать покрупнее, ведь ее будут вырезать, передавать из рук в руки, читать при лучине и по складам. Торопливо пробежал текст. Не удержался, подошел к жене, склонившейся над «Анатомией человека», сообщил:

— Зиночка, отвлекись на минутку. Напечатана «Новая песня».

Зинаида Степановна взглянула на ликующего мужа, улыбнулась:

— Ну что ты весь светишься? Сегодня она новая, а через год будет старой и всеми забытой.

— Ошибаешься! «Новая песня» никогда не состарится. Ты только послушай:

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог!
Мы пойдем в ряды страждущих братий,
Мы к голодному люду пойдем,
С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем.
Вставай, подымайся, рабочий народ!

Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!
Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжелый твой труд,
Твоим потом жиреют обжоры...

— Постой! «Твоим потом жиреют обжоры»? Это грубая проза, а не поэзия.

— Это поэзия не роскошных спален, а поэзия площадей и улиц, манифестаций и митингов. Я уверен, что вот эту «Новую песню» запоют в нашей России наши люди. Запоют, скажем, так же громко и грозно, как пели «Марсельезу» коммунары Парижа. И будут петь до тех пор, пока своего не добьются. Как сказано:

И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда.
И сольются в едино народы
В вольном царстве святого труда [103].

...За границей жить было очень трудно.

Повседневная любимая журналистская работа не оплачивалась. Об этом довольно часто напоминала Лопатину жена и требовала:

— Не наживай себе новых врагов. Садись за дело.

Горестная нота появилась в обиходе после того, как Зинаида Степановна прочла во втором томе «Вперед!» язвительные письма о царской амнистии. Потеряв самообладание, впервые повысила голос и назвала сочинителя памфлета близоруким эгоистом, не пощадившим жены, близких и друзей. Щуря красивые глаза, изрекла с нескрываемой горечью:

— Подумай — на кого ты замахнулся! Государь никогда не простит тебе столь тяжкого оскорбления. Нам не простит. Ты подписал не только себе, но и мне смертный приговор.

— Что ты говоришь, Зина! Успокойся.

— Это тебе следует успокоиться. И оставить свои наглые сатирические упражнения. Не наживай себе новых врагов. Их у тебя и так достаточно. Не вечно нам жить в этой комнатушке-камере...

И, обхватив голову ладонями, вдруг разрыдалась — неудержимо, громко, жалобно.

Лопатин не оправдывался, не успокаивал. Она по-своему права. Лучше помолчать. Мама когда-то говорила: «Слезы снимают боль». Сел за стол. Подвинул к себе еще не переведенный пятый выпуск «Основания социологии» Герберта Спенсера. Надо сосредоточиться и работать. Добывать хлеб насущный нудным, нелюбимым, но крайне необходимым делом. Без Спенсера протянешь ноги. Сосредоточиться и работать.! А в голову ни черта не лезет. У Зины все еще вздрагивают плечи, все еще всхлипывает жалобно и горько — совсем по-детски. И, наверное, кается, что ушла из богатой семьи, из сытой, всем обеспеченной жизни. Первая ссора, первые слезы. А сколько тяжких испытаний еще ждет тебя впереди, милая ты моя! Недавно из С.-Петербурга издатель Иван Иванович Билибин прислал копию очень важной бумаги. В ней перечислены подлежащие розыску 19 лиц, находящиеся «в безвестном отсутствии». Шестым в списке «отставной полковник Петр Лавров», за ним идут: «кандидат прав Герман Лопатин, дворянин Николай Огарев, кандидат прав Петр Ткачев, бывший студент С.-Петербургского университета Николай Утин». Не забыли включить и «дворянина Михаила Бакунина». Все знакомый народ — заграничники. И за девятнадцатым «студентом Московского университета Александром Эльсницом» — распоряжение: «немедленно, по получении сего, приказать сделать самое строгое разыскание, не находятся ли означенные лица в пределах вверенной Вам губернии; притом, так как частным образом изве-

стно, что они, если не все, то большею частию выбыли за границу, наблюсти за прибытием их оттуда, и о том, что окажется, тотчас же сообщить III отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии и Департаменту Полиции Исполнительной»[104].

Конечно, список девятнадцати разослан по всем губерниям Российской империи. И всюду этих девятнадцать безвестно отсутствующих будут разыскивать, задерживать и направлять по назначению в III отделение как главных государственных преступников. Значит, каждая поездка в Россию сопряжена с большим риском. Можно появиться только на короткое время, и обязательно под чужой фамилией. Подумать только — на родной земле ты лишен права быть самим собой! Ты не можешь быть в России как отмеченный клеймом «безвестного отсутствия». Даже сочинения Герберта Спенсера и стоящих на очереди Вильяма Карпентера, Аллена Гранта и Ипполита Тэна выйдут в С.-Петербурге без имени переводчика. Как будто его не существует. А ведь это огромная работа. Спенсер многословен, его «Основания психологии» составляют четыре солидных тома — в каждом по 350—360 страниц. А кроме этой громадины надо осилить «Основания науки о нравственности»... Издатель Иван Билибин торопит, ему легче и выгоднее продать *первые* издания популярнейшего философа Англии...

Лопатин встал, тихонько, ласково погладил вздрагивающие плечи жены, и она успокоилась. Зина подняла красное, мокрое лицо, сказала глухо:

— Не смотри на меня... я заплаканная... дурная...

— Ты, прежде всего, мнительная. Я ведь предупреждал тебя, что со мной будет мало радостей и много горя...

— А что я могу поделать, если люблю тебя, вот такого, непутевого, загнанного, затравленного.

№ 33

Л О П А Т И Н Ъ, Германъ Александровъ, родился въ 1845 г., потомственный дворянинъ Нижегородской губерніи, сынъ Управляющаго Ставропольской Казенною Палатою, окончилъ курсъ въ Ставропольской гимназіи и С.Петербургскомъ Университетѣ со званіемъ кандидата(въ 1866г.). Въ 1865 г. Лопатинъ состоялъ подъ слѣдствіемъ Университетскаго Начальства за возбужденіе студентовъ къ демонстраціямъ. Въ Маѣ 1866 г. онъ былъ арестованъ по дѣлу Каракозова, содержался въ крѣпости два мѣсяца, затѣмъ былъ оправданъ и освобожденъ отъ всякой отвѣтственности. Въ Февралѣ 1868 г. Лопатинъ былъ привлеченъ къ слѣдствію, производившемуся въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Слѣдственной комиссіи, по обвиненію въ намѣреніи его вмѣстѣ съ дворяниномъ Феликсомъ Волховскимъ устроить тайное общество, цѣль котораго состояла въ развитіи народа въ извѣстномъ направленіи при помощи странствующихъ учителей изъ молодыхъ людей. По рѣшенію этой комиссіи, Лопатинъ былъ высланъ въ мѣстожительства его родителей въ г.Ставрополь подъ непосредственный надзоръ отца и строгое наблюденіе мѣстныхъ властей, съ предоставленіемъ ему права

Жандармский разыскной лист на Г. А. Лопатина.

— Не преувеличивай, пожалуйста.

— Все это так. Сущая правда. Ты не показал мне бумагу о розыске девятнадцати лиц, безвестно отсутствующих. Слова-то какие придумали — самых известных в России людей в безвестные вывели. И пустили по их следу всю свору. По вашим следам идут и травят. Понимаешь — травят, как красного зверя!..

— Я не хотел тебя расстраивать.

— А бумагу не спрятал. И я прочла. И буду читать все, что касается тебя, что угрожает тебе. И ничего плохого не прячь, не утаивай. И обещай мне так часто и надолго не ездить туда... в Петербург.

— Не могу. Понимаешь, Зинаида свет Степановна, не могу я без Родины. Она без меня проживет, а я без нее не могу. Как-то Лавров про это сказал — *«всегдашняя верность»*. Пожалуй, лучше не выразишь — *«всегдашняя верность»!*

7

...Тоска по Родине, по товарищам, по родным нарастала, и наступал момент, когда Лопатин оставлял все эмигрантские дела и уезжал в Россию. «Командировки» продолжались от трех-четырех дней до трех-четырех месяцев. По просьбе Маркса отвозил Даниельсону литературу. Сдержал слово — на обратном пути доставил Петру Лаврову верную «няньку и кормилицу» — его дочь Марию, которой угрожал арест по делу брата мужа — Эммануила Негрескула. За время «путешествия по С.-Петербургу и окрестностям» осенью 1876 года собрал довольно много писем по разделу «Что делается на Родине» и подборку тюремных стихов Феликса Волховского и Сергея Синегуба, а использовать не удалось. На съезде представителей рус-

ской группы, поддерживавшей материально издательство «Вперед!», возникли разногласия по программным, политическим вопросам. Резко критические материалы раздела «Что делается на Родине» пугали петербуржцев-впередовцев. Лавров остался «в одиночестве» и вышел из редакции. Было принято решение — прекратить выпуск газеты «Вперед!». Лопатину сообщил об этом его друг Валерьян Николаевич Смирнов, или Ноэль — по нелегальной переписке. Лопатин не сразу поверил в случившееся. Как это можно не издавать газету, когда удалось наладить ее тайную транспортировку и по суше и по морю, и ее повсеместно читают на Родине, передают из рук в руки, ждут каждый новый номер? Да и финансовые дела значительно поправились после того, как Иван Сергеевич Тургенев стал ежегодно выделять для издательства «Вперед!» 500 франков. Эти деньги по просьбе Лаврова получал Герман Лопатин и посылал в Цюрих. Гостеприимный, радушный хозяин принимал гостя у себя наверху, в одной из маленьких комнаток скромного домика на улице Дуэ. При каждой встрече Иван Сергеевич настойчиво просил ознакомить с российскими новостями. И слушал внимательно, поощрительно улыбаясь и любуясь своим соотечественником.

Лопатину приходилось обращаться к Тургеневу за денежной помощью в «особо экстренных случаях». Эти визиты для скромного, щепетильного Германа Александровича всегда были тягостными и грустными. В одном из писем к Лаврову Лопатин признавался:

«...По нужде я, конечно, мог бы обратиться к Тургеневу, но очень желал бы, чтобы эта чаша миновала меня... Есть вещи, в которых я большой трус: ходить из лавки в лавку и справляться о курсах и ценах, уйти из магазина ничего не купивши, и попросить денег, хотя бы

не для себя, а для другого или на «дела», для меня чистая мука. Я «подхожу» к сюжету добрый час».

Иногда «в суровой безысходной нужде» Лопатина выручал выдающийся русский изобретатель в области электротехники Павел Николаевич Яблочков. Во время нелегальной поездки на Родину в 1878 году Лопатин защищал (под чужим именем) в коммерческом суде П. Н. Яблочкова и спас его от долговой тюрьмы. В том же письме к П. Л. Лаврову Лопатин сообщал:

«...Я совсем забыл о Яблочкове. Я бы попросил у него просто 100 франков на *отправку „одной личности“*»[105].

Лопатин не называет, кого из друзей нужно было срочно отправить на Родину. Он знал о том, что всесильное III отделение постоянно засылает за границу своих агентов, которые перехватывают письма русских эмигрантов и доносят в столицу об их «вредной антиправительственной деятельности». Таким тайным шпионом-провокатором довольно крупной величины был Александр Фабианович Балашевич, долго скрывавшийся под именем графа Альберта Потоцкого. Он сумел войти в доверие к Лаврову и завязать с ним переписку по «сугубо магазинным делам». Лопатину удалось разоблачить опытного агента и предупредить об этом специальным письмом Петра Лавровича. «...Я видел... письмо сыщика Бутковского к шефу жандармов, в котором он жалуется на интриги против него Балашевича (графа Потоцкого), вследствие того, что некоторые обязанности того были переданы ему и что он очутился из его подчиненных его начальником. *Подлинность этого документа* для меня не подлежит *никакому сомнению.* И содержание и форма таковы, что не оставляют места для сомнения человеку, сколько-нибудь знакомому с чиновничьей литературой. Я лично вполне убежден, что Альберт сыщик не у дел»[106].

...Ночь 29 января 1877 года. Лопатин сидит за столом, тихонько потирает ладонями болезненно ноющие виски. Радуется тишине. Наконец-то успокоился, закрыл рот и глаза звонкоголосый, чем-то недовольный сын. И сразу же уснула измученная, заметно похудевшая, бескровно-бледная Зина. Можно вздремнуть хотя бы часок, но пришла пора ответить на последнее письмо Петра Лавровича. Будет беспокоиться. Обидится. Надо сообщить главную новость. Лопатин берет из пачки лист бумаги, медленно пишет:

«...Вчерашнее Ваше письмо пришло как раз, когда у Зины начались муки, а сегодняшнее застало уже меня отцом сына... Зина еще очень слаба. Я не спал почти всю ночь, да и эту немного доведется спать. Обязанностей у меня теперь немало (хотя, благодарение небу, есть и помощницы). Голова трещит страшно» [107].

Лопатин отодвинул письмо — получается какой-то бледный отчет о случившемся. Родился сын! Первенец! И об этом надо немедленно сообщить в Ставрополь. Пусть старики узнают, что у них появился еще один внук. Житель Лондона. И можно подать старшему священнику отцу Антонию Чаленкову евангелический лист о провозглашении здравия новорожденного сына божия... Только имени у сына еще нет. По алфавитной росписи святых на день 26 января значатся преподобный Ксенофонт, Аркадий и Симеон. Можно было бы остановиться на Аркадии. Звучит недурно — Аркадий Германович. Только при чем здесь Ксенофонт, Аркадий и Симеон, если выбора нет у того, кто прячется под английской фамилией Барт? Есть хорошие имена не только в алфавитной росписи святых. Есть любимое с юности имя Бруно. Да, Джордано Бруно, знаменитый итальянец эпохи Возрождения, восставший против схоластики

Д. А. Клеменц, публицист, поэт.

и католической церкви, материалист, еретик, сожженный на площади Цветов в «вечном городе» — Риме. Зина, пожалуй, не будет возражать. Не век жить на чужбине. При возвращении в Россию ей будет легче. Безопаснее выехать со своим русским паспортом и с английским ребенком Бруно Бартом, находящимся на ее обеспечении, чем с сыном Германа Лопатина. И, конечно, их следует направить на Родину раньше, чем выберешься сам. На дорогу нужны деньги. Малыш принес новые заботы и расходы. Придется работать ночами. Михаил Константинович Элпидин весьма одобрительно отозвался на предложение издать стихотворный сборник «Из-за решетки». В него войдут произведения 19 авторов, осужденных и ожидающих суда. Охотно откликнулся на просьбы и прислал 23 стихотворения верный друг Феликс Волховской, скрывшийся под псевдонимом А. Горный. Его прямые, честные, волнующие строчки можно было бы поставить эпиграфом:

Кричи о равенстве, о братстве, о свободе,
За правду честный бой без устали веди,
Греми на деспота проклятьем и в народе
Сознание и мужество буди!

К сборнику нужно написать предисловие. Элпидин просил это сделать Клеменца. Вскоре Дмитрий Алексан-

дрович прислал небольшую статейку о «тюремных буднях русских заключенных». Издателю она не понравилась. Оказались неудачными статьи еще двух авторов... Издатель отослал все «заготовки» к составителю с нижайшей просьбой выкроить из трех предисловий одно, но настоящее...

Предисловие, как и стихи сборника, должно народное сознание и мужество будить! Ему положено быть предельно кратким, а это для автора самое трудное условие. Надо рассказать о русских революционерах на свободе и в неволе. О тех, что впервые подняли красный флаг на демонстрации у Казанского собора — почти у самого Зимнего дворца. И о восставших и осужденных крестьянах Чигиринского уезда. И об арестованных «за принадлежность к противоправительственному обществу» 193 боевиках и пропагандистах, ожидающих судебной расправы в Доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Среди них родной брат Всеволод, самый близкий друг Феликс Волховской и авторы сборника Сергей Синегуб и Николай Морозов. И о раскрытом и арестованном «Южнорусском рабочем союзе». Да и о литературе, посвященной описанию «мучеников правды ради», тоже нужно, хотя бы кратко, рассказать...

Издатель торопит: книгу нужно отпечатать и отослать в Россию до начала «большого процесса». И Лопатин отодвигает все дела, даже на срочные письма не отвечает, думает только о предисловии к сборнику «русских заключенных». Каждый абзац переписывает несколько раз, добиваясь предельной простоты и выразительности. Ведь книга адресуется малопросвещенному, простому народу.

Рассказав о рабочем Иване Львове и крестьянине Григории Крылове, до суда погибших в тюремной одиночке, и о гражданском мужестве молоденькой, но одушев-

Н. А. Морозов, член Исполнительного комитета «Народной воли».

ленной «мощным духом» Софии Бардиной, приговоренной к медлительной каторжной смерти, Герман Лопатин написал призывные строки о будущем своей многострадальной Родины:

«...Беспощадный анализ всех междучеловеческих отношений, произведенный современной наукой об обществе, раскрыл глаза людям мысли и знания и показал им всю чудовищную несправедливость нынешнего общественного строя, всю глубину и обширность эксплуатации невежественной, задавленной людской массы на пользу ничтожного просвещенного меньшинства...

Люди сильные волею и чувством сделали, не колеблясь, свой выбор и решительно и бесповоротно бросились в борьбу со злом, в священную войну за попранную справедливость, за новый *лучший общественный строй*...

Волны движения, распространяясь далее и далее, захватывая все большие и большие людские массы, сольются между собою и вырастут в крупные валы; и надвинется первый вал, второй, третий и, наконец, последний, *девятый,* вал народного воскресения... И сокрушит он вдребезги разбойничий корабль, разметав его щепки и потопив его кормчих в пучине всенародного гнева за

тысячелетнее насилие!.. И это не «мечта», а *исторический закон...»* [108]

28 октября 1877 года Лопатин сообщал издателю Элпидину:

«...Послал 20 и еще будет 10 страниц.

Моя страница составит не менее печатной странички петита, такого формата, как «сборник».

Сейчас же сажусь за продолжение (то есть за окончание) и надеюсь, что за мною задержки не будет»... [109]

Окончание оказалось еще более трудным, чем начало. В нем Лопатин сделал краткий, но весьма яркий и резкий обзор легальной современной литературы о так называемых «нигилистах-пропагандистах».

Осудив с нескрываемой ненавистью продажных заурядных литераторствующих холопов типа Григория Градовского, автор выразил сожаление о том, что бывший петрашевец, уважаемый, обладающий огромным талантом, Федор Достоевский «обращается так бесцеремонно и безжалостно со своими историческими преемниками» в романе «Бесы».

А потом нужно было объективно оценить напечатанный в начале года в «Вестнике Европы» роман Тургенева «Новь». Лопатин долго сидел над чистым листом, вспомнил, как осенью прошлого года вместе с Лавровым заходил к Ивану Сергеевичу, чтобы послушать главы нового романа. Автор смутился и, не глядя на гостей, сказал, что сегодня он не настроен к чтению вслух, но в скором времени получит корректурные листы и может предложить их для ознакомления. Видно, чувствовал, что сочинение его не понравится слушателям. Да так оно позже и получилось: и Петр Лавров, и Феликс Волховской, и Дмитрий Клеменц, прочитав «Новь», решительно осудили авторское стремление, вольно или невольно, принизить, исказить образы русских революцио-

неров. Конечно, очень неприятно говорить любимому писателю и доброму другу, что книга получилась скверной, но приходится поступать так, как велят долг и совесть. Вероятно, обидится, может, даже порвет дружеские отношения, но правда жизни превыше всего. И Лопатин пишет, что в романе «Новь» выведены не характерные для народовольческого движения типажи и что действуют они «самым несообразным, чтобы не сказать смешным, образом; вследствие чего у читателя невольно получается самое неверное представление как о внутренних мотивах, толкающих наших революционеров на избранный ими путь, так и о формах их деятельности и о степени сознательности их упований».

Лопатин объясняет причины творческой неудачи: «...даже сильный талант бессилен изобразить среду, относительно которой он имеет лишь кое-какие отрывочные сведения, особенно при стеснительных условиях нашей подцензурной прессы; и что если он и не натравливает общество на носителей новых идей, как это делают другие, то все-таки способствует составлению уродливого представления о новом историческом моменте и его деятелях». И обидно и горько, что страницы «Нови» писались в то время, «когда подлинные герои: рабочий Марк Малиновский, сказав свое умное и смелое слово в сенате, сидел в центральной каторжной тюрьме в ожидании смерти; когда крестьянин Григорий Крылов умирал в заключении, не дождавшись суда; а Петр Алексеев выступал перед судом с своей речью...»

Свое затянувшееся предисловие Лопатин заканчивает сердечным обращением к друзьям-читателям:

...«Мы надеемся, что это сочувствие к нашим мученикам, вызванное их скорбными песнями, подтолкнет сочувствующих людей к изучению тех идей, которые привели их к мученичеству... Мы глубоко верим в *заразительность* этих идей, ибо в них истина...

Пусть же бьются молодые русские сердца, читая и перечитывая задушевные строфы своих братьев, понявших закон исторической необходимости и отдавших себя на служение народу, презрев неистовство, угрозы и притеснения временной и призрачной силы ради единой действительной и вечной силы!..»

В декабре 1877 года Лопатин получил десяток небольших по формату, хорошо изданных книжек, в светло-серых мягких обложках, озаглавленных «Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенников, по политическим причинам в период 1873—77 гг. осужденных и ожидающих суда». Прочел придирчиво и строго. Убедился, что даны полностью все примечания к событийным стихам. Порадовался. Такую книжку приятно подарить друзьям — от составителя, редактора, корректора и автора предисловия. И Герман Лопатин послал сборник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу — в знак благодарности за постоянно получаемые их сочинения, и Петру Лаврову, Дмитрию Клеменцу, и матери Феликса Волховского, и Ивану Билибину. Получил книгу «Из-за решетки» также Иван Сергеевич Тургенев, но ответил не Лопатину, а — ошибочно — украинскому историку, публицисту и политическому деятелю эмигранту Михаилу Петровичу Драгоманову:

«Я давно собирался написать Вам, чтобы поблагодарить Вас за доставление мне Ваших изданий... Не знаю, от Вас ли я получил последнюю посылку... заключающую стихотворный сборник «Из-за решетки»... но пользуюсь случаем, чтобы высказать Вам некоторые мои мнения...

Два слова о сборнике. Не буду говорить о предисловии, *талантливо и умно* написанном, ограничусь только заявлением, что не могу согласиться с мнением автора, будто бы мои труды «содействовали искажению образа мученика правды ради». При данных условиях,

я мог сделать только то, что сделал,— и, по-видимому, результат не совпадает с выводами и заключениями моего критика» [110].

Весьма одобрительно отозвался о сборнике «Из-за решетки» Петр Лавров, как о продолжении типично «впередовских изданий». Понравилась и пригодилась книга многочисленным друзьям Лопатина на Родине, где он с радостью вновь побывал. Поездка была продолжительной и полезной. Лопатин посетил не только Петербург, но и Одессу, Севастополь и Симферополь. На обратном пути, презирая опасность, завернул в Ставрополь и в последний раз встретился со стариками-родителями.

Возвратившись благополучно на чужбину, Герман Лопатин написал 23 ноября 1878 года письмо Фридриху Энгельсу:

«Дорогой Энгельс!

Большое спасибо за Вашего «Дюринга»; я нашел его вместе с Вашим письмом на своем столе по приезде из России, где я провел эти последние четыре месяца. Трудно передать Вам свои впечатления, да еще на языке, которым я так слабо владею. Итак, буду краток.

Социалистическая пропаганда среди крестьян, по-видимому, почти прекратилась. Наиболее энергичные элементы из числа революционеров перешли инстинктивно на путь чисто политической борьбы, хотя и не имеют еще нравственного мужества открыто признаться в этом и хотя эта политическая борьба носит пока чрезвычайно узкий характер, ограничиваясь исключительно актами мести в отношении некоторых лиц и попытками освободить своих отдельных товарищей. Что касается общества вообще, то в нем исчезают с каждым днем последние следы уважения к правительству, и оно нередко взирает с сочувствием на действия крайней партии. Но так как

мир окончательно еще не заключен [111], то общество не может пока заняться своими собственными делами, и остаток патриотизма, или, если хотите, шовинизма, мешает ему вызывать «внутренние беспорядки» на «радость нашим врагам»...

...Я не знаю, хватит ли у меня сил долго оставаться за границей, но всю зиму я думаю все же провести в Париже, чтобы закончить заказанную работу и заработать немного денег.

Надеюсь, что Маркс и его семья, так же как и вы и все Ваши, чувствуют себя хорошо?..

...От всей души жму Вашу руку. Сердечный привет Вашей семье и семье Маркса.

Ваш Г. Лопатин» [112].

Вскоре пришло ответное письмо Энгельса. В нем были горестные и радостные вести, заставившие Лопатина прервать работу над переводом статьи, обещанной для «Отечественных записок», и склониться над чистым листом бумаги. У друга огромное горе — еще 12 сентября умерла его верная подруга Лиззи Бёрнс. И не верилось, что в доме Энгельса нет этой умной, здоровой, веселой, с отзывчивой, добрейшей душой и заботливыми, творящими домашние милые чудеса руками женщины. И первые строки Лопатин посвящает ее памяти:

«Дорогой Энгельс!

С чувством величайшей скорби узнал я о смерти госпожи Энгельс. Я всегда живо помню дружескую сердечность, которую она постоянно проявляла ко мне, и никогда не забуду, как облегчал мою прежнюю одинокую жизнь в Лондоне тот любезный прием, который я постоянно встречал у Маркса и у Вас. Да будет земля пухом этой бедной доброй душе!»

Написав эти скорбные строки, Лопатин долго думал над вопросом — как ответить Энгельсу, пожелавшему

ему сейчас не возвращаться в Россию, где угрожает постоянная опасность ареста и судебной расправы, а остаться в спокойном Париже. Совет сердечный, дружеский (с учетом пожелания и Маркса), но оставаться на чужбине дальше невозможно. Совершенно иссякло терпение у Зины. Последний разговор был нервозным и тягостным. Все вспомнила: и преждевременную смерть любимой сестры Надежды, которую не могли вылечить дорогостоящие, хваленые иностранные врачи, и постоянную мучительную копеечную нужду, и неизбывную тоску по родным и близким. Малейшее возражение: «Надо подождать, пока не перечислят деньги за перевод Карпентера», — вызывало болезненное раздражение:

— Пойми, я не могу больше ждать. Никому не нужен твой перевод Карпентера. Нашел тоже сочинение: «Столоверчение и спиритизм. С исторической и научной точек зрения». Ничего не получишь! Вспомни-ка, сколько раз ты оставлял меня в этой конуре и удирал в Петербург?

— По делам уезжал... А ты училась... Сдавала экзамены в медицинский.

— Свои лучшие годы я не жила, а, как выражаются модные писатели, «влачила жалкое существование». Я задыхаюсь, чахну здесь, как зачахла в двадцать пять лет Надя. Пойми: я хочу пожить для себя и для сына. Посмотри, какой он худенький и бледный. Я повезу его в деревню Межно, к сестре Людмиле. На парное молоко, на ржаной хлеб, на свежий воздух. Я хочу, чтобы он был русским, а не французом или швейцарцем.

Бруно сидел на полу и, забыв о кубиках, испуганно, снизу вверх смотрел на сердитую маму. Нужно было успокоить и жену и сына.

— Ладно! Собирайся и уезжай в Межно. Я займу деньги на дорогу у Лаврова или у Тургенева.

Зинаида Степановна уложила свои вещички и уехала. Расставание было коротким и грустным. На вокзале все время держал сына на руках и целовал порозовевшие на морозце щеки и жадно слушал его смешные картавые слова и торопливо отвечал на бесконечные «а это что?», «а это кто?». И врезались в память: улыбающаяся, заметно похорошевшая Зина и рядом с ней белокурый, голубоглазый Бруно, неловко бьющий по стеклу вагона маленькой белой ладошкой. И пока видел их, шел за поездом и махал рукой. А уходил с вокзала, как с кладбища...

И вспомнив все это, Лопатин написал Энгельсу еще несколько строк:

«Ваши советы, может быть, очень благоразумны и хороши, но я, кажется, не в состоянии буду долго оставаться за границей и скоро вернусь на родину, конечно, под чужой фамилией. Мой авангард (жена и сын) уже там. Жена моя, с которой я не сочетался законным браком из-за отсутствия необходимых документов, не носит моей фамилии: это могло бы ей только повредить. Что же касается моего сына, то он живет там в качестве маленького подданного «ее величества королевы Великобритании» (это стоило мне в свое время лишь небольшой ложной присяги в Лондоне). Я не могу еще пока сказать Вам окончательно, когда уеду; прежде всего надо заработать немного денег. Все это последнее время я лихорадочно работал... Мне незачем прибавлять, что я прошу Вас считать это сообщение *строго конфиденциальным*».

Лопатин подумал о том, что последнюю фразу можно было бы и не писать, но вычеркивать не стал. Ясно, что дальше Маркса это сообщение не пойдет. Недавно Лавров сообщал о том, что Маркс завершил второй том «Капитала». Если это так, то надо получить верстку и незамедлительно приступить к переводу. Это самая

интересная, самая нужная работа. Удобнее, пожалуй, расспросить о «Капитале» Энгельса, а не самого автора. И Лопатин написал:

«Со всех сторон я слышу, что Маркс уже закончил свой второй том и послал первые его листы в типографию в Гамбург. Это действительно так?[113] Как-то не верится. Но если это правда, то у меня будет еще одна работа по переводу. Если этот том не сможет выйти в России, то я надеюсь найти издателя, который согласится выпустить его на русском языке за границей.

«Начало» больше не выходит. Вместо нее в С.-Петербурге существует теперь другая газета «Земля и воля» с программой менее расплывчатой, чисто «социально-революционной». Попытки правительства разыскать тайную типографию, которая великолепно работает, оказались бесплодными.

Своими реакционными мерами ваше германское правительство почти конкурирует с нашим. Запрещение Вашего «Дюринга», работ Лассаля, а также последнее предложение Бисмарка о введении парламентской цензуры прямо великолепны.

Поздравляю Вас и Маркса с семьей с Новым годом и желаю Вам, вам всем, всякого благополучия. Лавров желает того же самого. И до свидания, если таковое станет возможным.

Ваш Г. Лопатин»[114].

О своем желании заняться переводом второго тома «Капитала» Герман Лопатин сообщил также Николаю Даниельсону: «...если бы это оказалось правдой, то это было бы пречудесное дело... Вклад в науку, и превосходная работа, для которой стоило бы бросить все остальное».

В том же письме Лопатин признается в том, что он очень любит Маркса и всю его семью. «Знаю, что и они

меня любят, — любят просто, по-человечески, независимо от научных или партийных отношений; люблю я жить близко от них и беседовать с ними...»

И взволнованно рассказывает другу, что Карл Маркс очень хорошо относится к своему постоянному корреспонденту из Петербурга Николаю Даниельсону: «...Для человека, живущего жизнью мысли, *понимающий его и сочувствующий* ему корреспондент становится понемногу настоящим *живым* другом, *особенно* когда он постоянно оказывает ему дружеское содействие в его труде и принимает к сердцу даже его жизненные интересы. К тому же в дружеских застольных беседах я так много болтал с К. М. и его семьей о тебе, что ты известен им даже с физической стороны, т. е. облекаешься в их представлении плотью и кровью. При каждом моем возвращении из России они всегда усердно расспрашивали меня о тебе»[115].

...Побывав в феврале 1879 года у Карла Маркса и передав ему присланные Николаем Даниельсоном «Труды податной комиссии», Герман Лопатин выехал в Россию.

9

Темнело, когда Лопатин со станции Сиверская пришел в небольшую деревеньку Межно. У парнишки, идущего с ведром от колодца, спросил, где живет приезжая барыня с маленьким сыном.

— Вон, третий дом с краю, — указал парнишка. — Видишь, тесом шитый.

Лопатину повезло. Сестры Корали ужинали. Бруно сидел на коленях матери и деревянной ложкой, самостоятельно, ел комковатый, подслащенный творог.

После радостных восклицаний и поцелуев Лопатин умылся под рукомойником и сел за стол. Шла вторая

седмица великого поста, но здесь жили грешники, и проголодавшемуся Лопатину показались удивительно вкусными домашний, хорошо пропеченный, солнечно яркий хлеб, и похрустывающая, коричневатая, поджаренная на свинине картошка, и свежий творог, и прохладное, густое молоко. И все это вдруг напомнило далекое детство и мамин стол, по достоинству оцененный домочадцами, как «пища богов».

После ужина Лопатин хотел было пойти с Бруно погулять на улицу, но Зина отговорила:

— Там темно, холодно и грязно. Да и соседи могут приметить. Играйте на полу.

Пришлось катать сына на спине в узком проходе между двумя кроватями. Удовольствие малое: нет простора, негде развернуться ни «лошадке», ни «всаднику». К тому же в разгар веселья последовала команда:

— Девять часов. Ребенку пора спать. Да и керосин надо беречь.

Бруно запротестовал:

— Не хочу в кровать. Хочу к папе.

Но мама не уступила:

— Тихо! Будешь капризничать, поставлю в угол.

Лопатин сел на лавку. Любовался сыном и женой. Как дивно изменились они за три месяца *русской жизни*. У белолицего Бруно появился на щеках прочный яркий румянец. Зина налилась силой, приобрела типично российскую дородность и статность. И глаза молодо блестят, и губы алеют, как при первой встрече...

Лопатину постелили на полу. Долго лежал, не закрывая глаза, слушал, как ровно, спокойно дышит сын, ворочаются сестры. И Зина пришла неслышно, провела тихой рукой по щеке, шепнула в ухо:

— Ну что ты не спишь, полуночник...

...А утром поссорились. Обоюдно неприятный разговор начался, когда Лопатин сказал, что завтра поедет

Сын Г. А. Лопатина Бруно.

в Петербург и задержится на неопределенное время по срочным и важным делам.

— Ни в коем случае! — воскликнула Зинаида Степановна. — На прошлой неделе какой-то юнец-террорист на улице стрелял в шефа жандармов Дрентельна, но промахнулся и успел скрыться[116]. Его усиленно разыскивают. Арестовывают подозрительных. Тебя схватят, как только сойдешь с поезда. Нельзя рисковать.

— Ничего не поделаешь, Зинаида свет Степановна, я все время рискую. Можно сказать — рискованный человек. Я непременно должен встретиться с друзьями, побывать у издателей и в редакции журнала...

— Да ты с ума сошел! У тебя такое характерное лицо. Ты погубишь и себя и нас. Пойми — Петербург не для тебя. Можешь жить и работать в каком-нибудь провинциальном городе, в Луге, в Пскове или в Новгороде. Даже в Гдове, на берегу изумительного Чудского озера.

— Подумай, что ты предлагаешь? Ведь я должен постоянно пользоваться Публичной библиотекой. Возможно, в этом году я буду переводить второй том «Капитала» Маркса...

— Ты уже «Капитал» переводил, а капитала не нажил. На переводах много не заработаешь. Надо подыскивать более спокойную и, главное, лучше оплачивае-

мую работу. Ты можешь быть учителем, журналистом и даже чиновником с положением...

Лопатин хотел возразить, но заплакал разбуженный спором Бруно.

Герман Александрович взял сына, посадил на плечо:

— Будь мужчиной, Бруно Барт!

Зинаида Степановна укоризненно сказала:

— Ну куда ты его потащил? Надо одеть ребенка.

Отец молча передал сына матери и вышел на улицу. Постоял у палисадника, послушал, как радуются весне взъерошенные, мокрые воробьи и голуби, успокоился и вернулся в дом.

Помириться с женой не удалось. Весь день занимался с Бруно. Когда стемнело, трижды поцеловал сына, сказал:

— Я скоро вернусь и привезу тебе много-много веселых игрушек, — и, низко поклонившись хозяйке, пошел на станцию.

Зинаида Степановна догнала, кинулась на шею:

— У кого остановишься, безумный упрямец?.. Я не выдержу. Приеду.

— У Яблочкова или у Даниельсона.

— Лучше у Даниельсона.

— Придется у того и у другого. Все будет хорошо. Иди, не простынь, не простудись...

Лопатин поцеловал жену и быстро зашагал по мокрой, скользкой дороге.

10

...В Петербурге Германа Лопатина угнетало постоянное, обостренное чувство опасности. Ему все время казалось, что за ним подсматривают, идут по следу, устанавливают друзей-сообщников. И, опасаясь за их безо-

пасность, Лопатин впервые не пошел ночевать к Николаю Даниельсону, а встретился с ним на службе — в Петербургском обществе взаимного кредита. Передал привет от Лаврова и Энгельса, поинтересовался, как расходятся переведенные им и изданные в столице И. И. Билибиным книги Спенсера, Карпентера, Тэна. Оказалось, что охотнее всего покупают спенсеровскую «Социологию». Порадовался, что никто из друзей пока не арестован. Спросил:

— Можно ли остановиться у Любавина?

— Не советую. Жена пугливая, трое детей, а главное, наш Любош перешел на чистую науку и стал магистром химии и коллежским асессором.

Ночь Лопатин провел в доме № 17 по 8-й линии Васильевского острова у старого, доброго друга, академика Николая Николаевича Зинина. Терпеливо выслушал все столичные новости. Хозяйка подробно и весьма восторженно рассказала гостю о литературном вечере в пользу нуждающихся слушательниц женских педагогических курсов [117], на котором выступали поэты Плещеев, Полонский, Вейнберг и сам Тургенев.

— Вы знаете, это было что-то необыкновенное. Иван Сергеевич превосходно прочел рассказ «Льгов». Слушательницы Бестужевских курсов преподнесли ему венок и адрес. И так долго и шумно приветствовали, что Ивану Сергеевичу стало не по себе, ведь он выступал не один, а с друзьями литераторами; а все лавры достались ему.

— Полагаю, что слишком шумные аплодисменты услышали в Зимнем дворце, — хмуро улыбнулся Лопатин. — Ведь по соседству находятся. Естественно предполагать, что полнейшее примирение Тургенева с молодежью и столь шумные, как вы справедливо заметили, встречи не понравятся столичным властям...

Хозяйка согласилась.

А на следующий день Лопатин решил это же опасение высказать самому Тургеневу и направился в Европейскую гостиницу. На визитной карточке, удостоверяющей, что податель ее — коллежский секретарь Афанасий Григорьевич Севастьянов, на всякий случай написал: «Привет из Буживаля». Карточку, с двугривенным, вложил в ладонь сумрачно важного швейцара:

— Извольте передать господину Тургеневу.

Швейцар довольно быстро вернулся:

— Иван Сергеевич вас ждут.

Тургенев что-то писал. Увидев Лопатина, вскочил, положил руки на плечи нежданного гостя:

— Безумный вы человек! Можно ли так рисковать собой?

— Можно, когда нужно. Я зашел предупредить вас, Иван Сергеевич, что слишком бурные аплодисменты ваших почитателей могут обозлить Третье отделение. Вспомните, как дорого обошлись восторженные овации историку Костомарову... Милейший и умнейший Дмитрий Иванович Менделеев внушал нам, студентам: «Шумите про себя, в науке чинопочитание обоюдно вредно».

— Я и сам чувствую, что в столь затяжных и гулких овациях ощущается явный перехлест. Ведь, в сущности, не меня чествуют, а бьют мною как тараном в самодержавное правительство. Вот так... как наши предки дубасили в чужеземные крепостные ворота.

— Все это вы весьма выразительно изобразили, Иван Сергеевич. Однако роль-то сия очень опасна.

— Ну и пусть! Ну и пусть! Я очень рад... Афанасий Григорьевич. А скажите — «Привет из Буживаля» всерьез или просто намек?

— Только намек. Без вас мне Буживаль не улыбается. Единственное существо, которое постоянно симпати-

зирует мне, так это ваша любимица Клавдия. В ней определенно есть что-то русское, что-то ваше...

— Не преувеличивайте, господин Севастьянов, — погрозил пальцем Иван Сергеевич. — Скажите, а где ваша красивая жена?

— Гостит у сестры Людмилы под Сиверокой.

В дверь постучали.

Лопатин встал, поклонился:

— К вам гости. Продолжим разговор в следующий раз. Мой совет — сократите выступления.

— Хорошо, — согласился Тургенев и порывисто пожал руку Лопатину.

...Через день Лопатин снова зашел к Тургеневу. Иван Сергеевич закрыл дверь на ключ, сказал:

— Как я рад, что вы пришли. Вы мне очень нужны.

— Сочту за честь оказать вам любое содействие.

Иван Сергеевич положил руки на плечи Лопатина, заговорил взволнованно и тревожно:

— Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите отсюда. И ради бога — поскорее! Я слышал: не сегодня, так завтра вы будете арестованы.

— Осмелюсь спросить: из какого источника сей недобрый слух...

— Мне передавал все знающий журналист Стечкин. А он выпытал от какой-то важной, приближенной к властям особы. Я хочу, чтобы вы поняли суть дела — о вашем прибытии в столицу уже знают жандармы и, как выразилась эта особа, скоро посадят вас на веревочку. Не дожидайтесь сей печальной участи, немедленно выезжайте в Париж.

Лопатину было крайне неприятно возражать близкому, желающему ему добра человеку, но нужно было выполнить издательские поручения Лаврова и встретиться с приехавшим из Симферополя по «общему делу»

Егором Коведяевым, а также с Григорием Старцевичем и доктором Орестом Веймаром. Пришлось сказать правду:

— Я никуда не поеду. Не могу. У меня незавершенные дела, встречи. Благодарю вас, дорогой Иван Сергеевич, за все доброе, что вы делали и делаете для меня.

Тургенев сокрушенно покачал головой:

— Весьма сожалею, что не смог вас убедить, непостижимый моему разуму человек. Может, у вас нет денег на дорогу? Я могу одолжить...

— Спасибо. Завтра я получу за перевод Спенсера достаточную для переездов сумму...

11

Письмо З. С. Абсеитовой в Париж П. Л. Лаврову:

«...Не знаю, право, какую прелюдию сделать по поводу ужасного события, случившегося в пятницу 23 марта. Герман арестован. Как это случилось, не сумею Вам написать. Напали прямо на его след, пришли с обыском прямо на его квартиру [118]. Предполагаю, что Яблочкин был прав, когда уверял Германа не ходить к нему...

Я пришла к Герману на новоселье с одним господином... И каков был мой ужас, заставши там жандармов, полицию и т. д. Во время обыска у него нашли карточку, на левой стороне которой было написано имя и фамилия Германа. Взяли его перевод. Но преступного ничего не нашли, да как вам известно, и не могли ничего найти. У меня тоже был сделан обыск, но тоже не могли ничего найти. Меня повезли в Третье отделение. Заставили меня написать всю свою биографию. Затем спросили про Германа. Еще во время обыска Герман не нашел нужным скрывать, кто он, так как, по его мнению,

они уже знали и что запирательство только усложнило бы дело. Стало быть, и я не скрывала. На вопрос, зачем он приехал, я сказала, что для меня. Затем мне сейчас велели дать расписку о невыезде из Питера и выпустили меня. Господина же, который был со мной при обыске (Коведяева. — *Н. К.*) [119], арестовали.

Вчера я ходила просить о свидании и спросить, где сидит Герман. Мне сказали, что его пока оставили в Третьем отделении. Сейчас мне нельзя позволить свидание, так как требуется спросить об этом государя, но надеются, что в понедельник, вероятно, позволят [120]. Это будет завтра. Люди компетентные уверяют меня, что легко может быть, что это дело очень серьезных последствий иметь не будет, так как все-таки Герман ни к какой партии не принадлежит. И у него всего одна беда: бегство его и письмо к государю. В прошлом году эти факты имели бы худшее значение, чем теперь, так как другие уж слишком разозлили власти...

Во всяком случае, пока дело еще в самом неопределенном положении. Я официально хожу как его жена, и со мной, правду сказать, крайне любезны и даже предупредительны...

Буду держать Вас в курсе этого события, так как Вы слишком любили Германа. Передайте об этом печальном событии всем его друзьям и знакомым.

Затем прощайте. Больше писать я не могу, так как утомлена я ужасно...» [121]

О несчастье, обрушившемся на Лопатина, сообщил также Лаврову И. С. Тургенев. Он писал:

«Что теперь сделать — сказать трудно: через Абазу [122] и т. д. действовать немыслимо... У меня в голове вертится нечто другое — конечно, неверное... но попытаться следует. Лопатин оскорбил лично А[лександра] Н[иколаевича] — это не прощается... Очень его жаль» [123].

12

...На допросах Лопатину пришлось опровергать обвинения, выдвинутые не против него самого, а против некоего коллежского секретаря Афанасия Григорьевича Севастьянова, по паспорту которого он приехал из Парижа в Петербург. Жандармы-следователи упорно стремились превратить чисто случайные совпадения в «совокупность преступных деяний, караемых по всей строгости закона». Подвести под закон беззаконие!

Вначале следователи настойчиво «втягивали» Лопатина в дело Бориса Ненсберга, в квартире которого при обыске были найдены: разобранный типографский станок со всеми принадлежностями, склад изданий Петербургской вольной типографии, адреса и письма. Арестованный 25 февраля 1879 года бывший надворный советник Ненсберг показал, что взятая у него типография поставлена к нему некиим Севастьяновым. Шеф жандармов генерал-адъютант А. Р. Дрентельн, в течение длительного времени разыскивающий тайную типографию преступного общества «Земля и воля», приказал «любой ценой отыскать и арестовать Севастьянова». Только ликвидация «Земли и воли» могла спасти весьма пошатнувшийся авторитет шефа жандармов перед царем. О поисках неуловимой типографии Лопатин писал накануне своего ареста Лаврову: «...Типография «Земли и воли» не взята. Бедняга Надеин попался с хранившейся у него старой рухлядью, а именно с бывшей типографией Натансона, лежавшей без употребления.

На Голодае вторая типография взята у некоего Бориса Ненсберга, которого я хорошо знал в старину... Я его звал «Борис вещий».

...После этого типография «Земли и воли» прислала Дрентельну *печатное* извещение, что *она* еще жива. Го-

сударь систематически читает «Землю и волю». Говорят, что после 3-го номера он просил сменить все III отделение, если выйдет № 4. № 4 вышел, а III отделение не сменено, ибо кем же его заменить? Говорят, будто Дрентельн просился в отставку. Царь говорит: „И ты трусишь?" — „Я не трушу, но просто не знаю, как взяться, чтобы найти типографию и вообще связи злоумышленников"» [124].

«Некоего Севастьянова» усиленно искали. Нашел его опытный шпион Ловицкий. Об этом агент «Земли и воли» в III отделении Николай Васильевич Клеточников сообщал 29 марта 1879 года товарищам: «Некто Афанасий Севастьянов 18 марта поселился на углу Невского и Новой улицы (кв. 38), а 22 числа переехал на Владимирскую (7, кв. 20); подозревается в чем-то тяжком. Ловицкий удостоверяет, что это тот самый, который ходил к Абсеитовой» [125].

Предупредить об опасности Севастьянова — Лопатина непосредственно связанный с Клеточниковым член Исполнительного комитета Александр Дмитриевич Михайлов не успел, так как утром 23 марта Герман Лопатин был уже арестован. И на следующий день Николай Клеточников сообщил: «...В С.-Петербурге взят эмигрант Лопатин».

В течение двух месяцев следователи доказывали, что Лопатин не только по паспорту Афанасий Севастьянов, но и выказывал активную деятельность в преступной организации «Земли и воли» и предоставил для нее нелегальную типографию. На очных ставках с мнимым Севастьяновым побывали почти все арестованные по делу «Гутуевской типографии». Некоторую ясность внес главный обвиняемый Борис Егорович Ненсберг, заявивший сидевшим за столом жандармам:

— Я называл вам в качестве мнимого сообщника Петра Севастьянова, а вы предъявляете мне в этом

Н. В. Клеточников, тайный агент «Земли и воли» в III отделении.

наименовании и качестве Германа Лопатина, с которым я встречался в Петербургском университете восемнадцать лет тому назад.

И была еще одна томительно-неприятная встреча: ввели Николая Алексеевича Грибоедова и спросили:

— Господин Севастьянов, вы знаете этого человека?

— Да, я, Герман Лопатин, знаком с подпоручиком Николаем Грибоедовым.

— Скажите, бывший подпоручик Грибоедов, когда вы встречались с Лопатиным—Севастьяновым в последний раз?

Николай Грибоедов посмотрел на друга и твердо сказал:

— Шесть лет тому назад.

— А в этом году разве не встречались?

— Как я мог с ним встречаться, — не выдержал Лопатин, — если он был арестован тринадцатого марта, а я приехал восемнадцатого марта. Нечестная игра, господа.

Отразив попытку «отправления на каторгу», Лопатин с трудом отвел от себя опасность петли в связи с делом Александра Соловьева, самозванно и неудачно стрелявшего 2 апреля 1879 года на Дворцовой площади в царя Александра II. В середине апреля Лопатин узнал, что арестованный врач Орест Эдуардович Веймар показал,

что «револьвер, очутившийся в руках Соловьева, был куплен для некоего Севастьянова». Снова случайное совпадение фамилий, и снова Лопатину приписывают роль некоего Севастьянова, передавшего револьвер «злодею, покушавшемуся на жизнь самого государя императора». К этому времени Лопатин уже знал (жена шепнула на свидании), что о его мартовской поездке в Россию по паспорту Афанасия Севастьянова сообщил в III отделение проживающий в Париже под личиной революционера-эмигранта шпион-провокатор В. Воронович. Следователям удалось установить, что Орест Веймар недавно вернулся из Парижа, где он встречался с Лопатиным — Севастьяновым. На первом же допросе Александр Соловьев показал: «...револьвер мне уже давно подарил один мой знакомый, фамилию которого сказать не могу. Я, как нелегальный человек, держал при себе револьвер, чтобы, в случае попытки задержать меня, было чем обороняться» [126]. На очной ставке Соловьев не признал в Лопатине человека, подарившего ему револьвер, однако следователи продолжали настаивать на версии, что щедрым знакомым, покушавшимся на царственную особу, был «некто Севастьянов». Судьба Лопатина зависела от двух друзей-подследственных, которые дорогой ценой спасли его от грозившей смертельной опасности. Не раз выручавший Лопатина в его заграничных поездках доктор Орест Эдуардович Веймар во время очной ставки с обвиняемым заявил:

— Напрасно вы ищете Севастьянова, я его выдумал.

Присутствовавший на допросе управляющий III отделения Н. К. Шмидт резко повернулся к Веймару:

— Если Севастьянова не было, значит, вы сами передали револьвер Соловьеву?

Веймар грустно покачал головой:

— Нет, этого я не делал.

— Увести его, — распорядился Шмидт. — Ему мало дела Кравчинского, добровольно лезет в висельное дело Соловьева.

Вторым подследственным был потомственный почетный гражданин Григорий Ефимович Старцев. С ним Лопатин познакомился и подружился в Париже. Григорий Ефимович осенью 1878 года получил по доверенности в канцелярии московского генерал-губернатора паспорт на имя отставного коллежского секретаря Афанасия Григорьевича Севастьянова и передал его Лопатину. Жандармы навели справки в канцелярии, выдавшей паспорт, и на основании сохранившейся в архиве доверенности 25 июня 1879 года арестовали Старцева. «Приводили его в сознание» с таким жестоким усердием, что добродушный и мнительный по натуре Григорий Ефимович дал откровенные подробные показания, полностью оправдывавшие Лопатина, и, пробыв две недели в изнурительной одиночной камере Дома предварительного заключения, повесился. Ему только что исполнилось 25 лет! Лопатин тяжело перенес трагическую смерть близкого, преданного ему человека. Пугала, не давала покоя тяжкая доля второго арестованного друга — Веймара. Лопатин знал, что Орест Эдуардович ни в чем не виноват, что по своей мягкотелой беспомощности и безмерной доброте он не может опровергнуть предъявленные ему подлые и ложные обвинения. И, стремясь снять с Веймара главную беду, Лопатин решился на крайне неприятное для него признание: рассказал о том, что в день убийства шефа жандармов Мезенцева он был в Петербурге и провел «утро казни» в компании Ореста Веймара. Это показание снимало обвинение с Веймара в том, что он увез на рысаке Варваре убийцу Мезенцева Сергея Кравчинского. Управляющий III отделения Шмидт внимательно выслушал хорошо аргументированный рассказ Лопатина, сказал:

— Все изложенное вами выглядит весьма убедительно, но я не знаю, как посмотрят на это дело судьи.

— Прошу поставить меня свидетелем по делу Веймара.

— Хорошо! Я передам вашу просьбу генерал-адъютанту Дрентельну.

Просьба Лопатина не была принята во внимание. С.-Петербургский военный суд приговорил ни в чем не повинного Ореста Веймара, замечательного врача, к 15 годам каторги. При конфирмации учли значительные заслуги осужденного во время русско-турецкой войны и уменьшили срок каторжных работ до 10 лет. Подвергнутый сурово-гибельной каре, Орест Эдуардович Веймар умер от чахотки 40 лет от роду.

...Пока Лопатин опровергал обвинения следователей, его жена, используя связи своих богатых родственников, непрерывно хлопотала о смягчении участи арестованного. Только в апреле 1880 года состоялось постановление о высылке Лопатина в административном порядке в Восточную Сибирь. Зинаиде Степановне удалось «вымолить» замену сибирской ссылки — ташкентской. Проживающий в Ташкенте родственник Зинаиды Степановны, управляющий финансовой конторой С. К. Глинка-Янчевский, взял на себя кабальное обязательство — внести 50 000 рублей в случае побега Германа Лопатина во время его следования с жандармским конвоем из Петербурга к месту ссылки.

13

В Ташкенте, по требованию властей, Глинка-Янчевский внес за беспокойного, склонного к побегам ссыльного залог в 10 000 рублей. Такой ценой было оплачено «неотлучное пребывание» Германа Лопатина в среднеазиатской ссылке.

Служба в официальных учреждениях Лопатину была запрещена, а нужно было кормить семью. Пришлось поступить в финансовую контору зятя на весьма скромное жалованье и просить Николая Даниельсона выслать какую-нибудь несложную книгу для перевода.

Жить «на привязи», находиться в постоянной полнейшей зависимости от богатого родственника было тягостно, и Лопатин стал изыскивать способы избавления от залоговой кабалы.

В откровенном письме к родителям Герман Александрович сообщил, что маленький Бруно и болезненная северянка-жена скверно переносят изнурительную азиатскую жару.

Действительный статский советник Александр Никонович Лопатин решился на трудный шаг — послал в Министерство внутренних дел прошение, в котором умолял разрешить перевод сына Германа Александровича из Ташкента в Ставрополь к отцу на поруки. Старый заслуженный чиновник подписался полным титулом и перечислил все ордена и медали, полученные за многолетнее, честное и самоотверженное служение Отечеству.

Мать сообщила Герману — в прошении отказали, отец с горя заболел...

Прошел год. Взрывы бомб на Екатерининском канале в Петербурге долетели до Ташкента.

Зинаида Степановна сказала мужу:

— Убийство государя само по себе ужасно, но ты можешь порадоваться — эта смерть уничтожила твое дерзкое письмо к императору Александру. Может, теперь легче будет хлопотать за перевод. Конечно, не в Ставрополь, откуда ты уже бежал, а вот в Псков или в Новгород.

— Не разрешат ни в Псков, ни в Новгород. Слишком близко к столице. В Вологду! Это уже сибирская ссылка.

— Пусть будет Вологда. Я поеду с Бруно в Петербург. Второго изнурительного лета мы не вынесем.

Герман Александрович очень любил сына, и расставаться с ним было тяжко, но возражать жене не стал:

— Собирай вещи. Деньги на дорогу я заработал...

Уехали дорогие люди — увезли последние малые житейские радости. Осталась неизбывная тоска.

...16 августа 1881 года Зинаида Степановна сообщила мужу о том, что подала бумагу на имя начальника Верховной распорядительной комиссии графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова, в которой умоляла перевести ссыльного Лопатина из губительного для здоровья его семьи Ташкента в Вятку или в Вологду.

Это прошение попало в департамент полиции, и кто-то из «давних знакомых» Лопатина начертал свое мнение:

«Гер. Лопатин, по-видимому, совершенно отрезвился — прошу сообразить, есть ли возможность удовлетворить его просьбу. Лопатина я знаю с 1866 года — не террорист, за остальное не ручаюсь» [127].

«Соображать» в департаменте полиции не торопились, и Лопатин в сентябре послал министру внутренних дел длинное и убедительное письмо, которое заканчивалось просьбой освободить его от денежного поручительства С. К. Глинки-Янчевского и перевести «хоть в Сибирь» — в Вологодскую губернию.

31 октября 1881 года особое совещание постановило перевести Лопатина под надзор полиции в Вологодскую губернию сроком на три года. «Означенное постановление» было утверждено министром внутренних дел 3 ноября.

Лопатину эта радостная весть была объявлена накануне Нового года. В середине января, в сопровождении

конвойных жандармов, усердие которых надлежало оплатить самому ссыльному, Герман Александрович Лопатин выехал из Ташкента в Вологду.

...Вологодская ссылка Германа Лопатина началась 2 марта 1882 года. Работы для «политического преступника» не оказалось. Пришлось заниматься переводами и «негласными уроками» с неуспевающими сынками купцов и чиновников.

Как только установились погожие дни, к Лопатину приехала жена с сыном. Бруно шел шестой год. Он уже знал все буквы русского алфавита и мог складывать цифры в пределах десятка, обладал прекрасной памятью и довольно быстро запоминал стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, которые отец читал ему на «сон грядущий».

Зинаиде Степановне Вологда показалась более тяжелой, чем Ташкент. Не нравился дом купца Васильева, в котором жили, не нравилась однообразная и скудная пища, не нравилось общество, в котором проводил вечера муж. Все было не так, как хотелось. И Зинаида Степановна объяснилась с мужем «начистоту». Для начала напомнила, что за двадцать лет самостоятельной жизни он «гол, как сокол», ничего не нажил и, похоже, ничему не научился в тюрьмах и ссылках. Что все ее хлопоты напрасны: вместо того чтобы терпеливо и разумно отсидеть в Вологде назначенные три года, собрал кружок поднадзорных, на вечерах которых читаются запретные сочинения Чернышевского и потаенные стихи Пушкина, Лермонтова и Огарева. И распеваются песни, за которые сажают в тюрьму.

Лопатин спокойно посоветовал:

— Не преувеличивай, Зиночка.

— Я сама слышала, как вы пели: «Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на врагов, брат голодный!»

— Так это же «Новая песня». Я читал ее тебе в Париже.

— В Париже можно было читать, а здесь о ней нельзя даже думать. Подымались «на царский чертог» народолюбцы первого марта — и угодили на виселицу. В Петербурге арестованы и приговорены к вечной каторге твои друзья — Михайлов, Баранников, Фроленко, Морозов, Клеточников...

— Можешь не перечислять, я все это знаю.

— Если знаешь, так почему не образумишься?! Ты забываешь, что у тебя есть семья. Через два года Бруно должен пойти в школу. Где он будет учиться, если у тебя нет своего дома, своего стола, своей работы... Ты неисправимый эгоист. Мое терпение истощилось.

— Успокойся, Зина. Тебе надо отдохнуть, подлечиться.

— Успокоюсь, когда скажешь честно и прямо: что намерен делать дальше?

Лопатин посмотрел на искаженное гневом и все-таки красивое лицо и понял, что шуткой или лукавой недомолвкой не отделаешься, и с грустью сказал:

— Сама видишь, какое здесь житие. Три года — слишком большой срок.

— Значит, новый побег за границу?

— Весьма вероятно.

— Тогда вот что — бегай без меня. Я с сыном за тобой не успею...

И утром уехала в Петербург.

...В январе 1883 года Лопатин узнал, что ненавидящий его вологодский губернатор собирается выслать его как «главаря политического кружка ссыльных» в отдаленный, глухой городок Шенкурск.

24 февраля Герман Лопатин бежал за границу.

ГЛАВНОЕ — ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

1

В Женеве Лопатина ждала скорбная весть — 14 марта 1883 года умер Карл Маркс.

Смерть друга и учителя так сильно потрясла Лопатина, что только через две недели он мог написать и отправить письмо Фридриху Энгельсу:

«Дорогой Энгельс!

Надо ли говорить Вам, как тяжело мне было узнать о смерти Маркса? Надо ли говорить Вам, как искренне

и глубоко я сочувствую Вашему собственному горю? Я надеюсь, что Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы избавить меня от выражения на ломаном английском языке своих сокровенных чувств по поводу этого горестного события...

Вместе со всем научным и социалистическим миром я с нетерпением жду результатов первого просмотра бумаг Маркса.

Примите еще раз выражение моего глубочайшего сочувствия и верьте неизменной и искренней преданности

Вашего *Г. Лопатина*» [128].

В тот же день, 28 марта, Герман Лопатин послал письмо Элеоноре Маркс, в котором, выразив глубочайшее сочувствие, признавался:

«...Задержка в несколько дней лишила меня счастья еще раз в жизни обнять этого человека, которого я любил как друга, уважал как учителя и почитал как отца» [129].

Сохранилась копия еще одного письма Лопатина, целиком посвященного Карлу Марксу и адресованного в Петербург бывшему работнику типографии «Вперед!» Михаилу Ивановичу Янцыну, прозванному Капитаном:

«Смерть Маркса глубоко поразила меня не только как общественная, но и как личная потеря. Так и не удалось мне обнять его еще раз в жизни; Лафарг совсем расстроил меня, рассказав, в каких теплых выражениях вспоминал он всегда обо мне до самой смерти. Он прибавил, что старик всегда утверждал своим близким, что я был одним из немногих, понявших вполне и совершенно самостоятельно его теорию, и (бог ему судья!) единственным человеком, от которого он слышал новые, оригинальные идеи в экономической области. Вероятно, добрый старик вспоминал всегда одну нашу беседу, с которой началась наша короткость и во время которой

М. Н. Ошанина-Оловенникова, член Исполнительного комитета «Народной воли».

я развивал ему предполагаемую аргументацию несуществующего 2-го тома («Капитала»). Писать о нем я не собираюсь: просто не чувствую себе эту задачу по силам»[130].

...Из Женевы Лопатин переехал в Париж. Пока подыскивал скромную квартиру, жил у Петра Лаврова. Как-то вечером хозяин улыбаясь сказал:

— Вас очень хотят видеть Полонская и Кожин.

— Ошанина и Тихомиров, — уточнил Лопатин. — А зачем я вдруг понадобился?

— Они просят называть их псевдонимно. А зачем — сами скажут. Когда вы можете с ними встретиться?

— Да хоть завтра.

— Вот и договорились. Пойдем вместе.

Пришли к обеду и задержались до ужина.

Пристально всматриваясь в собеседника серыми с поволокой глазами, решительно отсекая фразы крепкой ладонью, то упрашивала, то требовала Мария Николаевна Ошанина, она же Марина Никаноровна Полонская. С глубокой грустью она говорила о том, что из 35 членов Исполнительного комитета «Народной воли» уцелели только двое: она да вот сидящий рядом Лев Александрович Тихомиров, остальные арестованы и мно-

гие из них повешены, расстреляны или замучены в казематах Петропавловки. Она твердо верила, что партия не только восстановит, но и приумножит свои ряды и выполнит свой долг перед русским народом. Сейчас «Народная воля» нуждается в организаторах и боевиках — смелых, волевых, умных, дисциплинированных, типа Германа Лопатина.

И, услышав это, встрепенулся взъерошенный, усталый, злой Лев Тихомиров и подтвердил:

— Вот именно — организаторы и боевики типа Лопатина. Ваш опыт и авторитет нужны не в Париже, а в России. Вы поймите нас правильно, Герман Александрович...

— Понять вас нетрудно, — улыбнулся Лопатин. — Только смею заметить — я слишком люблю личную свободу и не желаю надевать партийную узду, даже из милейших рук «матери игуменьи», виноват, Марии Николаевны. Да и в теории и в практике вашей я вижу весьма существенные...

— Понимаю, понимаю, — перебила Ошанина. — Вы слишком много читали да и слушали Маркса. В душе вы марксист. Говорят, что вы даже кое-что подсказали автору «Капитала». Однако речь идет о практическом приложении ваших знаний и опыта. Мы не зовем вас в партию, дорогой Герман Александрович. Мы только рассчитываем на ваше доброе, отзывчивое сердце. Ведь вы всю жизнь кому-то помогаете. Как бы со стороны скажем: каракозовцам, русским интернационалистам во главе с Утиным, впередовцам-лавристам (да простит меня Петр Лаврович), чернопередельцам и землевольцам. Помогите, по мере возможности, и нам, многострадальным. Не хмурьте ваше мужественное чело, не спешите огорчать хозяйку, подумайте... А сейчас я вас угощу прекрасным индийским чаем. На вино, увы, нет денег...

Выполняющий несложную роль «при сем присутствующего» Петр Лаврович слегка пожурил друга:

— Нелюбезно отказывать столь обаятельной женщине, Герман Александрович. Подумайте и посоветуйтесь, с кем найдете нужным.

— Постараюсь подумать, — пообещал Лопатин. — А что касается Маркса, то я вечный должник перед ним. И вам советую относиться к нему с должной почтительностью и уважением. Да, да, с глубочайшим уважением... И с пользой для дела...

2

2 апреля 1883 года Ф. Энгельс писал П. Л. Лаврову: «Известие о том, что наш смелый, до безумия смелый Лопатин благополучно вернулся на волю, явилось для всех нас приятной неожиданностью. Будем надеяться, что, сохранив смелость, он оставил безумие в России. Надеюсь увидеть его здесь на днях. Передайте ему от меня горячий привет» [131].

Фраза — «надеюсь увидеть его здесь на днях» — свидетельствует о том, что Энгельс приглашал к себе в гости старого друга. И в сентябре 1883 года Лопатин поехал в Лондон.

Встреча была сердечной, но радости не могло быть — все напоминало о недавней тяжелой и невосполнимой утрате; чувство осиротелости не покидало Лопатина, когда он несколько дней помогал Энгельсу разбирать обширный русский фонд в архиве Маркса. Нашли неопубликованную статью «Письмо в редакцию „Отечественных записок"», посвященную критике взглядов Н. К. Михайловского на «Капитал». Герман Александрович заинтересовался находкой и попросил снять с нее копию для опубликования в России. Энгельс снял две

копии с рукописи. Одну из них передал Лопатину, а другую послал в Женеву В. И. Засулич.[132]

Фридрих Энгельс и Элеонора Маркс отдали часть книг на русском языке Лопатину для передачи их в библиотеку эмигрантов в Париже, основанную И. С. Тургеневым. Герман Александрович пять лет возглавлял правление этой библиотеки.

Долгими осенними вечерами Лопатин с нескрываемым удовольствием рассказывал Энгельсу и Элеоноре Маркс о пережитом за последние годы: о петербургских встречах с общими друзьями, о своем грустном, затяжном пребывании в Ташкенте, о побеге из Вологды в Одессу, о переходе границы... И беспощадно высмеивал губернаторов, полицмейстеров, сыщиков. И легко, мастерски, словно умелый скульптор, лепил портреты товарищей по общему делу и бескорыстно помогавших ему рабочих и мужиков.

Не сводя с рассказчика черных блестящих, влюбленных глаз, сидела непривычно тихо, недвижно заметно похудевшая Тусси.

Спрятав улыбку в густых, длинных, тяжеловатых усах, внимательно слушал собеседника Энгельс. И неожиданно, воспользовавшись концовкой «сюжета», обобщал отдельные житейские факты и делал значительные и важные выводы о политическом и социальном развитии России. И Лопатин удивлялся и досадовал: а почему он остался в роли только повествователя и не проявил своих способностей к анализу и синтезу? И еще памятно поразило — Энгельс, по установившейся привычке, все еще говорил: «Мы с Мавром думаем» или «Мы с Мавром считаем» — как будто Маркс еще жил, мыслил и по-прежнему поддерживал друга словом и делом.

Лопатина радовало сходство его взглядов с высказываниями Энгельса. Однако с некоторыми выводами

Генерала Лопатин не соглашался, вступал в затяжной спор, и тогда Тусси по-женски капризно просила:

— Полемикой займетесь потом, я хочу знать, что было дальше. Генерал, прикажите «нашему общему другу» — продолжение следует.

И Лопатин продолжал до тех пор, пока не появлялась Мэри Рошер (в доме ее звали «маленькая Пумпс») и решительно требовала:

— Пора спать, — и уводила Тусси.

И вот тогда собеседники переходили к «чистой» политике. Перед тем как лечь в пахнувшую свежим бельем кровать, Лопатин, не полагаясь на память, торопливо записывал наиболее важные мысли Энгельса о революционной России. Эти записи пригодились, когда Герман Лопатин, отодвинув «14 неотвеченных посланий», написал инструктивное письмо в штаб «Народной воли» М. Н. Ошаниной, рассчитывая, что оно безусловно пригодится в практической деятельности Исполнительного комитета:

«...Не могу не поделиться с Вами результатом моего первого свидания с Энгельсом, думая, что некоторые из его мнений будут приятны для Вас. Как и следовало ожидать, сходство взглядов оказалось полнейшее; каждый из нас то и дело договаривал мысли и фразы другого. Он тоже считает (как Маркс, как и я), что задача *революционной* партии или партии *действия* в России в данную минуту не в пропаганде нового социалистического идеала и даже не в стремлении осуществить этот далеко еще не выработанный идеал с помощью составленного из наших товарищей временного правительства, а в направлении всех сил к тому: 1) чтобы или принудить государя созвать Земский собор, 2) или же путем «устрашения» государя и т. п. вызвать такие глубокие беспорядки, которые привели бы иначе к созыву этого Собора, или чего-либо подобного. Он верит, как и я,

что подобный Собор *неизбежно* приведет к радикальному, не только политическому, но и социальному переустройству. Он верит в громадное значение избирательного периода, в смысле несравненно более успешной пропаганды, чем все книжки и сообщения на ухо. Он считает невозможною чисто либеральную конституцию, без глубоких экономических перестроек, а потому не боится этой опасности. Он верит, что в *фактических* условиях народной жизни накопилось достаточно материала для перестройки общества на новых началах. Конечно, он не верит в моментальное осуществление коммунизма или чего-либо подобного, но лишь того, что уже назрело и в жизни и в душе народа. Он верит, что народ сумеет найти себе красноречивых выразителей своих нужд и стремлений и т. д. Он верит, что, раз начавшись, это переустройство, или революция, не может быть остановлено никакими силами. Важно поэтому только одно: разбить роковую силу застоя, выбить на минуту народ и общество из состояния косности и неподвижности, произвести такой беспорядок, который принудил бы правительство и народ заняться внутренним переустройством, который всколыхнул бы спокойное народное море и вызвал бы всенародное внимание и всенародный энтузиазм к делу полного общественного переустройства. А результаты явятся сами собою, и именно те, которые возможны, желательны и осуществимы для данной эпохи.

Все это чертовски кратко, но обстоятельнее я писать теперь не могу. К тому же все это, быть может, не вполне понравится вам, и потому спешу передать Вам с буквальной точностью другие его мнения, которые очень лестны для русской революционной партии. Вот они. «Все зависит теперь от того, что будет сделано в ближайшем будущем в Петербурге, на который устремлены ныне глаза всех мыслящих, дальновидных и проницательных людей целой Европы».

«Россия — это Франция нынешнего века. Ей законно и правомерно принадлежит революционная инициатива *нового* социального переустройства».

«...Гибель царизма, уничтожив последний оплот монархизма в Европе, упразднив «агрессивность» России, ненависть к ней Польши и многое другое, поведет к совершенно иной комбинации держав, расшибет вдребезги Австрию и вызовет во всех странах могучий толчок в сторону внутреннего переустройства».

«...Едва ли Германия решится воспользоваться русскими беспорядками, чтобы двинуть свои войска в Россию для поддержания царизма. Но если бы она сделала это, тем лучше. Это было бы гибелью ее нынешнего правительства и началом новой эры. Присоединение к ней балтийских провинций бессмысленно и неосуществимо. Подобные захваты противоположных или прилежащих узких побережий и клочков и получившиеся отсюда нелепые формы государств были возможны только в XVI и XVII веках, а не теперь. К тому же ни для кого не тайна, что немцы составляют там ничтожное реакционное меньшинство».

«...И я, и Маркс находим, что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров имеются люди с государственной складкой ума...»

...Ну, довольно. И то пишу торопясь, через силу, и потому не особенно понятно и складно. Многие вещи стоило бы развить обстоятельнее, но это значило бы писать для печати, что противно всем моим установившимся привычкам.

Пожалуйста, поторопитесь прислать адрес лиц, проживающих в Швеции, ибо мне не хотелось бы заживаться здесь без толку. Недурно было бы иметь и какой-нибудь санкт-петербургский адрес» [133].

Перечитав письмо и найдя его весьма существенным, Лопатин снял копию и отослал ее П. Л. Лаврову. Пригодится! Петр Лаврович нашел много полезного для себя в этом письме и никогда не забывал о нем. Через девять лет он обратился с просьбой к Фридриху Энгельсу — разрешить опубликовать письмо «о беседе двух людей, имена которых дороги каждому русскому социалисту».

Энгельс ответил:

«Дорогой Лавров!

Не вижу оснований возражать против публикации письма Лопатина об одном разговоре с ним. Поступайте, как Вам покажется лучше» [134].

И Лавров напечатал отрывок из программного письма Лопатина в книге «Основы теоретического социализма и их приложение в России» (Женева, 1893 г.).

Узнав о выходе этой книги, Энгельс попросил Лаврова выслать ее ему. И 23 мая 1893 года Петр Лаврович отправил бандероль своему другу в Лондон...

3

22 августа 1883 года умер Иван Сергеевич Тургенев. В газеты и журналы хлынули воспоминания о нем, и к жуткому слову «*был*» приклеивались самые высокие эпитеты.

А Лопатин все еще видел его живым, в парижском пригороде Буживале. Лавров сказал: «Поезжайте к Тургеневу. Он хочет вас видеть и сказать что-то очень нужное. И обещал прислать письмо». И действительно, пришло настоятельное приглашение. Проклиная дороговизну, — уплатил пять франков! — поехал. Встретила далеко не любезно мадам Виардо: «Не могу пустить,

у него тяжелое состояние». Пришлось, словно пропуск, показать его письмо. Отступила...

Тургенева корчила, ломала непереносимая боль в позвоночнике, но вот он увидел вошедшего и что-то похожее на улыбку промелькнуло на мертвенно-бледном лице. С трудом произнес:

— Я не могу говорить сейчас. Мне ввели морфий, но мне крайне необходимо увидеть вас еще раз и переговорить с вами.

Лопатин шагнул вперед. Тургенев выставил морщинистую желтую ладонь.

— Молчите, молчите, дайте мне договорить, а то я сейчас усну. Вы придете еще раз ко мне непременно. Весьма важное...

Крупная седая голова опустилась на подушку.

— Приду непременно, — пообещал Лопатин. — Завтра.

Но завтра у него не было пяти франков. А занимать тяжко. Не поехал в Буживаль. А через день Тургенева не стало. Горько и больно — несказанное ушло в могилу...

Журналисты крайне правого крыла усердно стремились представить Тургенева верным слугой «Родины и Престола». И тогда Петр Лавров выступил во французской социалистической газете «Юстиция» с письмом-протестом, в котором сообщал, что Иван Сергеевич Тургенев был связан с русскими революционерами-эмигрантами и по своей доброй воле поддерживал издание «Вперед!» денежными взносами — по 500 франков ежегодно. Это письмо было перепечатано в «Московских ведомостях» и вызвало «бурю негодований» у любителей-патриотов, объявивших заявление Лаврова «клеветой, возведенной на усопшего».

Петр Лаврович обратился к Лопатину с просьбой выступить в английской печати с подтверждением свя-

зей Тургенева с революционерами-соотечественниками.

После долгого раздумья Герман Александрович сообщил 9 октября Лаврову: «...попробую нацарапать сегодня письмо о Тургеневе. Но вместить даже то, что Вы говорите, в 7—8 строк, немыслимо. Я не собирался передавать отрицательных отзывов Тургенева о революционерах; да никогда и не слыхал их от него... Никаких воспоминаний о Тургеневе я писать не собирался. Я именно хотел только (в виде письма к Вам): 1) подтвердить факт о 500 франках, 2) сказать, что он помогал через меня эмигрантам, 3) рассказать, как он смотрел на овации в его пользу и 4) сказать, что он предупреждал меня о последнем аресте» [135].

Работал Лопатин в Библиотеке Британского музея. Как ни старался писать кратко — получилось 8 страниц. Попытался сократить, размышляя над каждым абзацем, и не вычеркнул ни одной строчки: всё казалось нужным и важным. Пожалел, что не успел завести знакомств в лондонском газетном мире. Лавров рекомендовал обратиться за содействием к Энгельсу, который когда-то был связан с ежедневной газетой «Пэл-Мэл». Сомневаясь в успехе (газета стала явно консервативной), Лопатин все-таки сходил к верному другу и доброму советчику. Энгельс, как всегда, внимательно выслушал и с сожалением ответил, что в газете «Пэл-Мэл» теперь другая редакция, с которой он не имеет никакой связи. Присутствовавшая при разговоре Элеонора Маркс заметила огорчение на лице «общего друга» и пообещала устроить письмо в «Ежедневные новости». Лопатин встал и горячо поблагодарил за содействие.

— Не спешите с благодарностью! — сказала Элеонора. — За успех я не ручаюсь. Учтите — письмо нужно сочинить как можно скорее и короче.

Первое условие автору удалось выдержать, а со вторым не справился. Недовольный собой, Лопатин напра-

вился к Элеоноре Маркс. Она прочла первую и последнюю страницу, покачала головой.

— Ни одна английская газета не примет такого сочинения. Это не письмо, а огромная статья.

— Я не умею писать иначе. Что же делать? Придется отослать Лаврову, пусть убедится, что не леность помешала мне выполнить это дело.

— Не отступайте! Напишите маленькое фактическое письмо только о самом главном.

— Петр Лаврович советовал мне то же самое. И он и вы не можете понять, что значит для меня Иван Сергеевич Тургенев. Я не справлюсь с таким сокращением до пятнадцати — двадцати строк.

— Хотите, я сокращу, а вы перепишете с теми изменениями, которые найдете нужным сделать.

— Много обяжете меня. Обязуюсь переписать без всяких изменений.

Элеонора села за стол, придвинула к себе рукопись. Наблюдая за ее твердой, энергичной рукой, Лопатин заметил, что она оставила несколько строк на первой и второй страницах, перечеркнула всю середину и сохранила кое-что в конце. Затем связала какими-то словами обрубленные абзацы, прищурив лукаво поблескивающие красивые глаза, подсчитала, улыбнулась:

— Ну вот, если набрать петитом, получится примерно шестьдесят пять — семьдесят строк. Переписывайте.

Лопатин кое-что сгладил и поправил, радуясь, что будет все же не 15, а 65 строк. Получилось две неполных странички.

Элеонора похвалила своего бывшего ученика за безукоризненно четкое изображение английских слов, попросила:

— Подпишитесь и поставьте свой адрес.

— А может, обойдутся без моего автографа?

— Неподписанное письмо не напечатают.

Лопатин сокрушенно вздохнул и приписал:

«Уважающий Вас Герман Лопатин.

Альфредплац, 6».

Элеонора вложила в конверт письмо и свою записку к издателю, заклеила, написала адрес и сказала:

— Не ручаюсь, что напечатают. Однако до сих пор издатель мне еще ни разу не отказывал. По пути опустите в почтовый ящик.

Лопатин поклонился:

— Премного благодарен. Буду следить и надеяться...

...11 октября 1883 года в утреннем выпуске «Ежедневных новостей» Лопатин нашел открытое письмо о Тургеневе. Не спеша прочел:

«Милостивый государь, во имя справедливости по отношению к моему умершему другу Ивану Тургеневу и к моему здравствующему другу Петру Лаврову я прошу Вас оказать любезность и уделить в Вашей газете небольшое место для того, чтобы я мог выступить со свидетельством по делу, вызвавшему в недавнее время много споров. В письме в парижскую «Юстицию» г-н Лавров заявил, что г-н Тургенев вносил ежегодно по 500 франков на издание революционного журнала, известного «Вперед!». Русская пресса попыталась опровергнуть это заявление — одна ее часть считала, что все это заявление представляет собой наглую выдумку Лаврова, другая часть утверждала, что эти 500 франков были всего только личным даром великодушного Тургенева его нуждающемуся соотечественнику. Имея честь хорошо знать г-на П. Лаврова, я не считаю нужным доказывать, что он не способен на бесчестное высказывание или поступок и что его заявление совершенно точно. Эти 500 франков передавались г-ном Тургеневым всегда через мое посредство, с необходимыми в таких случаях формальностями — расписками и т. д., которые сохрани-

лись. Было бы излишним преувеличением утверждать, что Тургенев полностью и безоговорочно принимал программу «Вперед!». Как художник Тургенев мало заботился о политических формулировках. Но несомненно одно: он был полон симпатии к революционерам, ведущим непримиримую борьбу с ненавистным правительством; и эта симпатия находила активное выражение в ежегодных взносах, а кроме того, и в многочисленных фактах его личной помощи политическим эмигрантам. Однако Лавров, как и я сам, никогда не имел нужды в помощи Тургенева или кого-либо другого. В действительности он сам был одним из тех, кто всегда помогал другим. Я надеюсь, милостивый государь, что Вы напечатаете эту краткую фактическую справку во имя справедливости по отношению к умершему и живому.

Уважающий Вас *Герман Лопатин.*
6, Альфредплац В. Г.»

Лопатин пожалел, что напечатал адрес, который скрывал даже от друзей. Придется ускорить отъезд в Петербург. На следующий день послал письмо Лаврову, вложив в него вырезку из «Ежедневных новостей». И через три дня Герман Александрович отправил Лаврову свою рукопись о Тургеневе (8 страниц), с просьбой использовать ее без изменений в газете «Юстиция» или в «Вестнике Народной воли», но без подписи автора.

Лопатин внимательно следил за материалами, посвященными И. С. Тургеневу в русской и заграничной печати. 22 октября Герман Александрович, послав Лаврову газетные вырезки о похоронах Тургенева, написал: «...мне кажется, что *теперь* либералы должны быть *благодарны* Вам: правительство *явно* сделало все, чтобы отнять у похорон демонстративный характер и обесцветить их; и *несмотря* на это, то есть прямо *назло* ему, демонстрация вышла грандиозною, т. е. щелчком по

носу. Ваше письмо помогло *подчеркнуть* этот характер похорон и помешало царской фамилии, войску, полиции и т. п. испортить дело, фальшиво слившись с обществом» [136].

...26 октября 1883 года Лопатин выехал на пароходе в Стокгольм, имея в кармане безукоризненно сработанные документы английского подданного. Перед отъездом он отправил Лаврову большое письмо (44 страницы) для передачи его Зинаиде Степановне Абсеитовой. Одновременно просил: продать оптом всю его мебель и вырученные деньги отослать Зине, а также переправить ей все ее книги и вещи. Опасаясь, что может не вернуться из Петербурга, Герман Александрович высказал пожелание: сжечь, не разбирая, его архив, что в левом ящике стола и в зеленой папке, и письма, написанные его рукой. Книги, две полки (в основном нелегальная и дареная литература), взять «на хранение» или на память, а также сохранить до поры до времени два револьвера.

4

...На могиле Тургенева еще не увяли живые цветы, но Лопатин не поехал на Волково кладбище, — слишком много неотложных и опасных дел предстояло совершить в столице. Укорял себя, что выехал с опозданием. Виновата Мария Николаевна Ошанина — Полонская, необыкновенная, страшная в своей неистовой фанатичности женщина. Вначале настойчиво упрашивала — «окажите помощь», а когда согласился, вдруг стала отговаривать — «в Питере теперь ужасно опасно, надо выждать, нельзя рисковать такой мощной революционной силой». А когда ушел, сославшись на «жуткую головную боль», чего-то явно не договаривающий Тихомиров, «потеряла металл» в голосе и стала жаловаться,

что нет денег на издание журнала «Вестник Народной воли» и потеряны деловые связи, а главное — не найти человека, способного уничтожить главного врага партии — начальника секретного отделения жандармского управления подполковника Судейкина. По решению Исполнительного комитета это должен был сделать Сергей Дегаев, но, видно, струсил... Молчит...

Вздрогнула, когда сказал:

— Заговорит. Выезжаю немедленно...

Опустила гордую седеющую голову:

— Возможно... и заговорит... Там все расскажет отставной штабс-капитан Константин Алексеевич Степурин. Запомните — Степурин. Это бывший сослуживец Дегаева в Кронштадте.

И вот сейчас Герман Лопатин спешил на явочную квартиру — к Степурину. Повезло. Степурин оказался на месте. Разговаривали до полночи. Лопатин узнал много нового. Подтвердилось его предположение о том, что в столичной группе народовольцев нет единства — мешают взаимное недоверие, подозрения, опасливая мнительность. Наибольшей популярностью, да и авторитетом пользуются молодой, безусловно способный поэт Петр Филиппович Якубович и бежавший из ссылки Дед — так зовут Михаила Павловича Овчинникова. На недавнем октябрьском съезде, правильнее назвать — совещании, партии Якубович и Овчинников выразили недоверие к заграничному Исполнительному комитету и его сторонникам и выдвинули программу фабричного и аграрного террора. Их поддержал от «Рабочей группы» Николай Флеров. На съезде обсуждался вопрос о казни Судейкина, план излагал Петр Алексеевич, он же Сергей Петрович Дегаев.

Лопатин спросил:

— А каково ваше мнение о плане и его исполнителе Дегаеве?

— Если говорить откровенно...

— Только откровенно, честно и прямо.

— Хорошо. Такой план следует держать в тайне. Дегаева я знаю давно — служили в одном полку в Кронштадте. Сергей Петрович — хороший математик, но скверный товарищ: мелочной, склочный, трусливый, не терпящий возражений. Я краем уха слышал, что одесские товарищи не верят в самостоятельность дегаевского побега из тюрьмы. Но это только слухи...

— Проверим! Благодарю за весьма ценные сообщения. Завтра свяжете меня с Дегаевым. А затем — с Якубовичем.

5

Сергей Дегаев, он же Петр Алексеевич, он же Яблонский, не выдержал лопатинской проверки. На втором свидании, за столиком в чайной Палкина, что на Невском проспекте, Дегаев «раскололся» и «вывернул кафтан», как потом написал о нем Лаврову Лопатин.

Еще ничего спиртного не выпив, в свежем уме, Дегаев «срезался» на простеньком экзамене. Лопатин предложил собеседнику папиросы. Тот помотал не по росту большой головой:

— Слава богу, не курю.

— Вот как! А мне кто-то рассказывал не то *там,* не то здесь, что табак выручил вас — помог бежать из одесской тюрьмы. Дескать, вы табаком засыпали глаза конвоирам.

Дегаев зыркнул глазами слева направо, сказал, не глядя в беспощадно-суровые глаза Лопатина:

— С воли передали. Осьмушку махорки...

— Как махорки? Махорка для такой деликатной роли не годится. Крупная очень. Отскочит, а нужно, чтобы вскочила, влезла в гляделки сторожащие. Иногда

пользовались нюхательным табачком. Он — как пыль. И пыль — в глаза! Так что с табаком дело табак. Врете вы с того самого восемнадцатого декабря прошлого года. Снюхались, и выпустил вас Судейкин...

— Вам все рассказал Тигрыч. Зачем же вы меня второй раз распинаете? Это слишком жестоко...

— Вам ли говорить о жестокости! Все взятые за текущий год — ваши *крестники.* Почему не выполнили приказ Тигрыча и Никаноровны?

— Стараюсь... Подбираю помощников... Обдумываю...

— Сколько вам нужно еще часов для обдумывания?

Дегаев заметил официанта, выждал, когда он поставит вино и закуски, тихо сообщил:

— Не часов, а дней. Присматриваю квартиру на Невском, чтобы пригласить его в гости.

— Не виляйте. Когда?..

— Ну, скажем, третьего декабря...

— Если третьего не выполните приказ, четвертого вас не будет на этом свете. И не вздумайте передать наш разговор своему хозяину — Судейкину.

— Помилуй бог! Дал честное слово Тигрычу и Марине Никаноровне.

— Весьма «увесистый» залог. Как только найдете квартиру, принесете мне ее план. С обозначением всех мест. Сумеете?

— Все-таки я учился... Офицер-артиллерист.

...План квартиры Дегаев изобразил отлично и принес в комнату Раисы Кранцфельд, временно проживающей в доме № 114 по Большой Садовой улице. Лопатин выслушал всех исполнителей казни: Сергея Дегаева, который должен был встретить своего «гостя» Судейкина и, провожая в столовую, выстрелить в его спину, и Николая Стародворского и Василия Конашевича — устраняющих охрану начальника секретного отделения жандармского управления. Уточнили места засады. Лопатин

собирался уже уходить, когда в дверь трижды громко постучали. Все встали. Лопатин тихо спросил хозяйку:

— Кто это?

— По стуку похоже — Степан Росси.

— Это наш друг, — пояснил Дегаев.

— Если *наш,* откройте!

Вошел бородатый, курносый, худощавый молодой человек. Всем поклонился. Лопатин спросил:

— Зачем изволили?

— Видите ли, я лично... к Петру Алексеевичу.

— По личным делам сюда ходить не следует.

— Но меня ведь знают. Я здесь даже ночевал...

— И напрасно! Петр Алексеевич, *проводите вашего* друга.

Когда незваный гость ушел, Лопатин предупредил хозяйку:

— Никого, кроме нас, посвященных в дело Судейкина, у себя не принимайте. Новый пароль: «Уступит свету мрак упрямый». Ответ: *«Завтра будет ясная погода».*

— Хорошо. Запомнила...

Вечером 3 декабря Дегаев сообщил, что «операция» сорвалась — Судейкин приехал со своим племянником Судовским, но почему-то послал дворника узнать, дома ли Яблонский. Пришлось не открывать дверь.

— Вы струсили, Дегаев, — сказал Лопатин. — Вы могли спуститься вместе с дворником вниз и пригласить Судейкина в гости.

— Виноват, не догадался.

— Когда теперь пригласите подполковника?

Дегаев подумал, неохотно назвал:

— Дней через восемь.

В воскресенье 11 декабря Лопатин не спал: ждал, когда придет Стародворский. Он явился в полночь, навеселе, сообщил угрюмо:

— Подполковник в назначенный час не приехал.

— И вы решили смыть огорчение в казенке. Низко и подло! Дегаев трусит. Так вот, передайте ему — в пятницу шестнадцатого декабря приказ должен быть выполнен любой ценой. Как бывший офицер, он поймет, что сие значит. Вы с Конашевичем должны дождаться Судейкина и уничтожить его. Если Дегаев проявит нерешительность и будет уговаривать вас снова перенести срок, устраните его и действуйте самостоятельно. Все запомнили?

— Чего уж тут... Я сам об этом думал.

...Вечером 16 декабря Лопатин снова ждал Стародворского у Раисы Кранцфельд. В дверь постучали. Хозяйка и гость одновременно подошли к двери. Раиса спросила:

— Вам кого?

Услышала в ответ:

— Завтра будет ясная погода.

— Стародворский, — обрадовалась хозяйка и открыла дверь.

Лопатин взглянул на вошедшего и понял — казнь свершилась. Потому-то он и произнес вместо пароля ответ: «Завтра будет ясная погода».

Большие поцарапанные руки Стародворского неприятно вздрагивали. Раиса тихонько попросила:

— Ты успокойся, Коля. У меня есть теплая вода. Умойся. Я тебе полью.

Лопатин взял листок, крупно и четко написал:

«От Исполнительного комитета партии «Народной воли».

Сегодня, в пятницу, агентами Исполнительного комитета казнен инспектор секретной полиции жандармский подполковник Г. П. Судейкин...»

Поднял тяжелую голову, спросил:

— Охрана была?

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОТСТАВНОЙ ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ

СЕРГѢЙ ПЕТРОВЪ ДЕГАЕВЪ

Шатенъ роста хорошаго, темный блондинъ

обвиняется въ убійствѣ 16-го Декабря 1883 года Подполковника Судейкина

5,000 РУБЛЕЙ

назначено за сообщеніе полиціи свѣдѣній, которыя дадутъ возможность опредѣлить мѣстонахожденіе Дегаева, поведутъ къ его задержанію

10,000 РУБЛЕЙ

будутъ выданы тому, кто, указавъ полиціи мѣстопребываніе Дегаева, окажетъ содѣйствіе къ задержанію преступника.

Разыскное объявленіе III отделенія на С. П. Дегаева.

— Был племянник Судовский. Его Судейкин звал Коко. Так вот Коко кокнул Конашевич. А мне пришлось долго возиться с дядюшкой. Здоровый черт! Не заметил, как сбежал пульнувший в спину подполковника Дегаев и ушел Конашевич. Они, наверное, уже в варшавском поезде...

Лопатин, ничего не сказав, дописал фразу:
«...при чем убит защищавший его сыщик.

С.-Петербург, 16 декабря 1883 г.» [137]

Листок передал Раисе и попросил:

— Постарайтесь набрать объявление к утру и напечатать.

— Я помогу, — сказал Стародворский. — Помогу печатать...

...Днем 17 декабря Лопатин увидел на театральном щите свежее, броское:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отставной штабс-капитан
Сергей Петров Дегаев

обвиняется в убийстве 16 декабря 1883 года подполковника Судейкина.

5000 рублей

назначено за сообщение полиции сведений, которые, дав возможность определить местонахождение Дегаева, поведут к его задержанию.

10 000 рублей

будут выданы тому, кто, указав полиции местопребывание Дегаева, окажет содействие к задержанию преступника» [138].

В центре объявления, в два ряда, были напечатаны шесть портретов Дегаева. Под ними мелко обозначены приметы: «Маленького роста, худощавый, темный блондин».

Кто-то похожий на чиновника протянул баском:

— Вот тебе и маленький, а деньги большие стоит. Эх, попадись ты мне, темный блондин, я тебя моментально представлю, куда следовано быть!..

6

Накануне казни Судейкина Герман Лопатин получил странное письмо — Ошанина вызывала его по срочным делам в Париж. Лопатин недоумевал: как это можно уехать, не завершив главного дела — не уничтожив опаснейшего врага, вырвавшего из рядов «Народной воли» сотни лучших ее бойцов? Почему-то там не сообщили о предательстве Дегаева, и нужно было терять дорогое время, чтобы «расколоть» этого пресмыкающегося, выдавшего Веру Фигнер и всю военную группу, — к дознанию было привлечено более 140 человек. 9 декабря Лопатин отправил ответ Ошаниной, в котором сообщал:

«...Я подожду с отъездом до получения от Вас нового подтверждения.

Нам все-таки необходимо повидаться: и это будет (если меня не схватят), но сейчас этого сделать нельзя. Я считаю себя пока очень нужным здесь и для спасения некоторых лиц, и для других дел, и даже для добрых советов в нужную минуту. Деморализация, как и следовало ожидать, не мала, а людей с умом, опытных, мужественных, с чувством долга — увы! — не особенно много. Да и иные исчезают как-то бесследно...

В. Н. Фигнер, член Исполнительного комитета «Народной воли».

Я теперь волей-неволей превратился в самопомазанного «агента» Комитета и стараюсь держать его знамя как можно выше, а главное — как можно *чище* и *благороднее*...

Вынужден ходить беспрерывно в крайне опасные пункты, но едва ли попадусь, разве по несчастному случаю.

«Отчаянные» люди есть; но денег ни гроша; большинство «квартир» деморализовано; и «посредники» тоже. А без них *сношения* крайне трудны: всюду иди сам; да не всюду еще можно пойти» [139].

В эти трудные и опасные дни восстановления опустошенной арестами и деморализованной предательством социально-революционной партии первым помощником и верным другом Лопатина стал Константин Степурин. Он познакомил с Николаем Михайловичем Флеровым — организатором «Рабочей группы», в которую входила революционно настроенная фабрично-заводская молодежь. Лопатин советовал Флерову заняться созданием кружков «Народной воли» непосредственно на заводских окраинах столицы.

Лопатин встретился и познакомился с питомцем университета кандидатом филологических наук Петром Филипповичем Якубовичем, резко критиковавшим загра-

П. Ф. Якубович-Мельшин, организатор «Молодой народной воли», поэт.

ничный Исполнительный комитет и выдвигавшим новую тактику аграрного и фабрично-заводского террора. Первые попытки разубедить молодого революционера в ошибочности его «теоретических» взглядов не удались. Якубович находился под влиянием вносившего раздор и склоку и ненавидевшего руководящих заграничников Деда — Овчинникова. На одном из вечеров, на котором Дед не присутствовал, Лопатин попросил хозяина квартиры прочесть свои стихи. Петр Филиппович декламировал горячо и вдохновенно. Лопатин похвалил автора за ярко выраженную революционность зарезанных цензурой стихов и посоветовал передать их для публикации в заграничные издания. Якубович передал рукописи только что прочитанных стихов Лопатину, который переслал их П. Л. Лаврову. Стихотворения «Пловцы», «Друзья», «Не плачь, о мать моя, и сына не кори», «Я пою для тех, чьи души юны» и поэма «Сказочный город» были впервые опубликованы в журнале «Вестник Народной воли».

...20 декабря Константин Степурин сообщил Лопатину неприятную новость:

— Вчера днем на Невском арестован Степан Росси.

— Днем. Значит, вылез посмотреть на скорбящих по Судейкину. Вот болван! Я предупреждал — ни в каком виде в похоронах этого удава не участвовать. Судейкин издох, но сыщики его остались.

— Вам нужно уезжать в Париж. Я не уверен в душевных качествах купеческого сына, итальянского подданного из града Житомира. Попав на Гороховую, трудно остаться человеком.

— Оставаться человеком надо при любой обстановке, в самых тяжелых условиях. Это наше кредо. Значит, вы опасаетесь, что Степан Росси не выстоит и «вывернет кафтан». Весьма вероятно. Ведь это дружок Дегаева.

— К тому же слишком много знающий. Он бывал на квартире Кранцфельд. Хорошо, что она уехала. И Стародворский и Конашевич укатили к себе, на юг. Очередь за вами.

— Спасибо за дружеское предупреждение. Все мои связи и дела придется принять вам, дорогой Константин Алексеевич. По технической части вам поможет весьма толковая учительница Софья Ермолаевна Усова.

— Я ее знаю.

— Вот и договорились.

7

Лопатин прибыл в Париж во второй половине января 1884 года. Остановился у неизменного друга — Лаврова. Рассказав ему о поездке, направился к Ошаниной. У нее в комнате сидела молодая, красивая женщина. Представился. Незнакомка рассмеялась:

— Неопила Салова. Я вас здесь видела, да вы на меня не обратили внимания.

— Весьма сожалею. Я слышал в столице о вас весьма похвальные отзывы.

Лопатин сел к столу, протер пенсне, повернулся к хозяйке:

— Прежде чем вы меня будете спрашивать, должен задать один, давно меня мучающий вопрос: почему вы с Тигрычем не сказали мне *всей правды* о Дегаеве? Ведь он мог предать меня, так же как предал Веру Фигнер и ее друзей.

Ошанина приняла какие-то капли от «постоянной головной боли», сказала виновато:

— Мы не посмели поведать вам всю правду. Вы могли бы из нравственной брезгливости отшатнуться навеки от партии, в которой мог зародиться и существовать так долго столь ужасный политический разврат. Мы боялись потерять вас, Герман Александрович...

— Скверно. Очень скверно! Прикрывать в партии злодейство есть наивысшая степень злодейства. Вы не только меня, всех товарищей обманули.

— Полноте! Да скажи вам, что Дегаев — провокатор, вы его сразу бы прикончили. Не будем заниматься взаимными упреками. Хорошо, что вас там не зацапали и вы приехали вовремя; в начале февраля мы проведем организационный съезд партии. Здесь. В Париже...

На съезде присутствовало 14 человек, из них только четверо прибыли из России: Александр Кашинцев, Василий Караулов, Герман Лопатин и Василий Сухомлин. От польской революционной партии «Пролетариат» присутствовал Станислав Куницкий.

Делегаты решили, что Исполнительный комитет партии должен находиться в пределах России. До его сформирования руководящая роль принадлежит «Распорядительной комиссии», которая возглавляет центральную группу, составленную из наиболее опытных и активных представителей основных местных организаций в составе 17 человек.

Г. А. Лопатин *(1884 г.)*.

В Распорядительную комиссию «Народной воли» были избраны Герман Лопатин, Неонила Салова и Василий Сухомлин. Они должны были в ближайшее время организовать типографии, выпустить десятый номер газеты «Народная воля» и создать самостоятельные местные группы в крупных промышленных городах. Рекомендовалось — для утверждения авторитета возрождающейся «Народной воли» организовать, на строго конспиративных началах, террористический акт против министра внутренних дел Д. А. Толстого. Кроме того, Распорядительная комиссия обязывалась завершить начатые переговоры о скорейшем объединении с польской социалистической партией «Пролетариат».

Делегаты съезда Петр Лавров, Мария Ошанина и Лев Тихомиров вошли в редакцию журнала «Вестник Народной воли». Как только съезд закончился, делегаты разъехались по местам: Василий Караулов — в Киев, Александр Кашинцев — в Одессу, Станислав Куницкий — в Варшаву. Лопатин договорился с Сухомлиным и Саловой, что они встретятся в начале марта в Петербурге у Константина Степурина.

Перед отъездом на Родину Лопатину очень хотелось повидаться с сыном. Считай, почти два года прошло с тех пор, как расстались в Вологде. Зинаида Степановна уехала в Париж завершить университетское медицинское образование. Еще осенью прошлого года Лопатин послал ей большое, в 44 страницы письмо, но ответа не получил. Попросил Лаврова:

— Привезите Бруно. Хотя бы часа на два. К вам она отпустит.

Петр Лаврович согласился. Вернулся расстроенный:

— Зинаида Степановна уехала на курорт лечиться. А когда вернется, хозяйка не знает.

— Очень жаль. Ждать, сами понимаете, не могу. Так называемые «особые полномочия» торопят. Очень хоте-

лось бы посоветоваться с Энгельсом, но удастся ли вырваться в Лондон — не знаю. Торопят меня мать-игуменья и Тигрыч. Впрочем, в нем ничего не осталось тигриного — скорее облезлый, испуганный кот. Говорит, а в глаза не смотрит. Сквернейший признак.

— Ты слишком строг к больному и мнительному Льву Александровичу.

— Время покажет, время рассудит, как говаривал мой батюшка. Если бы вы знали, как мне хочется увидеть его и маму... Но я уже не принадлежу самому себе. Извините сие сентиментальное отступление. И ждите добрых вестей из нашей России...

8

...Лопатин приехал в Петербург 11 марта. Прежде чем пойти на явочную квартиру Степурина, зашел к Николаю Даниельсону. Расспросил о новостях.

Даниельсон морщился, рассказывал вяло — все было крайне тяжелым и мучительным. На прошлой неделе в Киеве разгромлена нелегальная типография и схвачено десять человек. Двое рабочих оказали вооруженное сопротивление. В столице 4 марта арестован секретарь газеты «Новости» Федор Греков, а позавчера взяты Любовь Чернова и Константин Степурин.

— Не может быть! — усомнился Лопатин. — У Степурина и Черновой все явки, все дела, мой архив. Ведь я совершенно случайно завернул к тебе, первую встречу намечал у Степурина.

— Так наверняка попался бы в засаду. Считай — повезло.

— Какое там повезло! Мы потеряли лучших агентов. Все явки. Надо все начинать сначала.

Все начинать сначала! И в столице, и во всех горо-

дах Российской империи. Партия должна быть массовой и прежде всего рабочей. Лопатин через Якубовича разыскивает Василия Сухомлина (Комара) и Неонилу Салову (Феодосья Лобойко и Серб). По вызову с юга приехали опытные агенты Центральной группы Алексей Николаевич Бах (Кащей) и Сергей Андреевич Иванов (Заика). Прояснились «свежие» потери. Главная — провал киевской типографии, налаженной Михаилом Петровичем Шебалиным. В ней Лопатин рассчитывал напечатать газету «Народная воля» № 10 и таким образом заявить всенародно, что партия живет и борется с самодержавием. При обыске у Шебалина были найдены письма П. Ф. Якубовича, послужившие поводом к аресту и гибели К. А. Степурина. Следователи показали первному, измученному тяжелой нелегальной работой Степурину порочащие его, коварно подобранные цитаты из писем Якубовича, рассчитывая вызвать озлобление и нужную им откровенность. Сказались на психическом состоянии обвиняемого пространные предательские показания о нем напуганного журналиста Федора Грекова. Константин Алексеевич отказался дать показания об известных ему арестованных лицах в Киеве и 20 марта за ужином перерезал себе горло кухонным ножом.

Лопатин тяжело перенес эту потерю. Сообщая заграничной тройке об аресте супругов Шебалиных, Морского слона — Василия Караулова и его брата Николая, Герман Александрович писал о Константине Степурине: «...гибель моего товарища будет невосполнимой потерей. Прямо не знаю, что мне делать и как мне быть без него...»

В этом же письме были строки о трагедии бывшего сельского учителя Василия Петровича Конашевича, названного по повести Глеба Успенского «Власть земли» — «Мишанька № 1»: «„Мишанька № 1" сидит здесь. При-

сутствие его в С.-Петербурге, говорят, совершенно установлено. Говорят, что он не в силах указать — как он провел вторую половину дня 16 числа (декабря)» [140].

Лопатин еще не знает, что купеческий сын, канцелярский служитель Степан Росси уже «раскололся» и пошел кривой тропой своего дружка Дегаева и дал откровенные показания о свершивших казнь Судейкина — Василии Конашевиче и Николае Стародворском и укрывавшей их Раисе Кранцфельд. Лопатин еще не знает, что «тихий и ласковый» Степа назовет его — Грегуара (он же Григорий Петрович) организатором и контролером «убийства Судейкина», и в обвинительный приговор ляжет первая тяжкая строка. Но и Росси и его хозяева — высокопоставленные жандармы пока еще не знают, что в Петербурге живет и действует английский подданный комиссионер Фридрих Норисс, — по паспорту этого господина пересек границу и прописался Герман Лопатин.

Распорядительная комиссия и ее агенты занялись в первую очередь восстановлением разбитых, но не уничтоженных народовольческих групп. Начали с Питера. Лопатин считал необходимым объединение с оппозиционной, сильной группой «Молодой партии Народной воли» и с «Рабочей группой». Для этого нужно было разбить в теоретических спорах идеологов «аграрного и фабричного террора» Якубовича и Овчинникова, прозванных довольно метко Лопатиным «красными петухами». На совместных совещаниях Лопатин терпеливо доказывал «молодым», что аграрно-фабричный террор на практике может только восстановить народ против «шайки разбойников», а посему не следует срамиться и проповедовать явно неосуществимые, вредные для дела программные требования. И сразу же поднимался старший среди «молодых» Дед — Овчинников и крикливо резко критиковал старую «Народную волю» и новояв-

ленных парижских варягов и призывал перейти от слов к делу — к массовому физическому воздействию на лиц, непосредственно стоящих над трудящимися. Лопатин не выдерживал, прибегал к главному оружию — сатире и юмору, которые явно не способствовали сближению «красных петухов» с «варягами». Досадуя на себя и понимая, что переговоры затягивать нельзя (у «молодых» есть хорошая типография), Лопатин попросил Иванова и Баха «побеседовать по душам» с Якубовичем и Овчинниковым. После трех встреч наметились первые признаки взаимопонимания. Ускорил переговоры арест Овчинникова. Лопатин перешел на более спокойный деловой разговор с Якубовичем и его товарищами Флеровым и Мануйловым. Как бы подводя итоги затянувшихся споров, заметил:

— Будем работать вместе. Вот ведь как бывает — помог нам прискорбный случай — арест шатуна Деда. Полагаясь на свою восемнадцатилетнюю опытность, могу предсказать неизбежное — этот шарлатан, раскольник и склочник, ускоривший гибель Степурина, там, под напором «голубых», быстро потеряет лик человеческий, уподобится гаду пресмыкающемуся...

— Вы слишком строго и бездоказательно судите, — вспыхнул Якубович. — У Деда есть, как у всякого смертного, недостатки, но предателем, полагаю, он не будет...

— Поживем, увидим, — сказал Лопатин. — Однако менять квартиры крайне необходимо. Дегаев, по слухам, исчез в джунглях Южной Америки, а наследники его сохранились. К сожалению, не каждый может остаться человеком под угрозой петли и пули.

Опыт, чутье, умение проникать в душу людскую в данном случае не подвели Лопатина: Дед действительно был быстро «приведен в сознание» и свои откровения начал с оговора недавнего друга Петра Якубовича.

Создав надежную крупную организацию партии в столице, Лопатин, Салова и Сухомлин выехали в южные города для поисков новых сил, для пополнения рядов «Народной воли» рабочим людом.

По просьбе Лопатина уехал в университетский город Дерпт[141] для организации нелегальной типографии Петр Филиппович Якубович.

9

...Тяжелым, воистину страдным было лето 1884 года для Германа Лопатина и его помощников Василия Сухомлина и Неонилы Саловой. В предельно короткий срок Распорядительной комиссии удалось восстановить кружки «Народной воли» в Екатеринодаре, Екатеринославе, Казани, Киеве, Москве, Новочеркасске, Орле, Одессе, Перми, Рязани, Ростове-на-Дону, Саратове, Туле, Урюпинске, Харькове и Чернигове.

По поручению Лопатина агенты Центра Сергей Иванов и Алексей Бах создали в Ростове нелегальную типографию, хозяйкой которой стала Руня — Раиса Кранцфельд, благополучно скрывшаяся из Петербурга после казни Судейкина.

Вторая нелегальная типография была оборудована Петром Якубовичем в квартире преданного революционера студента Владимира Переляева.

Лопатин ликовал: наконец-то представляется возможность выполнить главное задание съезда партии — выпустить не выходившую с 5 февраля 1882 года газету «Народная воля». Собрать материалы и подготовить их к печати оказалось делом крайне сложным и трудным. Отредактированные еще в прошлом году статьи о внутренней жизни партии безнадежно устарели, и нужно было срочно писать новые, используя свежие факты и

события. Лопатин рассчитывал, что основной раздел номера — «Внутреннее обозрение» подготовит талантливый публицист и критик Н. К. Михайловский. У него уже был опыт — его статьи, под псевдонимом Гроньяр, печатались в предыдущих номерах «Народной воли». Николай Константинович наотрез отказался выполнить заказ и ограничился передачей редактору небольшой, но острокритической, злободневной статьи «Закрытие „Отечественных записок"», которая и была напечатана в газете. Лопатину пришлось самому сесть за сочинение главного куска номера. Работать было трудно, от стола отрывали неотложные текущие дела, огромная организационная переписка. Пришлось сидеть ночами. Лопатину удалось рассказать о возрождении «Народной воли», о ее готовности вести борьбу за счастье народа до полной победы. «Мы еще живы, верим в успех и твердо намерены бороться за него, не покладая рук». Удалось показать непокорную, гневную, революционную душу России: мятежи крестьян, отбивающих пашню и лес от помещиков, забастовки отстаивающих свои жизненные права рабочих и передовую интеллигенцию, объявившую «не только в интересах народа, но и в интересах собственного самосохранения, неумолимую войну не на жизнь, а на смерть этому правительству...» Лопатину удалось сделать вывод, вполне совпадающий с добрыми советами «Генерала революции» Фридриха Энгельса: «...самодержавие отжило свой век, — оно не в силах больше принести ничего хорошего ни народу, ни обществу... Неустанная, неумолимая борьба против него, в лице всех его представителей, борьба без отдыха, без пощады и без перемирия есть священнейший долг всего живого и честного на Руси»[142].

Лопатин решил поместить в номере документы, отражающие успешно завершенные им переговоры с представителями Центрального Комитета польской социа-

листической партии «Пролетариат» Станиславом Куницким и Людвигом Яновичем. Вопреки националистическим требованиям Льва Тихомирова полного подчинения «Пролетариата» «Народной воле», Лопатин в подготовленном им программном документе «Ответ Исполнительного Комитета» записал:

«...Сохранить за «Пролетариатом» полную независимость и ответственность в ведении дел своей партии в Польше... Тесный союз между партиями «Народной воли» и «Пролетариат» в интересах революции представляется, однако, столь же необходимым, как и полная их самостоятельность.

Борьба русских и польских социалистов не может представлять никаких различий в том, что касается низвержения нашего общего врага — русского самодержавия».

Так Герман Лопатин исправил свою старую ошибку, подмеченную Карлом Марксом еще в 1870 году, — «слабый пункт — *Польша*», имея в виду его интернациональную незрелость...

Большую помощь в подготовке десятого номера к печати оказала Лопатину весьма способная и принципиальная журналистка Неонила Михайловна Салова.

Первым получил все материалы и приступил к набору и выпуску газеты поселившийся в Дерпте у Владимира Переляева студент Иванов, он же Петр Якубович.

Лопатин побывал в Дерпте и убедился, что все статьи и заметки попали на полосы и номер уже сверстан и вычитан. Значительно сложнее и медлительнее работали верстальщики в ростовской типографии. По настоянию местного кружка Сергей Иванов и Алексей Бах поставили на первую полосу сообщение о гибели Якова Бердичевского при нападении на почтовую повозку под Харьковом 24 октября 1883 года. Приехав

в Ростов, Лопатин разыскал по записи на клочке пергамента явочную квартиру Алексея Баха и первым долгом спросил:

— Все ли материалы попали в номер? Выдержан ли наш план верстки?

— По требованию некоторых товарищей мы вверстали некролог о Бердичевском.

— Чудовищная глупость. Я предупреждал — о Бердичевском ничего не печатайте. Неужели вы не понимаете, что нападения на почту с целью грабежа только озлобляют местное население, превращают нас в типичных уголовников. Почтальон — слуга общества, личность его священна. За гробом погибшего в перестрелке почтальона Мануйлова шли люди, ненавидящие его убийцу. И вот мы своими руками распространяем эту ненависть по всей России. Невероятно. Кощунственно! Некролог надо немедленно снять. Отпечатанные номера уничтожить.

— Поздно. Типографщики ни за что не согласятся на переверстку первой полосы. Вы только взбунтуете...

— Не беспокойтесь. Я сумею их убедить.

— Я не дам вам ни сигнала, ни пароля. Вас застрелят.

— Я знаю адрес типографии. Обойдусь без пароля.

С дачи Баха Лопатин добрался до города в сумерки. Нашел дом. Пройдя двором, беззвучно вошел в квартиру. Тишина и темень. Решил «кашлянуть». И сразу же услышал сердитый голос хозяина:

— Кто вы? Что вам нужно?

За перегородкой послышался подозрительный шорох и стук: похоже, выдвигали ящик стола.

— Граждане, — громко сказал Лопатин, — не спешите хвататься за револьверы. Я один — значит, с этим делом всегда поспеется. Я пришел без пароля; но хозяйка знает меня в лицо, — позовите ее.

Хозяин исчез. Донесся тревожный шепот: «Говорит, что ты его знаешь. Выходи. А если что... я тут...»

К Лопатину подошла невысокая женщина и, тщетно пытаясь узнать незнакомца, обронила смущенно:

— Ничего не вижу.

Лопатин положил ей руки на плечи и наклонился к уху:

— Руня, не узнала? А Садовая улица?

Раиса Кранцфельд взвизгнула и бросилась на шею нежданному гостю.

Лопатин послал за Петром Антоновым, товарищем Бердичевского по нападению на почту, спокойно разъяснил ему, почему Распорядительная комиссия не может допустить печатание такого некролога. Антонов и его товарищи не возражали и сразу же переверстали первую полосу. Готовых номеров было немного. Лопатин взял один, остальные сожгли в печке.

10

3 октября Лопатин приехал из Москвы в Петербург. Прямо с вокзала прошел к Саловой, жившей на Преображенской улице[143]. Неонила Михайловна обрадовалась:

— Какое счастье — ты вернулся в целости и сохранности. Ты слышал — где-то там, под Полтавой, арестован Сухомлин.

— Увы, слышал. Вероятно, его взяли по письмам, найденным у Александра Кашинцева. Вот и остались мы, распорядители, вдвоем. Надо в конце октября или в начале декабря собрать съезд представителей всех организаций где-нибудь на юге, скажем, в Одессе или в Ростове. Мы с вами отчитаемся и передадим дела вновь избранному Исполнительному комитету. На этом

и завершится наша тяжкая миссия. А пока... я страшно голоден.

— Пошли в кухмистерскую.

— В дешевенькую. На Невский.

— Ты мой гость. Я угощаю. Сегодня можешь не тревожить свою кредит-дебитную книжку. И как тебе не надоест учитывать каждый грош?

— Нужда, мой милый Серб, гнусная нужда. Представь — веду строжайший счет вот уже двадцать лет. С прискорбием доложу — на сие число в приходе рубль и тридцать восемь копеек. Однако зрю просвет — на днях (числа шестого) получу энную сумму в Английском банке и позволю себе небывалое мотовство: куплю два билета в Мариинский театр и приглашу молодую, красивую, остроумную женщину и буду безудержно кавалерить...

— О! Я начинаю ревновать.

— Полноте! Ты — моя последняя дама, Неонила свет Михайловна. Экое лирическое, музыкальное имя дали родители.

— Лукавите! Пошли в кухмистерскую, милый мой Грегуар. Тоже звучит недурно.

...Не довелось Лопатину сходить в Мариинский театр. Его давно уже искали. Ловкий шулер и провокатор Белино-Бржозовский, с которым Лопатин имел несчастье познакомиться в Москве, сообщил своим хозяевам о выезде Грегуара — Норисса в столицу. Опытный агент Ловицкий, следивший за Лопатиным еще в 1879 году и хорошо знавший «его личность», без труда отыскал «крестника» в жиденькой вереннце сошедших с поезда. И с этого момента не выпускал из виду до передачи в надежные руки. Взяли Лопатина неожиданно в самом центре, у Казанского собора. Два отборных, здоровенных молодца неслышно подошли сзади, схватили за руки и, завернув их за спину, поволокли

к пролетке. Лопатин громко закричал: «Скажите всем, я арестован!» — надеясь привлечь внимание публики и предупредить идущую к нему Салову.

Агенты швырнули Лопатина, как мешок, в пролетку, жандармский офицер Вельбицкий толкнул кучера в спину:

— Пулей на Гороховую...

У Малой Конюшенной, у своей квартиры, Лопатин рванулся, локтем столкнул одного агента, но второй до хруста завернул руку:

— Не крутись. Хуже будет.

В жандармском управлении Лопатин попросил разрешение закурить, но вместо папиросы выхватил из жилетки пергаментные адресные листки и сунул их в рот. И сразу цепкие, крепкие пальцы с такой жестокой силой сдавили горло, что Лопатин потерял сознание.

11

...Первым Лопатина допросил начальник Санкт-Петербургского жандармского управления полковник Оноприенко. На его столе лежали фотографии арестованного, две объемистые папки с бумагами и папиросы. Прищурив левый глаз, словно прицеливаясь, полковник пристально посмотрел на подследственного и сказал с истинным удовольствием:

— Рад лично познакомиться. Не будем манерничать и перейдем к делам.

Придвинул к себе папки.

— Полюбуйтесь на дело рук ваших. Вас еще в натуре здесь не было, а бумаги о преступной деятельности вашей уже откладывались, откладывались и откладывались. Спрашивается, каким образом? Как человек крупного калибра, вы вели широкие знакомства. Вас многие

знали, и среди этих многих были люди весьма разговорчивые, точнее сказать, весьма откровенные. С их откровениями вы в свое время детально ознакомитесь. После краткого вступления приступим к конкретным сюжетам вашего большого романа. Начнем с этих вот листков.

Оноприенко вытащил из папки одиннадцать узких полосок и протянул Лопатину.

— Не вздумайте глотать. Это всего-навсего копии с тех самых злополучных листков, что были весьма своевременно извлечены из вашей глотки. Полагаю, что сей сухой перечень *действующих* лиц и местожительств — самая существенная находка в вашем богатейшем вещественно-доказательном архиве. Почитайте-ка их для освежения памяти, и начнем деловой разговор по сути сего обстоятельного справочника.

С трудом сдерживая боль и ярость, Лопатин стал медленно читать еще не заляпанные пальцами продолговатые, узкие, напоминающие лезвие листки, тайно надеясь, что «голубые» что-то не разобрали в его скорописи, что-то не поняли, что-то перепутали. Читал, содрогаясь и накаляясь презрением к самому себе, и проходили чередой теперь уже не радостные и светлые, а горестные и темные лица товарищей, с которыми встречался совсем недавно на явочных квартирах, в чайных, кухмистерских южных городов империи. Записывал тогда, не полагаясь на память, — никто не в силах удержать в голове столько фамилий и адресов, записывал не для себя, а для предстоящего съезда, который не соберешь на голом месте. И что самое прискорбное — иногда на эти листки ложились фамилии просто знакомых, никакого отношения к «Народной воле» не имеющих. Полагался на свой опыт, ведь глотал подобные заметки неоднократно и без помех. И писал-то на тонкой, перга-

ментной бумажке, весьма удобной для проглатывания. Счастье отвернулось? Нет! Наказана закоренелая самонадеянность, и поздно каяться и выказывать презрение к самому себе перед умным, хитрым и безнаказанно издевающимся жандармом. Главное — остаться человеком и отстоять не себя (удавка у локтя жандарма в увесистых папках), надо отвести от беды души, попавшие в этот жуткий список. Правда, многие были арестованы до трагического 6 октября, но некоторых еще ищут. Их надо спасать...

— Ну что, прочли? Свиделись с родней? — напомнил полковник Оноприенко.

— Свиделся. Иронизируя, вы невольно сказали сущую правду: в этот скорбный для меня список совершенно случайно попали действительно только мне одному родственные души, ни во сне, ни наяву не причастные к партийным делам. Возьмем, к примеру, вот эту запись — «Ташкент, В. Ф. и Е. И. Ошан.». Это известный исследователь Средней Азии надворный советник Василий Федорович Ошанин и его милейшая супруга Елизавета Ивановна. Посудите сами — зачем тащить именитого ученого в Петропавловскую крепость? Хоть вы и жандармы, но все-таки... люди.

— Благодарю за комплимент, — усмехнулся Оноприенко. — А чего это вы, голубчик, не завели на сей предмет записной книжки для родных и друзей, к вашему «народолюбческому» делу не причастных?

— Отвечу вопросом: неужели вы не заинтересовались бы всеми лицами, попавшими в мою записную книжку?

— Пожалуй, вы правы. К тому же при всей вашей опытности записную книжку не удалось бы заглотнуть. Что касается Ошанина, то можете о его переживаниях не заботиться. Мы не столь глупы, как вам кажется, и заполнять тюрьмы явно случайными людьми не соби-

раемся. Что вы еще изволите сказать по существу этого списка?

— Полагаясь на вышесказанное «мы не столь глупы», я посоветовал бы вам для облегчения столь «полезной деятельности» снять в сем перечне все заграничные адреса, не подлежащие вашей компетенции.

— Резонно. Однако перейдем к сугубо русским делам. Вот пунктик, весьма нас интересующий: «Типография: Васильев, Руне Кирилл (в скобках Шкриоба) надо перенести нужен хозяин полицейские сведения». Прошу прояснить.

Вопрос был трудным. Все названные еще не арестованы. Подлинное имя только одно — Васильев. А их много на Руси святой.

— Подумайте, подумайте. Я не спешу, — напомнил о себе Оноприенко.

— Сия интересующая вас заметка явно устарела. Да, была такая типография в Киеве, но она вами давно ликвидирована.

Оноприенко прищурил черный левый глаз (снова прицелился!), покачал прилизанной головой:

— Сомневаюсь. И весьма сомневаюсь, милостивый государь. Хозяином киевской типографии, как мне помнится, был некто Шебалин с супругою.

— Не лукавьте, полковник. Ведь вы отлично знаете, что именно в киевской был изъят вашими людьми Макар Васильев.

— Вы преувеличиваете мою осведомленность. Ну что ж, проверю, непременно проверю.

Взглянул на часы. Приказал унтеру:

— Пригласите подполковника Ножина и ротмистра Лютова.

«Какое чисто жандармское жуткое сочетание», — подумал Лопатин и по своей привычке оформил фамилии: «Лютый нож второй степени».

Лица вошедших показались свеже-знакомыми. Лопатин стал вспоминать и вспомнил: накануне ареста стоял с ними в музее.

— Знакомьтесь, — сказал Оноприенко: — Вчерашний Фридрих Норисс, Грегуар, Григорий Петрович и прочие, прочие, он же Герман Александрович Лопатин.

— А мы знакомы, — кивнул головой Лопатин. — Имел честь недавно встречаться.

— Как это понимать? — обидчиво насторожился Ножин.

— Очень просто. Вы были на выставке картин Репина в полдень, пятого октября?

— Были.

— И на полчаса, а может и более, задержались у близкого вам сюжета «Не ждали»?

— Ах вот где, — облегченно усмехнулся Ножин. — Говорите — «Не ждали». Это только вы не ждали, а мы-то вас давным-давно ждем.

— Вот и дождались, — охотно подытожил Оноприенко. — Вам придется, господа, вести дело Лопатина и компании. Надеюсь, что вы взаимно понравитесь и столкуетесь. Скажите, как Феодосия Лобойко, приведена в сознание?

— Пока молчит, — ответил Лютов. — К ее шифрованным записям я нашел ключ. Образовалось довольно много адресов.

— Весьма благодарен. Присовокупите их к лопатинским. И за дело, господа. За дело. Государь император изволил проявить особую заинтересованность.

Глянув на подследственного и, словно бы спохватившись, добавил:

— Уведите арестованного. Ему нужно отдохнуть и подумать. Да, да, есть о чем подумать.

«Сволочная истина, — подумал Лопатин. — А как быстро они раскусили шифровки бедной Неонилы. А ведь как старалась! И упрекала. И требовала...»

12

И потекли тоскливые дни-близнецы. Днем — на допрос, вечером — в одиночную камеру Трубецкого бастиона. Допрашивали — товарищ прокурора, пронырливый, прячущий под синими очками выбитый каким-то революционером глаз, Котляревский и подтянутый, корректный немец Лютов. Лопатин оборонялся успешно и сообщал только установленные и никому не причиняющие вреда сведения. Так продолжалось до середины февраля, до появления третьего, куда более опасного, хотя и незримого врага.

Прикрывая верхнюю часть листа показаний длинной сухой ладонью, Котляревский не без ехидства сообщил:

— Наконец отыскался упорно скрываемый вами Кирилло. Под этим именем вы обозначили в записи под номером вторым бывшего люботинского рабочего Петра Леонтьевича Антонова, дважды принимавшего участие в нападении на почту под Харьковом и убившего почтальона Мануйлова. Кроме того, Антонов убил агента полиции мастерового Шкриобу.

Лопатин сразу догадался:

— Снимите вашу заслонку с листа показаний. Их дал Петр Елько.

— Да. Он — иного склада человек, чем вы. Елько сразу понял, к чему может привести его упорное запирательство, и дал весьма ценные, исчерпывающие показания.

— Рептилия! Еще бы, участвовал в двух убийствах... Узрел две петли и разговорился...

— Не вам судить! Извольте внимательно выслушать и прояснить лично вас касающееся свидетельство: «Кроме двух разрывных снарядов, отобранных при аресте обвиняемого в государственном преступлении Германа Лопатина, есть еще два вполне готовых; эти последние переданы Сергеем Ивановым (Заикой) на хранение около 20 сентября 1884 года армянину Макару Попову, живущему в Нахичевани-на-Дону, в складе машин Зингера. Эти разрывные снаряды были приготовлены в конце лета 1884 года в Луганске всего в числе 6. Из коих 2 были уничтожены при испытании силы снарядов, произведенном в том же Луганске в присутствии Сергея Иванова (Заики), по инициативе которого снаряды были приготовлены».

С трудом скрывая злую, ломающую тело ненависть, Лопатин сказал:

— Ничем помочь вам, Михаил Михайлович, не могу. Вникните, пожалуйста, беспристрастно в суть, сим пресмыкающимся изложенную: двадцатого сентября, по вашим почтеннейшим данным, я был в Москве, а посему передавать снаряды некоему Попову не мог. И далее сказано — «приготовлены», словно это фаршированная колбаса, снаряды по инициативе Сергея Иванова. Полагаю, что Попов и Иванов уже вами арестованы...

— Мало ли что вы полагаете! Иванов еще не разыскан. Раскрылась еще одна ваша знакомая по тому же номеру два — некая Руня. Она была хозяйкой типографии в Ростове, а не в Киеве, как вы упорно утверждали. И настоящая ее фамилия Раиса Кранцфельд, к сожалению, «еще не разысканная» [144].

— Чем же еще вас порадовал Елько?

— Передавал, что вы участвовали в убийстве Судейкина и предлагали трех студентов, им якобы завербованных, поймать, допросить с веревкой на шее и заморо-

зить... Думаю, что сие навет. Вам нечаевские методы не подходят.

— Польщен. Даже вы признали ельковские бредовые измышления наветом. А что еще?

— Не все сразу! — предупредил ответ Котляревского ротмистр Лютов. — Узнаете в свое время.

И Лопатин узнал в свое время, что Елько попросил товарища прокурора Романова направить его в Харьковский тюремный замок, где он будет иметь возможность получить сведения о месте нахождения рабочих: неизвестного ему, по имени Федор, и Петра Антонова (Кирилло), а также узнать, в каком положении «находится возникший незадолго до его ареста вопрос об изготовлении новых взрывчатых снарядов». Просьба предателя была «уважена» — Елько на время перевели в Харьковскую тюрьму.

Следствие по делу группы Лопатина продолжалось до 21 февраля 1887 года. В этот день исполняющий обязанности вице-директора полиции А. Ф. Добржинский направил министру юстиции отношение:

«Второе уголовное отделение имеет честь представить при сем к подписанию вашего высокопревосходительства проект отношения к товарищу Министра внутренних дел, заведующему полицией по делу о «руководящем кружке преступного сообщества, именующегося партией «Народной воли».

При этом отделение вменяет себе в обязанность доложить:

1) Что из общего числа 59 обвиняемых предполагается:

а) в отношении 21 — направить дело к военному суду,

б) в отношении 17 — разрешить в административном порядке,

в) в отношении 11 — прекратить

и г) в отношении 10 — приостановить.

2) Что прежде составления заключения прокурорским надзором у меня происходило совещание с директором департамента полиции по вопросу о мерах, каковые и были определены» [145].

Военный прокурор полковник Маслов приступил к составлению обвинительного акта по делу двадцати одного. Трудился два с половиной месяца и с трудом уложился в 214 страниц печатного текста.

Слушание дела было перенесено на конец мая 1887 года в связи с возникшим новым, более срочным процессом террористической фракции «Народной воли», подготовившей покушение на Александра III и арестованной в первых числах марта. В их числе был старший брат В. И. Ленина — Александр Ульянов. 8 мая 1887 года в царской Шлиссельбургской тюрьме были повешены первомартовцы Александр Ильич Ульянов, Пахомий Иванович Андреюшкин, Василий Денисович Генералов, Петр Яковлевич Шевырев, Василий Степанович Осипанов.

Они умирали с возгласом:

— Да здравствует «Народная воля»!

Они умирали, не зная о том, что спасают смертников по делу двадцати одного.

13

В 10 часов утра 26 мая 1887 года в зале 1-го уголовного отделения С.-Петербургского военного окружного суда открылось первое заседание для слушания дела двадцати одного.

Германа Лопатина ввели первым, и это позволило ему одного за другим увидеть всех сопроцессников. Вот вошла, гордо подняв русую голову, Неонила Салова и, увидев друга, улыбнулась и приветно помахала крупной

белой рукой. Василий Сухомлин почти не изменился — такой же длинный, тощий, красивый. Очень сдал Сергей Иванов, хотя позже всех был арестован и всего год просидел в одиночке: и руки трясутся, и седая голова непрерывно вздрагивает. А как сильно потрепала цинга богатыря Василия Конашевича — лицо измученное, морщинистое, бескровное. А вот Стародворский почти не изменился. У маленькой, миниатюрной Генриетты Добрускиной появились белые пряди в черных волосах. Твердо держится, улыбается во весь рот рабочий человек Петр Антонов, а ведь ему грозит самая тяжкая кара.

Последними ввели «пресмыкающихся» — Елько и Гейера. Они сели рядом, под боком жандарма, замершего с обнаженной саблей, и опустили головы, боясь встретиться с гневными глазами своих бывших товарищей.

Весь день читали обвинительный акт.

А потом начались тягостные и никому не нужные допросы. Сергей Иванов так сильно заикался, что председательствующий Цемиров не выдержал:

— Хватит. Вам говорю, хватит. Изложите письменно.

Много времени заняли показания многочисленных свидетелей — в основном дворников и хозяев домов и квартир. Лопатин неожиданно обнаружил, что в зале сидят вызванные для опознания его личности вологодские околоточные надзиратели Воробьев и Алексин... Нашли кого опознавать...

Четвертый день был самым трудным для Лопатина. Секретарь суда медленно и нудно прочел от первой до последней страницы «скорбный список». В этом не было никакой нужды, и защитник адвокат Евгений Утин протестовал: «Большинство пунктов перечислено в «Обвинительном акте», уже оглашенном», но председатель-

ствующий решил еще раз подвергнуть мучительной пытке главного обвиняемого. Как только на стол лег последний, одиннадцатый пергаментный лоскут, Елько злорадно-торжествующе крикнул:

— Вот кто нас всех предал! Слышали, сколько добрых людей затянул в свою похоронку — сотни две, не меньше?

Стремительно поднялся защитник Утин:

— Лжете! По записям Лопатина был арестован всего сорок один человек, причем одиннадцать из них уже освобождены. Вы оговорили куда больше...

— Господин Утин, я не давал вам слова. Подсудимый Лопатин, что вы имеете сказать по поводу только что прочитанного документа?

Лопатин встал, повернулся не к судьям, а к товарищам и заговорил, с трудом сдерживая волнение:

— Находясь на рубеже жизни, я считаю своим нравственным долгом просить у вас, товарищи, прощение за все горести и страдания, невольно вам причиненные... В моих руках была такая масса дел и адресов, что никакая память не могла бы вместить и сохранить их, а потому мне волей-неволей приходилось записывать. Я кочевал из города в город, мне приходилось быть своеобразным справочным бюро...

— Кончайте! Это к делу не относится! — оборвал председательствующий.

— Позвольте мне высказаться. Ведь я молчал, когда вы меня два часа мучили. Товарищи! Не сочтите мой поступок проявлением самонадеянности и легкомыслия. Эти пергаментные лоскутки я всегда держал при себе, готовый уничтожить их в минуту опасности. К сожалению, я не был знаком с новейшими способами арестов, когда среди бела дня в центре столицы, на Невском, вдруг заламывают руки. И все-таки мне удалось в жандармском управлении улучить минуту и сунуть записи

в рот. Но меня схватили за горло и сдавили с такой силой, что я потерял сознание... Мне разодрали десны...

— Кончайте, Лопатин, эту мелодраму.

— Кончаю. Простите меня, если можете, друзья-товарищи, и передайте на волю, что я был и остаюсь честным, преданным нашему общему делу.

Нервы подвели. Лопатин закрыл лицо ружами и заплакал.

Не выдержал, застонал Сухомлин. Зарыдала Генриетта Добрускина.

Председательствующий растерянно объявил перерыв и приказал увести подсудимых в камеры. Выходя Лопатин столкнулся с поджидавшим его Елько.

— Простите меня, Герман Александрович, я был...

— Прочь, Иуда! — крикнул Лопатин. — С глаз долой, предатель!..

2 июня подсудимые получили право на последнее слово. И первому это скорбное право предоставили Лопатину. Он понимал, что от его выступления в какой-то мере зависит твердость духа, стойкость и мужество друзей по несчастью. Теперь в его голосе не было и намека на позорную душевную немощность:

— Было время, господа судьи, когда скамья обвиняемых при судебном процессе была единственной политической трибуной в России, единственным местом, с которого раздавалась смелая и громкая критика общественных зол, провозглашались во всеуслышание идеалы лучшего общественного строя и слышались страстные призывы к скорейшему осуществлению их в жизни. Время это миновало безвозвратно, — и Лопатин повернулся и протянул руку к пустому залу.

Пообещав избавить судей от длинной речи, Лопатин счел нужным объяснить, почему он отрицал свою принадлежность к партии «Народной воли»:

— Если бы я признал мою принадлежность к «Народной воле» при первом же допросе, то, согласно нашим уставам, я должен был и отказаться от всяких показаний и от участия во всей дальнейшей следственной и судебной процедуре; а между тем мне *нужно* было давать показания, чтобы ослабить роковую силу взятых у меня заметок; мне *нужно* было говорить здесь, чтобы защитить перед смертью мою личную честь и интересы моих доверителей и партии. Но теперь, когда эта цель до некоторой степени уж достигнута и когда дело идет только об *ответственности* перед законом, я не боюсь и не стыжусь открыто стать под знамя «Народной воли» и признать себя агентом Исполнительного комитета.

Признав за собой полную ответственность за выпуск газеты № 10 и опубликование в ней написанного им программного «Внутреннего обозрения», Лопатин категорически отверг обвинение в организации нападений на почтовые повозки или средства, явно противоречащие его личным и партийным взглядам.

В полной тишине, не прерываемой оцепеневшими судьями, Лопатин произнес свои последние слова:

— Господа судьи, ваш приговор мало волнует меня. Не примите за дерзость, если я скажу вам, что я не могу видеть в вас моих естественных судей. Мы молимся разным богам, а потому можем только воевать между собою и истреблять одни других, но судить друг друга не можем. И для меня, и для вас есть другой суд, неподкупный, нелицеприятный и строгий, — это суд истории и потомства, суд наших детей и внуков. К этому суду я апеллирую в моем деле; на него одного возлагаю я все мои надежды; ему одному с доверием поручаю я будущую защиту моей памяти.

Я знаю ожидающую меня участь, но она не страшит меня: бывают времена, когда умирать легче, чем жить!..

Моя собственная совесть ни в чем не упрекает меня: я никогда не делал того, что осуждалось моим внутренним нравственным чувством, и никогда не останавливался перед исполнением того, что считал своим долгом, к чему бы это ни приводило меня, а потому могу безбоязненно смотреть в лицо смерти.

Пощады не прошу и *не желаю* — говорю по совести! А потому заранее отпускаю вам суровость вашего приговора... Я сделал *мало* для того дела, которое было всего дороже мне на земле, и *горько сожалею* об этом. Но если я не сумел послужить ему моею жизнью, то знаю, что не осрамлю его своей смертью и сумею умереть так же твердо и безупречно, как жил [146].

...В 12 часов дня 3 июня судьи удалились на совещание. Еще до начала слушания дела товарищ министра внутренних дел заведующий полицией генерал-лейтенант В. В. Оржевский указал прокурору военно-окружного суда — осудить Лопатина, Салову, Сухомлина и прочих *«по законам военного времени»*. Судьи долго не могли прийти к единодушному мнению. Оглашение приговора откладывалось *шесть* раз. Подсудимые не спали и не ели — ждали в камерах решения своей участи. Только в 3 часа утра 4 июня арестантов ввели в зал. Был объявлен приговор, поразивший защитников и присутствующих ведомственных чиновников неслыханной жестокостью: *Герман Лопатин, Неонила Салова, Василий Сухомлин, Сергей Иванов, Петр Якубович, Николай Стародворский, Василий Конашевич, Генриетта Добрускина, Петр Елько, Петр Антонов, Василий Вольнов, Сергей Кузин, Василий Ливадин, Иван Гейер и Макар Попов* — приговаривались «к лишению всех прав состояния и к смертной казни через повешение». Смертники мужественно выслушали тяжкую весть, и только Елько, услышав свою фамилию в одном ряду с Лопатиным, грузно осел на скамью, сунул лицо в широкие ладони.

Народовольцы, осужденные военным судом по делу 21-го в июне 1887 г. (сопроцессники Г. А. Лопатина): Н. М. Салова, В. И. Сухомлин, С. А. Иванов, Н. П. Стародворский, В. П. Конашевич, Г. Н. Добрускина.

Народовольцы, осужденные военным судом по делу 21-го в июне 1887 г. (сопроцессники Г. А. Лопатина): П. Л. Антонов, В. И. Вольнов, С. Е. Кузин, В. В. Ливадин, М. П. Попов, А. Г. Белоусов.

Леонид Ешин и Андрей Белоусов были осуждены на каторжные работы сроком на 4 года. Василий Кирсанов получил 4 месяца тюремного заключения. И только трое — Семен Белоусов, Прокофий Лебеденко, Яков Френкель — по суду были оправданы.

Отлично понимая, что приговор слишком жесток даже «для военного времени», председательствующий генерал Цемиров объявил, что суд счел необходимым войти в ходатайство о замене смертной казни Сухомлину, Вольнову, Кузину, Елько и Гейеру каторжными работами, и пообещал объявить приговор в окончательном виде утром 7 июня, после чего подсудимым будет предоставлено 24 часа для подачи прошений и кассационных жалоб.

В 10 часов утра 7 июня 1887 года Герман Лопатин услышал, что для него, Стародворского, Конашевича, Иванова и Антонова приговор остается в силе — повешение. И случилось непредвиденное — пятнадцать остающихся жить бросились к смертникам, чтобы проститься с ними и пожелать стойкости и мужества. Целуя плачущую Неонилу Салову, Лопатин громко сказал:

— Успокойся. Они боятся нас и не посмеют убить.

Он произнес эти слова только для друзей, тайно надеясь, что трусоватый царь Александр III не осмелится вновь подписать еще пять «висельных дел», ведь не успокоилась, еще осуждает его вся передовая Россия, только что потерявшая пять юных первомартовцев.

Приговор в окончательной форме был объявлен 7 июня, а накануне исполняющий должность прокурора судебной палаты А. М. Волков направил его высокопревосходительству господину министру юстиции всеподданнейшее прошение о смягчении участи осужденных Петра Елько и Ивана Гейера. На левом углу бумаги министр торопливо начертал: «Немедленно препроводить на распоряжение Главного командования войсками Петербург-

ского округа»[147]. Предатели высоко ценились в Российской империи: «нечаянная смертная казнь» была заменена Петру Елько и Ивану Гейеру четырьмя годами ссылки, вскоре измененными на поселение. Елько стал чиновником полицейского управления у себя на родине, в Минской губернии, а Гейер в Ташкенте дослужился до советника областного управления и не раз исполнял обязанности вице-губернатора.

В одиночной камере Лопатин ждал казни. Вечером 7 июня в сопровождении начальника тюрьмы к смертнику зашел его бывший защитник Утин и посоветовал подать прошение о помиловании на высочайшее имя его императорского величества. Лопатин отказался.

— Я напишу прошение о предоставлении мне встречи с Неонилой Саловой. Использую право смертника. А вы передайте по назначению. Вы пришли с бумагой. Дайте листок, я быстро...

Лопатин написал прошение о свидании с подругой, надеясь на исповедь, на изложение самого сокровенного... Ждал жутко длинных восемь дней и не дождался... И еще ждал, когда скажут: «Одевайтесь. Поехали!»

16 июня Герман Лопатин узнал, что государь император соизволил проявить «великую монаршую милость» и заменил смертную казнь всем пятерым заключением в Шлиссельбургскую крепость без срока. Лопатин не обрадовался: смерть без срока — медленная смерть, куда хуже моментальной. Царь решил, видимо, не раздражать общество, не напрашиваться на бомбу, ибо «народовольцы» еще живы, выпустили одиннадцатый номер «Народной воли» и «Листок „Народной воли"». Царь решил, что куда чувствительнее для врагов его будет медленное умирание. «И надо, — подумал Лопатин, — выдержать это тяжкое испытание и остаться человеком».

УСТУПИТ СВЕТУ МРАК УПРЯМЫЙ

1

23 июня 1887 года Германа Лопатина и его четырех сопроцессников привезли в государеву тюрьму Шлиссельбург. Их встретил обрюзгший, почти квадратный человек, позванивающий связкой ключей. Его бритое, мясистое лицо с толстыми багровыми губами показалось знакомым Лопатину. Увидев на пальце толстое золотое кольцо, вспомнил и, тронув казенный халат шагавшего рядом Петра Антонова, громко произнес:

— Смотри, Ирод в Шлюшине царствует!

Сказал и как печать поставил: все заключенные стали звать смотрителя, крещеного еврея Соколова, Иродом, а царскую тюрьму именовать Шлюшин.

У Соколова была прекрасная память. Определив Лопатина в 27-ю одиночную камеру, смотритель сказал, не скрывая своего превосходства:

— А Ирод-то был великим царем иудейским и построил великолепный храм в Иерусалиме. Да, здесь я царь, а ты с сей минуты даже имени не имеешь, не человек — нумер. Нумер двадцать седьмой, и все тут. Таким ты входишь, и таким, даст бог, вынесем отсюда. А пока еще жив, вот прочти «Положение о Шлиссельбургской тюрьме». Пунктик четвертый наизусть вызубри, поскольку тлеть по нему будешь. — И, передав фанерку с наклеенным листом, закрыл на замок дверь...

Лопатин осмотрел камеру, подтянувшись на руках, глянул в окно. Выходит во двор — малюсенькое, но отрада.

Прочел всю инструкцию. Четвертый пунктик был выделен старательным подчеркиванием жирным красным карандашом. Видно, Ирод трудился:

«Заключенные в Шлиссельбургской тюрьме за все нарушения тюремной дисциплины, а также за преступление, признаваемое по отношению к ссыльно-каторжным маловажным, подлежат дисциплинарным взысканиям: 1) Лишение чая. 2) Лишение матраца на койке до 5 дней. 3) Заключение в темном карцере до 5 дней. 4) Заключение в темном карцере на такое же время, с содержанием на хлебе и воде. 5) Злостные нарушители могут быть наказаны розгами до 50 ударов» [148].

Лопатин лег на койку, закрыл усталые глаза. Ирод, царь шлюшинский, по-своему прав: жить не положено, здесь только тлеют. Доходят до готовности надеть сосновый халат. А скорее всего, и такой не нужен, и без

Бывшая государева тюрьма Шлиссельбург (ныне музей «Народной воли»).

оного зароют в песок и притопчут казенными сапогами. А все-таки надо жить, а не тлеть. Что же делать? Как убить время, когда часы настоящей жизни остановились? Книг нет. Даже Библия, которая в Петропавловке была настольной, здесь «не положена». Остается только перелистывать свою жизнь, как большую, изданную в единственном экземпляре книгу. И начать с милого уютного, незабвенного детства. А может, лучше листать ее не подряд, а вперемешку — от первых страниц переходить к середине. Точнее сказать, с университета. В эту пору начались лирические увлечения. Двадцать седьмому больше не дано любить. И это не оговоренное инструкцией, но, пожалуй, самое тяжкое «дисциплинарное взыскание». Не дано любить в настоящем — заново

переживай прошлую любовь. Итак, вспоминай — не спеша, во всех подробностях вспоминай былое, перечувствованное, уложенное в сокровенно дорогую память. Это средство спасало и раньше. И приходилось об этом рассказывать собеседникам. Слушали удивленно и равнодушно. А вот Иван Сергеевич Тургенев сразу что-то записал в свою книжку и сказал сочувственно и проникновенно: «Вы уходили в себя, и прошлое помогало забыть, как бы отстранить тягостное настоящее. Я вас очень, очень хорошо понимаю». И даже пообещал где-нибудь использовать сей остропсихологический сюжет. Да, острее не придумаешь. И одними воспоминаниями не проживешь. Их просто не хватит. Надо говорить, надо мыслить, творить. Все это свойственно человеку, не сошедшему с ума. Не сошедшему. И надо удержаться на уровне здравомыслящего. Надо остаться человеком...

2

Лопатин установил для себя неукоснительный режим. Просыпался в семь часов и десять минут вспоминал что-нибудь приятное, веселое. Делал зарядку. Убирал постель. Вытирал пол. Завтрак, как и обед и ужин, съедал полностью. Утолив прекрасный аппетит, переходил «к общению с номерами Шлюшина». В первые годы соседом по прилегающей камере был Василий Андреевич Караулов — Морской слон, по нелегальной переписке. Кровати были привинчены к одной стене. На второй каторжный день маленьким, как ласточкино яйцо, камешком Лопатин выстучал:

— Кто ты?

Услышав ответное — «Василий Караулов», обрадовался:

— А, Морской слон! Как самочувствие?

— Весьма посредственное. Грегуар, не увлекайся разговорами. Мне дали четыре года. У меня еще есть надежда, что выпустят, а не вынесут.

— Боишься Ирода. Его надо свергать.

— Молчи. Ирод крадется.

При всей своей тучности Ирод обладал легкой, кошачьей походкой и внезапно накрывал провинившихся: за «перестуки» надевал смирительную рубашку и отправлял в карцер. Такая мера наказания инструкцией не предусматривалась, но ведь Ирод был царем шлюшинским. Его все ненавидели и почти все боялись. Это ему врезал в морду медную миску с горячей кашей непобежденный пленник, неистовый боец революции Ипполит Никитич Мышкин, вскоре расстрелянный на Большом дворе. Затравленный Иродом повесился на вентиляторе Михаил Клименко. Вентиляторы во всех камерах спяли, а Соколова-Ирода оставили. И только после того, как вскрыла ножницами вены напуганная избиением сумасшедшего Николая Щербина Софья Гинсбург и сжег себя, вылив на грудь керосин из лампы, Михаил Грачевский, начальство решилось отстранить — «за недосмотр» — Соколова-Ирода...

Жить стало чуть-чуть полегче.

Угнетала невыносимая, затяжная тоска. И Лопатин, как мог, использовал природное чувство юмора. Некоторое время каторжане вели «разговоры» по ватерклозетным трубам. Слышимость была прекрасная, и в часы передач устремлялись к «темным урнам». И вот однажды Лопатин отстучал «оду в гомеровском стиле»:

Оком провидца, пропзая сурово печальные стены,
Зрю пред собой вереницу сводчатых келий.
В каждой из них из угла возвышается темная урна,
Воздух окрест наполняя несущимся вверх ароматом.
К урнам склонившись, сидят на полу богоравные мужи,
Взоры пытливо вперив в ароматную бездну.

Голову мудрую всяк подпирая могучею дланью,
Звукам, из мрака несущимся, ухом привычным внимая.
В первом ряду заседают венчанные лавром парнасцы:
Зрится тут Серж пышновласый[149] и сладкозвучный Морозов.
Далее видится мне Похитонов, развенчанный Гектор,
Саблю и шпоры сменивший на звуко-угрюмые цепи.
Тут же сидит и Щедрин — несказанно причудливый смертный:
Дважды судом осужденный и дважды, как феникс, воскресший.
Возле него мизантроп добродушный — Василий Иванов,
Страшным манером слиявший в себе пессимизм и веселье,
Мрачные взгляды на жизнь с хохотом громким,
Коим не раз он пугал часовых на тюремной ограде.
Далее в самом конце чуть виднеется тускло во мраке
Смелый боец — Конашевич, собрат скандинавского Тора.
Прямо над ним, наверху, из Сибири попавший Буцинский,
Дни свои здесь проводящий в безмолвьи и книжном ученье.
Сонму бессмертных подобно сидит шлиссельбургское вече,
Льется могучим потоком беседа мужей богоравных,
Словно как искры из горна, порхают крылатые мысли,
Жизни загадки мудреные блеском своим озаряя;
Звучными волнами катят сладчайшие речи,
Души людей умиляя и слух благозвучьем лаская.
Чарами новых Орфеев опутаны, словно сетями,
Подле железных дверей молча теснятся жандармы,
Мудрости вещих речей со слезами восторга внимая,
Влажные очи и нос голубым рукавом утирая[150].

Лопатин опустил онемевшую от усталости руку и вдруг услышал громкий, заразительный, здоровый всеобщий хохот. Каторжане смеялись впервые. Смеялась вся тюрьма. Из канцелярии прибежал напуганный этим неслыханным (не сумасшедшим ли?) смехом врач Н. С. Безродный. Замер в изумлении комендант полковник Покрошинский.

По трубе до Лопатина долетела просьба:

— Герман Александрович, повтори, пожалуйста.

Ответил:

— Завтра, в это же время.

Прошло несколько минут, и до Лопатина долетело:

— Герман, голубчик, уважь публику. Вера.

Веру Фигнер любили все. Вере нельзя было отказать. И Лопатин повторил медлительно и важно свою оду. Посмеялись, но не так громко. А на следующий день смеялся только один «смелый боец Конашевич», уже одолеваемый манией величия. Он-то и записал в свою тетрадь лопатинское «сочинение для местного употребления», как определил автор.

Легко рассыпáть шутки, смешить окружающих за столом после бокала вдохновляющего вина, но как тяжело придумать что-нибудь веселое, когда 15-й номер Николай Похитонов вышел на прогулку с протянутой рукой и затянул: «Подайте милостыньку Христа ради рабу божьему Николаю свет Даниловичу». Попробуй-ка сочини что-нибудь веселое, если в соседней камере твой друг-сопроцессник, 29-летний Василий Конашевич, поет охрипшим голосом:

Красавица, отдайся мне,
Мне сладки твои поцелуи...

Или вдруг передает торжественно:

— Слушать всем. По освобождении отсюда, из-под зáмка, я передам остров Борнео на вассальных условиях, которые будут перечислены в конституции Борнео, княжне Ксении. Вильгельм германский, мой родственник, сочувствуя мне, также соглашается принять от меня право на участие в этой кампании. С подлинным верно Конашевич-Сагайдачный.

Больница государем императором не предусматривалась. Чем больше сумасшедших в Шлиссельбурге, тем лучше. И только в 1896 году, после посещения тюрьмы министром внутренних дел Горемыкиным, больных отделили от здоровых. Помог Конашевич, он два часа не выпускал министра, умоляя его принять проекты двух машин: первая изготовляет станок одним поворотом

ключа, другая — проходит насквозь всю землю и извлекает из нее все драгоценности.

Потрясенный всем увиденным, Горемыкин уступил единодушному требованию — разрешить завести тюремную библиотеку. Лопатин, принявший самое активное участие в «обработке» министра, передал Вере Фигнер:

— Уступит свету мрак упрямый. Библиотека — первый светлый луч в темном царстве.

А через час продиктовал стихотворение:

Чего хочу? О так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожмется мозг и разорвется грудь.
Чего хочу? Всего со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвигов хочу,
Хочу любить с безумною тоскою,
Весь трепет жизни чувствовать хочу!

Подождал. Вера Николаевна промолчала. Когда шли во двор на прогулку, напомнил:

— Ну как? Очень альбомно?

— По-моему, недурно. Простучите Морозову. Он маститый.

— Он злой. Написал на меня пасквиль. Завидует, что вы и Людочка Волькенштейн отвечаете взаимностью на мои сердечные излияния в моих альбомных виршах.

— Не будьте столь строги к себе. Я и сейчас помню ваши строчки, отстуканные в день моих именин:

Пусть ты под сводами могилы этой адской
Погребена,
Но ты и здесь любовью нашей братской
Окружена.

Я рада, что так и есть... Это помогает мне существовать.

— Отвечу взаимностью. Я часто вспоминаю ваши строчки, столь благосклонно мне посвященные:

Нам выпало счастье — все лучшие силы
В борьбе за свободу всецело отдать...
Теперь же готовы мы вплоть до могилы
За дело народа терпеть и страдать.

Все это так, только жаль, что мы о народе ничего не знаем. Да и помнит ли народ о нас?..

— Помнит! — твердо сказала Фигнер. — Такое не забывается.

3

...Как-то на прогулке мастер на все руки Михаил Фроленко сунул в халат Лопатина с любовью переплетенную довольно объемистую книжечку для записей:

— Мой подарок. Стихи сочиняешь, а пристроить некуда.

— Спасибо, земляк. Все-таки от безделья рукоделье...

Вечером Лопатин написал на первой странице: «Экзерпта. 1892 г.». И стал ежедневно записывать: свои и чужие афоризмы, эпиграммы, стихи, философские изречения. Вначале — из памяти, самое любимое:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души высокие порывы.
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на гробнице самовластья
Напишет наши имена.

Выписывал кое-что, поразившее глубиной мысли, из книг, не указывая автора и источник. Однажды, в зачитанном, без начала и конца, журнале «Русское богатство» нашел в статье Н. К. Михайловского письмо к нему Г. И. Успенского и переписал его буква в букву:

«Повесть, которую пишу, — автобиография, но не моя личная, а нечто вроде Л. ...Чего только он не видал на своем веку. Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италию, прямо к битве под Ментоной, к Герцену, потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячу верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видел все и вся. Это целая поэма. Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притвориться и частным приставом, и мужиком, и неучем и в то же время может выйти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть» [151].

И переписав, долго сидел неподвижно, закрыв глаза, и вспоминал, когда же это все рассказывалось Глебу Ивановичу, и восхищался памятью друга: все перечислил в должном порядке, только вместо Вологды почему-то поставил Шенкурск... Вологда, Вологда! Сколько с ней связано воспоминаний. Там последний раз видел Бруно. Нет, нет, была еще одна встреча на десять минут в Лондоне, в школе Бруно. А где-то сейчас сын? Жив ли? Письма от родных приходят так редко. Первую весточку прислал брат Всеволод. Сообщил, что мать умерла незадолго до суда над старшим сыном, а отец пережил ее всего на десять месяцев. В конверте, завернутая в пергамент, лежала фотография. На обороте два слова: «Бруно, 1898». Если бы не эта пометка, не узнал

бы сына. Учится на юридическом факультете Московского университета.

Ко дню рождения, 14 января 1900 года, была еще весточка о сыне. В письме ответном поблагодарил Всеволода:

«Большое спасибо тебе за сообщение кое-каких сведений о Бруно. Я очень рад за него. Пусть он живет занимательно, ярко, со всей полнотой и разнообразием житейских впечатлений! Пусть даже самая наука будет для него ответом на спрос собственной души и на требования жизни, а не формальной обязанностью, наложенной обычаем в заранее предустановленных рамках...

О том, как я живу, ты можешь судить и по догадке. Сладости подневольного житья-бытья известны тебе немножко из собственного опыта. Прибавь сюда, что эти сладости вкушаются уже *шестнадцать* лет подряд...

Я только читаю все, что попадет под руку, и дозволяю чужим мыслям катиться по моей душе, как ручей по бесплодной пустыне. Когда же я не читаю, то я не думаю, а мечтаю, переносясь мыслью далеко, далеко назад — чем дальше, тем лучше — чуть ли не ко дню моего рождения...

Он день и ночь, простершись ниц,
Лишь в прошлом мыслию витает
И от немых его страниц
Потухших глаз не отрывает

и т. д.»

И еще прошло два года, и в новом письме из «того мира» были радостные строки о Бруно, прочно ставшем на собственные ноги: принявшем (наконец-то!) русское подданство и получившем должность помощника присяжного поверенного... И было грустно и тяжко созна-

вать, что сын вырос без отца. И писать об этом было трудно:

«...Есть у Бруно знания и их официальное удостоверение в виде диплома. Больно и унизительно мне иной раз подумать, что я ничем не помог ему в этом отношении, тем больше честь его матери, которой удалось справиться с нелегкой задачей в одиночку. Дай бог и дальше им обоим всяческих успехов и счастья!

...Лицом Бруно — вылитый портрет своей матери. Иной раз я просто вздрагиваю, взглянув нечаянно на его фотографию: точно из ее рамки вдруг взглянула на меня его мать!

Сам я могу реализировать себе *взрослого* Бруно только *умом*; в памяти же моего сердца ему всегда не больше 7 лет. Всего чаще мерещится мне: Вологда, раннее утро, Бруно наскучило утреннее одиночество: и вот я чувствую, как мягкие детские пальчики осторожно поднимают мне веки и как тихий детский голосок спрашивает робким шепотом: «Папа, ты спишь?» Затем раздается радостный вопль: «Нет, ты не спишь: у тебя губы смеются!» И те же дерзкие детские пальчики начинают ерошить сверху мои усы, чтобы обнаружить ясней эту предательски обличительную улыбку губ...» [152]

В «Экзерпту» Лопатин записал:

Когда мне судьба задавала
Решить роковые задачи,
Зачем о них думал я мало,
Зачем не решал их иначе?

«Самые мрачные тюрьмы всего ярче освещают узнику его прошлые дела».

Падешь один, один умрешь,
Но, светлый, мощный, величавый, —
Воскреснешь в тысячах со славой
И в миллионах оживешь.

«Нет достаточно дорогой платы на земле за свободу».

«Живи так, как будто живешь последний день».

«Если сердце узко, то что пользы в том, что мир широк».

«Красота, добро и истина — прекрасный девиз... Но если бы мне пришлось выбирать себе девиз, то моим девизом была бы только *истина,* одна истина, а добро и красота должны явиться сами собою».

4

По случаю рождения долгожданного наследника цесаревича Алексея царь Николай II принял 11 августа 1904 года высочайший манифест о предоставлении частичной амнистии политическим заключенным. Шлиссельбургский узник Герман Лопатин, как и его товарищи, ничего не знал об этой шумно разрекламированной «государевой милости». Газеты к каторжанам не впускались. Не знал Лопатин и того, что его брат Всеволод, прочитав манифест, сразу же написал:

«Его сиятельству
господину Министру внутренних дел
коллежского асессора
Всеволода Александровича Лопатина,
проживающего в Вильне, по Тамбовской ул.,
д. 18, кв. 1

Прошение

По силе XXIX статьи *Высочайшего* Манифеста, в 11 день сего августа состоявшегося, даруемые 16—

23 статьями того Манифеста, учинившим общеуголовные преступления, распространяются и на государственных преступников. На основании же 18 пункта XIX статьи Манифеста бессрочная каторга заменяется срочною на 15 лет.

Так как мой родной брат Герман Лопатин, присужденный за государственное преступление к бессрочной каторге, отбывает ее уже 18-й год в Шлиссельбургской крепости, то в силу Высочайшего Манифеста срок каторги для него уже окончился.

Отец наш, умирая (мать умерла еще до суда над братом), завещал мне, как старшему в роде, заботу о его «несчастном сыне Германе». Исполняя волю отца и движимый собственным братским чувством, я имею честь просить ваше сиятельство не отказать сделать распоряжение, чтобы меня уведомили по моему месту жительства:

1) применен ли Высочайший Манифест 11 августа сего года к брату моему Герману Лопатину и в какой мере облегчена его участь.

2) Если Манифест применен, то где в настоящее время находится брат мой или будет находиться в ближайшем будущем и

3) если Манифест не применен, то почему именно» [153].

Сменивший убитого бомбой Егора Сазонова статс-секретаря В. К. фон Плеве генерал-лейтенант князь П. Д. Святополк-Мирский нашел в пухлом деле Лопатина копию донесения об аресте Г. А. Лопатина государю-императору Александру III с его резолюцией: «*Надеюсь, что на этот раз он больше не уйдет*». Министр не осмелился отменить волю покойного царя и написал на прошении В. А. Лопатина: «Не признаю возможным применить к Герману Лопатину Высочайший Манифест 11 августа». Специальным отношением Департамент по-

лиции уведомил просителя о волеизъявлении министра внутренних дел. Но не таков был Всеволод Лопатин, чтобы отступить от истины. 12 декабря он посылает новое прошение министру П. Д. Святополк-Мирскому:

«...Я вновь имею честь просить ваше сиятельство о применении к брату моему Герману Лопатину Высочайшего Манифеста 11 августа 1904 г. Если же ваше сиятельство найдет, что я неправильно понимаю Манифест, то благоволите приказать объявить мне те основания, вытекающие из Манифеста, в силу коих он не может быть применен к брату моему».

«Ваше сиятельство» благоволило — в просьбе «отказать».

Взбешенный вопиющей несправедливостью Всеволод Лопатин послал 27 декабря 1904 года прошение в 1-й департамент правительственного Сената, в котором требовал разъяснить господину министру внутренних дел «обязательность применения к брату моему милости, *Высочайше* дарованной всем, совершившим преступления *до дня* рождения наследника цесаревича».

Разбор прошения в правительствующем Сенате задержался на полгода. Только в июне 1905 года Всеволод Лопатин узнал, что еще в 1896 году министр внутренних дел ходатайствовал перед царем «ввиду особой важности вины Германа Лопатина не представлять оному» милостей, дарованных манифестом 14 мая 1896 года, на что тогда и последовало *высочайшее* соизволение. А посему «не представляется ныне оснований применить к Герману Лопатину милости, дарованные *Всемилостивейшим* Манифестом 11 августа 1904 года, иначе как с *Высочайшего* соизволения, для получения какового Лопатин сам может обратиться с всеподданнейшим ходатайством» [154].

Получив такой ответ, Всеволод Александрович с глубоким огорчением убедился в том, что хлопоты бесполезны: не такой человек Герман Лопатин, чтобы обращаться с «всеподданнейшим ходатайством».

Замкнувшийся круг разорвала революция 1905 года. Напуганный ею царь Николай II издал 21 октября 1905 года указ об освобождении заключенных Шлиссельбургской крепости, 15-летний срок пребывания которых в оной истек к настоящему времени. Ветеранов-народовольцев осталось только восемь, остальные погибли или сошли с ума. 29 октября 1905 года узники Шлиссельбургской тюрьмы попрощались трогательно и взволнованно (многие плакали) с приодетыми в новенькое арестантское обмундирование, прославленными каторжанами: Германом Александровичем Лопатиным, Николаем Александровичем Морозовым, Сергеем Андреевичем Ивановым, Михаилом Федоровичем Фроленко, Михаилом Васильевичем Новорусским, Иосифом Дементьевичем Лукашевичем, Петром Леонтьевичем Антоновым и Михаилом Родионовичем Поповым.

Подъехала лодка, и офицер пригласил Лопатина, его бывших сопроцессников Иванова и Антонова, а также Фроленко «пожаловать на пароходик».

Сели. Лопатин поинтересовался:

— Куда повезете?

— Пока в Петербург. Там на пристани примут...

Вторая четверка была отвезена на такой же небольшой флотский пароходик, и «эскадра» двинулась вниз по Неве.

Лопатин и Фроленко стояли на палубе. День был сереньким, но берега были хорошо видны, и Михаил Фроленко несдержанно, совсем по-мальчишески, ликовал:

— Смотри, смотри, корова пасется, а чуть левее, должно быть, теленок.

— А чуть правее, должно быть, пастух, — рассмеялся Лопатин. — Возвращаемся к познанию мира сего.

— Смотри-ка, баба с коромыслом. И собака. Да ты не смейся. Вот уже двадцать лет, как я видел женщину только во сне. Фигнер и Волькенштейн не в счет — они святые. А грешные только в сновидениях появлялись. Прощай, Шлюшин, лучшую половину жизни отнял ты у меня, окаянный, но я еще поживу.

— Неизвестно, что нас ждет в Питере...

Фроленко потускнел, задумался. И вдруг вздрогнул, схватил Лопатина за рукав:

— Да ты смотри, смотри, какой-то заводик, похоже кирпичный, и люди с красным знаменем. Видишь — *красное*. Что это такое?..

— Вижу — *красное!* Митинг или манифестация. Не понял. Проскочили, — пожалел Лопатин. — Красный цвет — мятежный. Происходит что-то весьма значительное. Завтра узнаем...

Привезли к пристани Петропавловской крепости. Высадили. Ворота оказались закрытыми.

Грустно улыбаясь, Лопатин сказал сопровождавшему офицеру:

— Здесь нас не ожидают. Не нужны. Устарели. Отпустите старцев по домам.

— Эх, если бы это от меня зависело. Потерпите немножко.

— Да мы туда не торопимся. Бывали. Знаем, — сказал Петр Антонов. — Можно на луну посмотреть и на звезды. Считай, двадцать лет не видели.

Ворота открыли. Привели в Трубецкой бастион. Радость померкла. Прощаясь, Антонов сказал Лопатину:

— Вот и вернулись в 1887 год. Держись, Грегуар!

— Держись, Кирилло! Уступит свету мрак упрямый.

На следующий день Герман Лопатин после долгой разлуки встретился с братом Всеволодом и сыном Бруно. Целовал, плакал, спрашивал:

— Да расскажите толком, что происходит. Когда мы сюда плыли, видели в одном месте людей с красным флагом.

— Значит, ты ничего не знаешь, папа? — удивился Бруно. — После манифеста 17 октября о даровании «незыблемых основ гражданской свободы» проходят сходки, митинги, манифестации. Красные флаги повсюду. Кто знает, может, красный флаг будет государственным...

— Подожди, Бруно, — остановил Всеволод племянника. — О политике будем говорить потом, у меня в Вильне. Я хочу взять тебя на поруки, Герман.

— На поруки?! Разве нас не освободили?

— Опасаюсь, что тебя отправят в Сибирь на четыре года.

— Вот тебе и «незыблемые основы гражданской свободы», сынок. Все сложнее, чем нам кажется. Я не могу принять твое предложение, Всеволод. Я всю жизнь платил сам за разбитые мною горшки. У тебя семья. Я не хочу быть нахлебником.

— Позволь, я тебя возьму на поруки, — попросил Бруно. — Я пока один. Мама вышла замуж за вполне обеспеченного человека, Горского, да и сама работает врачом...

— Вышла замуж за Горского, — тихо повторил Лопатин. — Она здорова?

— Здорова. Прости, что огорчил тебя.

— В моем возрасте можно по сему поводу и не огорчаться. А на поруки ты меня взять не можешь. Ты — Барт, а я — Лопатин. И у меня нет документов, чтобы доказать мое отцовство.

— На поруки возьму я, — твердо произнес Всеволод.

— Господа, время вышло, — объявил смотритель. — Прошу в камеру.

Лопатин поцеловал брата, сына, сказал:

— Я подумаю обо всем, подумаю... — и побрел в камеру.

...В защиту восьми ветеранов революционного движения встал трудовой Петербург. Был создан Комитет помощи шлиссельбуржцам, в предельно короткий срок собравший более 2000 рублей. Какие-то дамы прислали ленточный аршин и попросили дать пошивочные размеры всех восьми заключенных для заказа костюмов. Выбранный старостой Лопатин на прогулке «перемерил» товарищей «вдоль и поперек», составил перечень «тощих достоинств» и вместе с ними от имени друзей передал на волю задушевное письмо:

«Вся наша маленькая запертая семья горячо благодарит своих многочисленных неизвестных друзей за их дружескую заботливость и братскую помощь и без всяких колебаний воспользуется ею — сообразно нуждам всех и каждого — с теми же теплыми братскими чувствами, с какими она предложена»[155]. Письмо подписала вся восьмерка.

В газетах появились статьи с требованиями освобождения восьми шлиссельбургских узников. Их родственники писали начальству прошения, в которых изъявляли желание взять на поруки больных и престарелых каторжан. Попытка департамента полиции отправить восемь бывших народовольцев по железной дороге в Сибирь провалилась, — железнодорожники бастовали.

...День 8 ноября 1905 года стал «днем воскрешения» Германа Лопатина. Брат Всеволод и сын Бруно «приняли» его от коменданта Петропавловской крепости и увезли в Вильно.

В Вильно Лопатин находился под полицейским надзором. На Тамбовскую улицу, в дом № 18, где жил Герман Александрович, хлынул поток писем, и он не успевал отвечать родным, родственникам, друзьям и знакомым. Жадно читал старые газеты.

К Новому году прояснилось финансовое положение политического поднадзорного. Александр Никонович Лопатин завещал сыну Всеволоду: «Если несчастный сын мой Герман получит прощение и помилование, то при разделе тобою вышеобъясненного имущества объяви вышепоименованным детям моим, твоим братьям и сестрам, что я *непременно* желаю и *требую,* чтобы каждый из них, как и ты сам, из полученных денег сохранили каждый по 850 рублей и, в вышеобъясненном случае, передали получившему помилование названному брату вашему Герману»[150].

После переписки братья и сестры передали Герману причитающуюся ему долю. Деньги Лопатин вложил в банк, обеспечив себе 240 рублей годовых. Сумма весьма скромная для человека, ничего не имеющего, и Герман Александрович опять завел записную книжку, учитывая в ней каждую израсходованную копейку.

Первым поздравил «воскресшего Лазаря», как шутливо называл себя Герман Александрович, с освобождением Николай Францевич Даниельсон. Завязалась деловая переписка. Даниельсон добровольно взялся за снабжение старого друга политической литературой. Порадовал Германа Александровича, прислав ему ко дню рождения первый том «Капитала» Маркса, оттиски своих статей, напечатанных в журнале «Русское богатство», и книгу Людмилы Волькенштейн — «13 лет в Шлиссельбургской крепости». 7 января 1906 года Лопатин сообщил Даниельсону:

«...Спасибо за посылочку, присланную со Всеволодом. Пенсне пришлось по глазам довольно удачно...

Лист, вложенный в 1-й том «Капитала» Маркса, я, конечно, заметил. В присланном тобой счете меня приятно удивило, что продажа в последние годы не упала, а скорее выросла немного.

За карточку Зины большое спасибо; у Бруно я бы постеснялся спросить; а любопытство-то было большое...

Затесался я недавно в благотворительный концерт, был узнан и в антракте сделался «жертвой» маленькой овации, которую не без труда остановил вовремя, а затем скрылся до окончания торжества. Назавтра одна из местных газет напечатала, что такой-то «почтил своим присутствием» наш скромный праздник» [157].

В переписке возникали дискуссионные споры по самым различным вопросам политики, социологии, истории, философии. Даниельсон выслал в Вильно печатные программы различных русских партий, возникших за время «шлюшинского заточения». С особым интересом знакомился Лопатин с различными статьями социал-демократов. Прочитав «Дневники Плеханова», № 1—4, Лопатин написал 4 марта 1906 года Даниельсону:

«...Я мало знаком с умозрениями и сочинениями Плеханова, но достаточно для того, чтобы согласиться, что не признавать за ним ни ума, ни знаний, ни таланта — значит или лицемерить, или просто ломать дурака...

...Лихорадочно читаю газеты и живу в состоянии непрерывной нервной тревоги о судьбах Отечества и собственной участи, — тревоги, не дающей мне спать дольше трех или четырех часов в сутки...

Посылаю тебе эти строки «воровским обычаем» в недрах старой газеты. Я нередко поступаю так потому, что, по моему мнению, в искусных руках старого контрабандиста это наилучший способ доставить свое письмо *непрочитанным* по дороге» [158].

Внимательно прочитав «Историю Совета рабочих депутатов г. С.-Петербурга», изданную Глаголевым в 1906 году, Лопатин пишет 14 октября Даниельсону: «...ты прав, что судьбище над Советом рабочих депутатов читается с великим интересом особенно мною, которому не довелось прожить этого времени «на людях»: тут и исторические данные, и материалы для историко-философских размышлений и данные для провидений по поводу современных событий, да и мало ли чего тут нет. Изумительно лишь одно: как наше правительство, несмотря на свою феноменальную и общепризнанную глупость, не поняло необходимости прекратить это дело, а еще лучше — совсем не начинать его...

Я рад, что Якубович обратился к тебе, а не ко мне за данными по переводу «Капитала»; во-первых, я мало что помню, а во-вторых, все же биографические вопросы возбуждают во мне неодолимое отвращение, особенно после изнасилования меня американским корреспондентом, в результате чего явилось на свет гнусное литературное чудовище, о котором я доселе не могу равнодушно вспоминать»... [159]

Герману Александровичу очень хотелось видеть друга, и он попросил его приехать в Вильно. Николай Францевич уважил просьбу. Встреча была радостной и полезной. Вспомнили юность, общество переводчиков «Скит», замечательных, незабвенных друзей — Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Петра Лаврова. Лопатин поинтересовался:

— Помнишь, в те давние времена я просил тебя сохранить письма Маркса. Удалось ли?

— Все сберег. И Маркса, и Энгельса. И Тусси. Дело прошлое — она очень любила тебя.

— Знаю.

— Всего не знаешь. После того, как тебя замуровали в Шлюшине, Энгельс и Элеонора постоянно спра-

шивали меня, жив ли ты и когда вырвешься на волю. Петр Лаврович как-то прислал весьма примечательную выписку из письма Элеоноры Маркс-Эвелинг. Я решил устроить тебе свидание с прошлым и захватил ее с собой. Слушай внимательно, что она писала: «Не могу Вам сказать, с какой грустью узнала я об аресте нашего дорогого друга Лопатина. Он провел со мной вечер своего отъезда из Лондона. Мы с ним долго говорили о нем и о делах, и я провожала его с тяжелым предчувствием. Уходя, он обнял меня и сказал: «На этот раз уж действительно прощайте». Но я не хочу отчаиваться. Он к нам часто возвращался уже — он и теперь вернется к нам. Если Вы получите какое-нибудь известие, я была бы очень, очень *благодарна* Вам, если бы вы были добры сообщить его мне. Вы знаете, какими друзьями мы были, и Вы поймете, я в этом уверена, с каким нетерпением я жду малейшего известия».

Лопатин отвернулся, зачем-то протер очки, тихо сказал:

— Спасибо, Фриц. Все так и было. Растрогал ты меня, задел самую чувствительную душевную струну. Я не теряю надежды через два года вырваться за границу. Надо подлечиться и повидаться с друзьями. Обязательно найду Тусси...

— Не найдешь. Умерла восемь лет назад.

— Что ты говоришь!.. А я не знал. Как много людей и событий прошли мимо меня. Ведь двадцать один год я фактически был изъят из жизни. Как они меня ограбили, сволочи!.. Да и не только меня...

— Ты подлечишься... Вернешься к работе... Я верю...

— К работе... Об этом я думал и там, и здесь. Хочется сделать что-то нужное. Значит, ты сберег письма наших общих друзей, и они лежат недвижно. А ведь это документы огромной исторической и политической важ-

ности. Не хмурься, пожалуйста, я понимаю, о чем ты думаешь. Дескать, использовать их адресату неудобно. Разреши, в таком случае, мне перевести эти письма и напечатать их с моими комментариями.

— Охотно. Вот мы оба постарели, а мысли наши совпадают, как прежде. Ведь мы с тобой за двадцать лет ни разу не поссорились. Бери, переводи, печатай. Думаю, что целесообразно поместить эту переписку в журнал, а потом выпустить книгу. Первую книгу избранных писем Карла Маркса и Фридриха Энгельса на русском языке. Думаю, что потомки похвалят тебя за эту работу.

— А я-то при чем? Благодарить тебя надобно. Да, подскажи, как мне получить письма? Я сам приехать пока не могу. А времени терять не следует.

— Я могу привезти, — вызвался молча слушавший разговор Всеволод. — На днях поеду по делам в столицу и захвачу. Прибудут в целости, сохранности.

— Вот и договорились, — обрадовался Николай Францевич.

...Лопатин с большой радостью приступил к работе. Ему удалось отыскать весьма подходящего издателя, знакомого еще по народовольческим делам, Василия Яковлевича Богучарского, затевавшего издание нового журнала «в стиле и духе» закрытого царской цензурой знаменитого «Былого». 6 марта 1907 года Лопатин сообщал Богучарскому:

«Письма М[аркса] мною уже переведены. Их немного: кажется, 18 штук. Письма Э[нгельса] я только начал переводить. Их больше, что-то около 30 штук. Думаю, что письма М[аркса] можно будет пустить и отдельно (если письма Э[нгельса] опоздают к 1-й книжке), особенно, если Д[аниельсон] скоро отделает свое предисловие к ним. Завтра или послезавтра поговорю с ним, а затем с вами. Сейчас до смерти некогда»[160].

Лопатин успешно завершил работу. В первом номере журнала «Минувшие годы» читатели нашли «Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю —ону». Во втором номере публикация была завершена. Здесь же были напечатаны переведенные Германом Лопатиным «Отрывки из писем Маркса и Энгельса к Зорге и Больте». В журнале они заняли всего семь с половиной страниц, а готовил их к печати переводчик почти полгода. Получив от «Шлиссельбургского комитета» 15-рублевое пособие, Герман Александрович решился пойти в книжный магазин. И неслыханно повезло: купил две книги: Карл Маркс. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» — петербургского издательства «Молот», Карл Маркс и Фр. Энгельс. «Буржуазия, пролетариат и коммунизм», изданную Е. М. Алексеевой в 1905 году. Заплатив 25 копеек, спросил приказчика:

— Нет ли у вас еще чего-нибудь Маркса или о нем?

— На русском нет, а вот на немецком есть большая книга, — и приказчик передал покупателю изданный в Штутгарте сборник писем Беккера, Дитцгена, Энгельса и Маркса к Фридриху Зорге. Лопатин полистал, пробежал оглавление и как можно равнодушнее спросил:

— Сколько стоит?

— Полтора рубля.

Лопатин сокрушенно покачал головой:

— Что вы! Очень дорого.

— Да вы посмотрите, какая она толстая. Да и бумага поставлена не чета нашей. И переплет добротный. Загляденье...

— Нет у меня таких денег, — и Лопатин положил книгу на прилавок.

— Ладно, так и быть. Видать, вы человек ученый и книга для дела нужна. Платите рубль.

И Лопатин уплатил.

— Благодарю покорно, — поклонился приказчик. — Заходите почаще. Буду оставлять...

Отодвинув высокую стопку приготовленных к ответу писем, Лопатин сел за книгу и просидел до утра, радуясь возвращению в самый памятный, самый дорогой 1870 год. И как бы заново пережил и споры с Бакуниным и Нечаевым, и встречи с Марксом и Энгельсом, и заседания в Генеральном Совете Интернационала. Некоторые письма имели прямое отношение к русскому революционному движению, к борьбе Маркса и Энгельса с Бакуниным и его приверженцами. В свежих газетах и журналах печатались статьи анархистов, поднимающие на щит Бакунина и Кропоткина и порочащие Маркса и марксистов. И Лопатин решил: нужно перевести и опубликовать те куски писем, в которых правдиво излагается история возникновения и разгрома бакунинского «Альянса» в Интернационале. Заручился поддержкой Богучарского. Написал коротенькое вступление от редакции: «В дополнение к помещенным у нас письмам Маркса и Энгельса к Николаю —ону помещаем некоторые отрывки, относящиеся к России, русским личностям и делам, из писем Маркса и Энгельса к Зорге... Помещаем мы эти отрывки отчасти для полноты картины, а отчасти для того, чтобы показать, что мы были правы, не желая выбрасывать резких мест, касающихся Бакунина, Нечаева и прочих».

Кроме того, Лопатин дал к письмам необходимые поясняющие примечания.

Во второй половине 1908 года в Петербурге вышла книга «Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю —ону. С приложением некоторых мест из их писем к другим лицам. Перевел Г. А. Лопатин».

Более десятка книг выдающихся европейских ученых, историков и философов перевел Герман Александрович на русский язык, но издатели не ставили его имя

на титульном листе, опасаясь русской цензуры. И вот теперь Лопатин радовался, что фамилия его поставлена на самой нужной для его соотечественников, самой дорогой для него книге.

7

В марте 1908 года в русской периодической печати появилось много различных статей о Карле Марксе в связи с 25-летием со дня его смерти. Герман Лопатин внимательно следил за газетами и журналами, извлекая из них юбилейные материалы. Во втором номере журнала «Русская мысль» он прочел страшно возмутившую его статью А. С. Изгоева «К истории российского невежества». Возомнив себя непревзойденным знатоком «Капитала» Маркса, господин Изгоев, натаскав из первого тома неудачно переведенные слова и фразы, объявил всю работу Лопатина и Даниельсона недобросовестной и невежественной.

Лопатин дважды неистово прошелся по статье Изгоева синим карандашом, наставил вопросов и восклицательных знаков и долго сидел, обхватив ноющие виски ладонями, прикидывал, что же предпринять, ведь нельзя оставить «без внимания» этакую гадость. И, ничего не решив, отправился к Николаю Даниельсону.

Рассказав о своих тяжелых хлопотах по выезду за границу на лечение, спросил:

— Просвети, что за фрукт этот самый Изгоев. Полагаю, что сия фамилия — щиток-завеска.

— Изволь. Изгоев — псевдоним Александра Соломоновича Ланде. Способный публицист. Правый кадет. Друг и соратник издателя «Русской мысли» господина Струве.

— Так, так! Теперь становится понятным столь усердная похвальба в адрес переводчиков первого тома «Капитала» госпожи Гуревич и Зака, внимай: «проредактированный П. Б. Струве, который и может считаться *первым настоящим* переводом». Причем, как видишь, слова *«первый настоящий»* старательно выделены. А то, что мы с тобой делали, — не настоящее. Мы всего-навсего носители «русского невежества».

— Тебя-то он вроде бы и похваливает, называет «самым добросовестным».

— Это в начале фразы, а в конце сказано: «Недостаточное знание того немецкого языка, на котором написан «Капитал», а главное, неполное освоение марксовой системы, не продуманной Лопатиным, отымает у его перевода научное значение». И тут же сверхубедительный пример, утверждающий вышесказанное: дерево, срубленное в первобытном лесу, переводчик превращает в дрова. Любой мужик, к сожалению еще не знакомый с Марксом, охотно растолкует «ученому» Изгоеву, что срубленное дерево и есть подлинные дрова.

— Досталось и Любавину. Его перевод первой главы определен как «невежественная стряпня». Изгоеву невдомек, как это делалось, ему ничего не стоит вот так, походя, опорочить профессора Московского университета, всемирно известного ученого-химика, автора многотомной «Технической химии»... Однако не будем впадать в пессимизм. Изгоев, считающий себя законченным марксистом, ничего не сделал для пропаганды марксизма в России. Обратил ли ты внимание на рассуждения сего господина по поводу второго тома «Капитала», переведенного большевиками под редакцией Ленина и Богданова? В этой работе Изгоев отыскал неточности и, в частности, отмечает, что слово «Wert» передано по-старому — «стоимость», а вот у Струве — «ценность». Заметь — *по-старому,* по установленной тобой термино-

логии, мой друг. С эрудицией Ленина я достаточно знаком. Он так «разобрал» мои «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства», что переиздавать их у меня отпала всякая охота.

— Ну, а что же будем делать с Изгоевым?

Даниельсон с силой закрыл журнал и словно бы прихлопнул Изгоева:

— Видишь ли, мне и говорят и пишут об этом подтасовщике и жулике второй месяц. Я отвечу ему, как и подобает отвечать недобросовестным критикам. Уже вел разговор в «Русском богатстве». Обещали напечатать, если все будет улажено в рамках цензуры.

— Превосходно! Не забудь раскрыть явную глупость, а точнее, провокацию господина Изгоева, утверждающего, что «Маркс-политик давно теперь практически оставлен за штатом. Его бесчисленные ошибки как политика, его несбывшиеся предсказания известны каждому». Оказывается, остается в истории только Маркс — социолог и экономист. Вот чего хочется Изгоевым, Струве и прочим пресмыкающимся господам кадетам...

— Мне кажется, что не это главное...

— Не согласен. Это очень важный твой козырь, изволь использовать. И не стесняйся в выражениях. Изгоев — враг, Изгоев — сволочь, и поступай с ним соответственно.

— Подумаю... Учту, — пообещал Даниельсон.

За границей в середине декабря 1908 года Лопатин получил от Даниельсона оттиск его статьи «Добросовестный критик», напечатанной в ноябрьском номере «Русского богатства». Прочел с удовольствием: разбор жульнических махинаций господина Изгоева и конечные выводы у автора обоснованны и остры: «Такое заведомо ложное обвинение затрагивает не только то лицо, на которое направлено обвинение, но затрагивает достоинство всей печати, которую позорят приемы, допускаемые

господами Изгоевыми». Герман Александрович пожалел, что Николай — он не воспользовался его советом о Марксе-политике. А может, цензура не позволила.

8

Вскоре после освобождения из тюрьмы Лопатин получил несколько лестных предложений — написать воспоминания о «прожитом и пережитом». Редакторы и издатели обещали оплатить очерки по высшей гонорарной ставке. Живший в глубокой нужде Герман Лопатин категорически отказывался от каких бы то ни было литературных опытов. Но когда в газетах и журналах появлялись статьи, в которых допускалось искажение исторических фактов, восставала принципиальная честность, торжествовал девиз — «Истина превыше всего». Как только Лопатин прочел в январской книге «Былое» статью народовольца А. И. Иванчина-Писарева «Побег князя П. А. Кропоткина» и обнаружил «явные неточности», сразу же написал заметку «К истории осуждения доктора О. Э. Веймара», заканчивающуюся решительным обвинением «царского правосудия»: «Веймар был осужден в каторгу за дело, в котором он не только не принимал никакого участия, но о котором *он ничего не знал* до самого его свершения» [161].

Горестные воспоминания и размышления вызвали у Лопатина «Воспоминания народовольца» А. Н. Баха, напечатанные в первых трех номерах журнала «Былое» за 1907 год. В период восстановления «Народной воли» Бах выполнял задания Лопатина. В марте 1885 года Бах исчез с глаз полиции — выехал за границу и занялся научной работой [162]. Лопатин решил исправить «мимоходом маленькую аберрацию памяти почтенного автора» по двум пунктам. Во-первых, рассказал, что

«симпатичный» Росси, так «нравившийся» автору, вскоре после своего ареста «вывернул кафтан» и дал обстоятельнейшие предательские показания относительно всех лиц, прикосновенных к убийству Судейкина... Эти показания были *единственною* уликой против Стародворского и Конашевича до собственного сознания Стародворского, которое повлекло за собою и сознание Конашевича. Вторая поправка опровергала утверждение Баха, что он противился помещению в № 10 «Народной воли» некролога о Якове Бердичевском, убитом при попытке экспроприировать денежную сумку в почтовой повозке. Лопатин рассказал, что все было иначе: Бах «всеми силами восстал» против изъятия некролога с первой полосы, и пришлось применить власть Распорядительного комитета [163].

Известный анархист, друг Бакунина М. П. Сажин-Росс, напечатал в журнале «Голос минувшего» воспоминания, в которых высказал весьма субъективные и неверные по существу суждения о Петре Лаврове. Лопатин любил Лаврова, постоянно помогал ему в издательской деятельности, по-дружески критиковал его неверные суждения о некоторых работах Маркса и Энгельса. Во имя сохранения светлой памяти о выдающемся русском революционере, публицисте, историке и философе Петре Лавровиче Лаврове и решил Лопатин «парализовать впечатление, производимое *тоном* рассказов Сажина, его *оценкою* Лаврова, как человека» и исправить вопиющие *фактические* неточности. Так родились яркие, честные, глубокие по анализу минувших событий статьи Германа Лопатина «Из рассказов о П. Л. Лаврове» и «К рассказам о П. Л. Лаврове», напечатанные в историческом журнале «Голос минувшего» в № 9 за 1915 год и в № 4 за 1916 год. В эти тяжкие годы войны и ожесточенных репрессий Герман Лопатин имел мужество смело заявить о том, что он

был и остается приверженцем Маркса и врагом Бакунина, столь ревностно защищаемого Сажиным-Россом. Лопатин писал: «Сочувствие Интернационалу не дозволяло ни одному разумному человеку симпатизировать Бакунину, вся деятельность которого в этом случае явно грозила распадением и гибелью Интернационала. Да и каким образом моральный человек мог сочувствовать и помогать людям, которые публично гремели против централизации, деспотизма, генеральства и самовластия Генерального Совета, а негласно составляли *заговор* не против правительства, а против своих же товарищей единомышленников, — учреждали *тайный союз* (Альянс), имевший целью секретно, неведомо для массы рядовых членов Интернационала, управлять его деятельностью?»

Во имя истины Лопатин опроверг клеветнические измышления Сажина-Росса по адресу Петра Лаврова, показал его сложный, трудный и прекрасный жизненный путь, завершив очерк словами, которые можно было бы выбить на памятнике: «Лавров снова остался стоять на страже революционных заветов, в ожидании подхода новых, молодых сил... И так стоял он, как могучий кряжистый дуб, «светоч, возженный наверху горы», до самой своей смерти, окруженный почтением и симпатиями русских и иностранных социалистов, шедших к нему за участием, советом и посильной помощью и никогда не встречавших отказа в этом со стороны этого несокрушимого человека долга и идеала...» [164].

Лопатин не успел написать работу на главную тему — воспоминания о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе. Известна только живая запись беседы корреспондента М. Неведомского с Германом Лопатиным в связи со 100-летием со дня рождения Карла Маркса, напечатанная в газете «Новый день» 21 апреля 1918 года. Об истории перевода «Капитала» Маркса Герман

Александрович конспективно рассказал в заметке «Свое каждому», помещенной в «Петроградском голосе» 4 июля 1918 года.

9

Шлюшин преждевременно состарил Лопатина, подорвал его богатырские силы. Знаменитый врач и ученый Владимир Михайлович Бехтерев, весьма уважавший Лопатина, посоветовал ему *срочно* выехать за границу для частичного восстановления здоровья. При всем желании Лопатин *срочно* выехать не мог: не разрешал «департамент сердцеведения» (так иронически Герман Александрович называл полицию), да и денег на дорогу и на гонорары дорогостоящим врачам не было.

Любовь Александровна Лопатина-Мартынова тайком написала прошение царю Николаю, в котором умоляла простить ее брата Германа Александровича и разрешить ему выезд в Италию для излечения тяжелых недугов. Одновременно с ней обратились с ходатайством в Министерство внутренних дел заслуженные генералы — артиллеристы Николай и Сергей Лопатины. Разрешение на заграничную лечебную поездку было получено.

К великой радости Лопатина, успешно разрешилась и денежная проблема. Издатель М. В. Пирожков выпустил в переводе Германа Лопатина книгу Ипполита Тэна «Происхождение общественного строя современной Франции». Рукопись перевода отыскала в архиве И. И. Билибина его дочь Лидия Ивановна и вернула автору. Издатель М. В. Пирожков выплатил «уважаемому сотруднику» гонорар по высшей ставке — 25 рублей за печатный лист. Но главную помощь оказали друзья по каторге. Вера Фигнер и Николай Морозов решили издать сборник произведений, сочиненных «по сугубой литографии» в Шлиссельбургской государевой

тюрьме. Попросили Лопатина прислать стихи тех времен. Герман Александрович считал свои «вирши явно не совершенными по форме, сочиненными для местного, сиречь шлюшинского, употребления, к тому же окрашенными злодейскими нотами пессимизма, которые ныне не приемлемы для воскресшего из мертвых автора». Лопатин отшутился. Вера Фигнер обиделась и сообщила автору, что дело это не личное, а общественно-политическое и что она самолично отобрала его стихи для сборника. Лопатин незамедлительно ответил:

«...Я слишком люблю поэзию и слишком смыслю в ней, чтобы принимать свои стихи за поэзию... Они имеют, пожалуй, интерес, особенно сейчас, пока они составляют еще «злобу дня», но в этом смысле они требуют много комментариев и пополнения пробелов. Так, например, «Да будет проклят день, когда» и заслуживало бы, по-моему, напечатания, лишь как первое звено целой цепи вызванных им стихотворений, — твоих, моих и иных.

Первые стансы («Сквозь тюремную решетку»), как мне кажется, затронут за душу только тех, кто пережил нечто подобное и напряженно ловил луч печальной луны в незашлифованный кружок на оконном стекле величиною с гривенник.

Вторые стансы («Последние жизни остатки») отрывочны и звучат неоригинально, каким-то перепевом старого романса.

«На извещение» слабовато, как поэзия.

«На 1890 и 1891 гг.», по-моему, сравнительно недурны, хоть и попадаются довольно неуклюжие обороты.

...Мне не совсем ясно, почему твой выбор остановился для *первого* раза именно на этих пьесах? На мой взгляд, между моими стихотворениями нашлись бы вещи получше, например некрологи (На смерть Грачевского, Варынского, Богдановича, Буцинского и даже

Сестра Г. А. Лопатина Л. А. Лопатина-Мартынова.

Юрковского) [165]... По части настроений (хотя бы и грустных) мне мои «Весенние муки» («За стеной высокой буря завывает») кажутся лучше, чем вторые стансы, но постороннему зрителю, конечно, виднее, и вообще я предпочитаю в этом деле положиться на тебя. Говорю прямо: *самому* мне *стыдно* выступать в публику с *такими* подношениями; сам бы я никогда не справился с выбором, ибо каждая отобранная пьеса сейчас стала бы мне казаться особенно слабою, а потому, если этому суждено было случиться, то я рад, что оно состоялось так неожиданно помимо моего желания и участия, твоей державною волею.

...Когда вздумаешь пустить какие-нибудь из стихотворений в печать, то сообщи мне их первые строчки (одну или две), я загляну в свои дневники и *немедленно* отвечу тебе. Ты наверное поняла меня, что я собрался отослать в «Былое» весь вырученный архив: я хотел отослать только рукописи, писанные рукою Поливанова. Все твое имущество я намеревался отослать тебе, а *свое* немедленно отобрал себе. Быть может, я перелистаю на досуге 2 томика своего дневника, отберу все заслуживающие внимания и сообщу тебе в заглавиях или даже в копиях.

...Условия я приму те, какие примешь ты»[166], — писал Лопатин Вере Фигнер.

В книгу «Под сводами. Сборник повестей, стихотворений и воспоминаний, написанных заключенными в Старой Шлиссельбургской крепости» вошла малая часть поэтического наследия Германа Лопатина — всего 19 стихотворений, но и эта толика очень помогла автору в трудные дни его жизни — он получил возможность выехать в Италию.

10

За границей Лопатин предпринял попытки разыскать свой стокгольмский архив. Ведь в нем были ценнейшие письма: Маркса, Энгельса, Лаврова, Тургенева, Успенского, Огарева, Бакунина, Драгоманова, Михайловского, Клеменца, Даниельсона, Волховского... Еще в 1906 году бывший заграничник литератор Николай Сергеевич Русанов сообщил Лопатину, что его переписку сжег Петр Лаврович Лавров. Герман Александрович не поверил... Искал долго и безрезультатно. И только 18 февраля 1910 года совершенно случайно обнаружил часть своих писем и некоторые документы в квартире дочери Русанова — Наталии, проживавшей в Париже. О находке сразу же сообщил в Петербург ее матери Наталии Федоровне:

«Помните ли Вы, Николай Сергеевич и Мария Петровна (Лаврова) клятвенно утверждали, что моего стокгольмского архива не оказалось у Лаврова. Я ездил разыскивать его в Лондон, Париж, Женеву... и все тщетно. И что же! Вчера он нашелся совершенно случайно в диване у Наташи! Нашел я метрику Бруно и мою переписку с Бакуниным о Нечаеве и массу драгоценнейших для меня материалов. Только все заплесневело.

Вот и верь памяти и уверениям самых добросовестных и правдивых людей. А ведь как Мария Петровна сердилась на меня за мои сомнения»[167].

За границей Лопатину пришлось заниматься весьма неприятным для него и утомительно затяжным делом: Центральный комитет партии социалистов-революционеров упросил его принять участие в следствии и суде над «начальником боевой организации» Евно Азефом. Для разбора этого «грязного дела» были также привлечены П. А. Кропоткин и В. Н. Фигнер. Обличающие материалы представил редактор журнала «Былое» В. А. Бурцев. Упорно и длительно защищали Азефа его дружки-боевики во главе с Борисом Савинковым. И все-таки старым народовольцам, испытавшим тяжелейшие удары от шпиков и провокаторов, удалось полностью разоблачить платного агента департамента полиции. Лопатин потребовал немедленной казни «подлейшего провокатора». После долгих совещаний ЦК партии эсеров одобрил решение судейской тройки и приговорил Евно Азефа к смерти, но он успел скрыться.

Лопатин встретился с Георгием Плехановым, Павлом Аксельродом и многими другими революционерами-эмигрантами, с которыми познакомился еще в прошлом веке. Самым радостным было свидание с Максимом Горьким. Лопатин приехал на Капри, был тепло и радушно принят Алексеем Максимовичем и прожил у него без малого месяц. 31 октября 1909 года Герман Александрович писал сестре Любе: «...на Капри тоже уговаривали меня остаться там или вернуться поскорей. Вот не ожидал я, что этот создатель сверхбосяков, экономических индивидуумов и разного эгоцентрического люда, сам такой нежный, сердечный, привязчивый человек! Веришь ли, что, прощаясь, он не мог удержаться от настоящих слез, чем вконец растрогал меня. Своими нападками на мое литературное бездействие он напо

мнил тебя. «И в этой всеобщей неразберихе Вы отказываетесь поднять свой голос! Да ведь это же чуть не преступление! А какая потеря! Что Вы там толкуете о невыношенности, о безынтересности и тому подобное. Да Ваш простой рассказ, без всякой примеси теории и морализации, освежает, поднимает, облагораживает человека, и так далее». Сюда он прислал мне одну из своих книг с такой надписью, от которой краска бросилась мне в лицо... Был там и его издатель, который соблазнял меня материальными перспективами. Но я пребывал, конечно, лениво (по-вашему) и твердо. Но ради бога — все это *между нами;* а то это может быть принято за самохвальство — да еще чего доброго дойти до его ушей — до человека, которого я сердечно полюбил и уважением которого я очень дорожу»[168].

И Алексей Максимович сердечно полюбил Германа Александровича. 7 декабря 1909 года он послал письмо в Париж жене Е. П. Пешковой, которой не пришелся по душе Лопатин:

«...Прежде всего — буду спорить с тобой: ты говоришь, Лопатин не умен! Думаю, что это не твое, а если твое мнение — оно ошибочно, оно — невозможно, — откажись от него, посмотрев на Лопатина еще раз.

Это человек исключительных способностей, в нем есть задатки гениальности, и в прошлом русской истории я знаю одного человека, похожего на него, — это Герцена, а в современности — только Л. Толстой производил на меня такое глубокое и могучее впечатление. Да, да! Я не преувеличиваю, не увлекаюсь, могу сослаться на Пятницкого, он думает приблизительно так же. А ты — ошиблась. Да еще как! Да будет тебе стыдно...»[169].

...У Горького, на Капри, Лопатин познакомился и подружился с писателем Сергеем Яковлевичем Елпатьевским и философом и публицистом Александром

Александровичем Малиновским-Богдановым. И здесь же впервые услышал «залетного соловья России» — Федора Ивановича Шаляпина.

После памятной встречи на Капри Лопатин прочел новые, неизвестные ему произведения Максима Горького. В письме к своей любимой сестре Любе он советует ей ознакомиться с XVI сборником товарищества «Знание», в котором напечатано начало повести Горького «Мать».

11

...В середине мая 1912 года Лопатин получил письмо от жены сына — Кати. Она сообщала: «У Вас родились две внучки. Скоро им будет уже два месяца». Никакой приписки от Бруно не было. Видно, снова уехал куда-то кого-то защищать. Вот уже десять лет непрерывно и упорно спасает от петли и пули «мучеников правды ради». Начинал не очень-то успешно: на выездной сессии в городе Константинограде был защитником участников «аграрных беспорядков» в Харьковской и Полтавской губерниях, резко выступил против прокурорского произвола и в знак протеста демонстративно покинул судилище, за что и был привлечен к «дисциплинарной ответственности». Поработал вместе с опытным адвокатом Н. П. Карабчевским и набрался у него «уму-разуму». В середине января 1904 года принял участие в нашумевшем на всю Россию «златоустовском процессе». К суду были привлечены рабочие, протестовавшие против расстрела забастовщиков-демонстрантов, осадивших дом губернатора. Бруно Барту и его товарищам по профессии удалось добиться оправдательного приговора. Местное жандармское управление донесло столичному начальству: «Особой рьяностью как во время судебного следствия, так и в своих защитительных речах выделя-

Сын Г. А. Лопатина адвокат Б. Г. Барт-Лопатин.

лись: Мандельштам, Феодосьев, Карякин и Барт... Защитники Барт, Феодосьев, Карякин и Мандельштам несколько раз поднимали вопрос о неправильных арестах рабочих» [170].

Лопатин вспомнил, с каким волнением и гордостью рассказывал Бруно об участии в рассмотрении в Санкт-Петербургской палате дела 44 большевиков во главе с командиром боевой дружины Глебом Бокием. Многие из них были арестованы с оружием в руках. Воспользовавшись этим усугубляющим вину обстоятельством, прокурор требовал смертной казни и каторги рабочим-боевикам. Подсудимые держались мужественно и стойко, они не столько защищались, сколько обвиняли жандармов, следователей, судей. Прокурору так и не удалось применить смертную статью. Подзащитные Бруно Барта боевики Бердников и Кукуричкин получили незначительное наказание — несколько месяцев тюремного заключения. Радостное чувство победы испытал Бруно Барт, защищая в июне 1907 года большевиков Петербургской военной организации: по вынесенному в сентябре приговору 16 человек были оправданы «за недоказательностью обвинения» — среди них был видный партийный работник Николай Васильевич Крыленко. А потом были выезды: в Иркутск по делу Сибир-

ского союза РСДРП и в Тифлис по делу кавказской группы социал-демократов большевиков [171].

Карательные экспедиции, аресты, суды, переполненные тюрьмы — такой видел Россию пребывавший в заграничном лечении Лопатин. Эхо оружейных залпов по безоружным рабочим на Ленских золотоносных приисках докатилось и до местечка Кави, близ Генуи, где нашел временное пристанище Герман Лопатин. Покоя не было и здесь — итальянская полиция пристально следила за «опасным революционером» и сообщала о нем русскому жандармскому корпусу. Лопатин об этом знал: у него был достаточный опыт по изобличению «хвостов, к нему прикрепленных». Он также был осведомлен о тайном просмотре его почты, но это грозящее последствиями просматривание не могло его испугать. В дни газетного ликования и черносотенных манифестаций, прославлявших дарованный России «высочайший манифест правительствующему Сенату по случаю 300-летия царствования дома Романовых», Герман Лопатин с присущей ему политической дальновидностью и глубиной оценок писал 25 февраля 1913 года Н. Ф. Даниельсону:

«...Прочел манифест. Более лукавого, лицемерного, безжалостного и наглого издевательства над всеми надеждами и ожиданиями общества и народа, кажется, никогда еще не бывало! Конечно, нужно понимать его сукопный, казенный язык и знать содержание приводимых в нем статей закона, чтобы оценить по достоинству все несоответствие между его *кажущейся* значительностью и *реальной ничтожностью* и все его свирепое будущее... Указывать тебе на экономические его милости не приходится. Не только ты, но и всякий сравнил, конечно, данные народу «льготы» с теми щедрыми подачками, которые выброшены дворянству и военно-гражданской бюрократии» [172].

12

В июне 1913 года Герман Лопатин вернулся в Россию и решил поселиться в Петербурге.

Долго не мог найти «постоянного угла». Он мог бы остановиться у сына, да и Николай Францевич Даниельсон готов был приютить старого друга, но Герман Александрович никого не хотел «стеснять и обременять своим присутствием», как он писал сестре Вере. Снять комнату не позволяло «изрядно пошатнувшееся финансовое положение». Выручили друзья из «Шлиссельбургского комитета» и влиятельные литераторы С. А. Венгеров, С. Я. Елпатьевский и В. Г. Короленко, выхлопотав комнату в Доме для престарелых писателей.

В столице у Германа Александровича было много добрых знакомых и друзей. Он постоянно встречался с товарищами по «общему народному делу» — с Дмитрием Клеменцем, Александром Иванчиным-Писаревым, Николаем Морозовым, Михаилом Новорусским, Василием Сухомлиным, Верой Фигнер. Был желанным гостем у писателей: Константина Бальмонта, Казимира Баранцевича, Сергея Елпатьевского, Андрея Соболя. Сохранилась записная книжка в кожаном переплете, свидетельствующая о том, что ее владелец, Герман Лопатин, бывал на Свечном переулке, дом 16, квартира 8, у большевика Михаила Александровича Сильвина, а также у публициста-экономиста Александра Юльевича Финн-Енотаевского. Есть в этой книжке и адрес Алексея Максимовича Горького.

Были у Лопатина и враги. 18 октября 1913 года он получил угрожающее анонимное письмо: «Весьма интересен вопрос: на каком основании вы попали в Дом писателей? Не считаете ли вы его приютом для раскаивающихся каторжников? Вы избалованы даровой квартирой с содержанием, отпускавшимися вам добрым

правительством в течение двадцати лет. Не так следовало поступить с вами! Но рано пташечка запела, как бы кошечка не съела!»

Клеветнические анонимные письма посылались и в совет по управлению Дома писателей имени Голубева. Оттуда поступила официальная бумага, запрашивающая, с какого года Лопатин начал литературную деятельность, какие труды вышли отдельными изданиями и в каких журналах участвовал и продолжает ныне участвовать. Подписал ее управляющий Ф. Д. Батюшков. Вопросы были неприятными и трудными. Надо напрячь память и вспомнить работу сорокалетней давности. Своих трудов, выпущенных отдельными изданиями, нет. Конечно, если бы можно было собрать под одну обложку статьи и очерки, напечатанные в журнале и в газете «Вперед!», «Работнике», в «Народной воле», в книге стихов «Из-за решетки», то получился бы весьма солидный литературно-публицистический сборник. А может быть, и два. Но это не было сделано тогда, да и сейчас издать такую откровенно революционную нелегальщину невозможно. Значит, можно поставить в актив только многотрудные и многотомные переводы. Это — тоже творческий труд, да и основной источник существования с 1873 года. К сожалению, под рукой нет книг той поры, и память не сохранила их длинных и сложных названий. Можно было бы пойти в Публичную библиотеку и навести справки, да нет времени, ответ желателен к среде, это значит — к 25 сентября. Ведь могут и выгнать... на улицу. И медленно, тяжко подбирая нужные слова, Лопатин стал писать ответы на вопросы:

«Милостивый государь Федор Дмитриевич!

Жить скромным литературным трудом — переводами с иностранных языков я начал еще на студенческой скамье с 1864 или 1865 г., получая работу из вторых рук,

участвуя таким образом под чужой фирмой в переводе Негера, Отто Улэ и других популярных сочинений по естествознанию. Но позже, когда за мною установилась репутация переводчика трудных сочинений научно-философского характера, я переводил их уже единолично за собственной ответственностью. Существовал почти исключительно литературным заработком в продолжение 20 лет до самого дня моей гражданской смерти, в октябре 1884 года. Вышли в свет в моих переводах с английского:

1. Герберт Спенсер — Основания психологии — 4 тома. Два издания.
2. Его же — основание социологии — 2 тома.
3. Его же — Основание науки о нравственности. 1 том.
4. Карпентер».

Написав фамилию, Герман Александрович долго, мучительно вспоминал название книги, но так и не вспомнил. Не удалось ему восстановить, как назывались и другие переведенные им труды[173], и далее он ставил только фамилии авторов:

5. Тендаль.
6. Аллен-Романес.
7. Клиффорд — 2 тома. Этот труд остался неапечатанным вследствие смерти издателя И. И. Билибина и хранится у меня в рукописи.
8. Сборник статей разных авторов о Дарвине по случаю его смерти.

С французского:

9. Тэн. 1 том.
10. Яголи.

С немецкого:

11. Маркс. Капитал. 1-й том. Собственно говоря, я перевел только $^1/_3$ этого труда, а остальные $^2/_3$ после

моего ареста были закончены двумя из моих друзей, придерживавшихся установленной мною терминологии.

12. Затем, после возвращения меня в среду живых, я напечатал в «Минувших годах» перевод переписки Маркса и Энгельса с Николаем — оном.

13. И статью Бернштейна об отношениях Бакунина с Марксом в разные периоды их жизни. (Точное название этой большой статьи в двух номерах — я позабыл.) [174]

Вот и все, что я *могу припомнить* из числа моих *многочисленных* переводов.

В легальной периодической печати я никогда не участвовал, если не считать кое-каких мелких газетных заметок. Правда, «Современник» перепечатал однажды из зарубежного журнала «Вперед!» мою статью об одной секте — под заглавием «Не наши», — но статья эта не понравилась Управлению по делам печати, т. е., говоря попросту, была вырвана из содержавшей ее книжки журнала.

В настоящее время я занят собиранием и обрабатыванием материалов для моих мемуаров.

Вот все, что я могу сообщить на заданные мне Ваши вопросы.

Примите уверения в моем искреннем уважении

Герман Лопатин» [175].

Опустив письмо, Лопатин с досадой вспомнил, что забыл указать сборник узников-шлиссельбуржцев «Под сводами», в котором напечатан цикл его стихотворений. Ведь если дополнить их уцелевшими в тюремной «Экзерпте» лирическими произведениями, то получился бы самостоятельный поэтический сборник. Не для себя — для всех недоброжелателей, желающих «выжить» из Дома писателей бывшего узника № 27.

Через несколько дней Лопатин встретил Батюшкова, спросил:

— Скажите, пожалуйста, каковы последствия моего письма о трудах праведных?

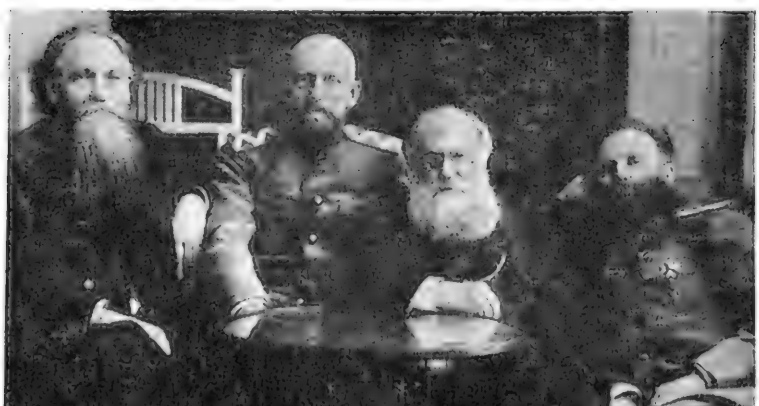
— Комитет литературного фонда с должным уважением отнесся к вашей литературной работе. Вы утверждены во всех правах лиц, проживающих в Доме писателей.

13

13 января 1915 года Герману Лопатину исполнилось 70 лет. Ко дню рождения он получил много писем, телеграмм, нежданных подарков. Сообщая о столь неожиданно-бурном чествовании брату Всеволоду, Лопатин подчеркивал: «Наиболее почетным следует, пожалуй, считать то, что трудовая фракция Государственной думы воспользовалась перерывом прений в бюджетной комиссии, чтобы прислать ко мне депутацию из 4 человек, а наиболее трогательным было то, что эсдекская фракция Думы, сидящая целиком в тюрьме, проведав как-то об этом дне, ухитрилась доставить мне адрес в таких выражениях, которые проняли меня до слез».

Большевики А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов, М. К. Муранов и Н. Р. Шагов писали Г. А. Лопатину:

«Вспоминая Вашу яркую и самоотверженную борьбу за торжество в нашей жизни начал братства и свободы, представители русского рабочего класса считают своим долгом с чувством глубокой признательности отметить, что в среде русских мыслителей, посвятивших себя изучению и разработке проблем социализма, Вы один из первых обратили мысль русского рабочего движения к научным источникам европейского и международного социализма» [176].



Братья Лопатины (слева направо): Всеволод, Сергей, Герман, Николай.

Отвечая на многочисленные приветствия, Герман Лопатин с гордостью писал о том, что «только могучему стихийному движению столичного пролетариата и сельских масс удалось добиться в 1905 году частичного осуществления кое-каких из наших стремлений и вернуть к жизни тех из нас самих, которые не были еще убиты насмерть» [177].

Прошли юбилейные волнения, и к Лопатину вернулись тягостные переживания и заботы, принесенные войной. Еще не улеглась боль потери лучшего друга Феликса Вадимовича Волховского, умершего на чужбине, в Лондоне, 23 июля 1914 года. Хотел написать о нем несколько печальных, прощальных слов и не мог. Попросил Н. С. Русанова, и тот поместил в «Русском богатстве» некролог о талантливом писателе, профессиональном революционере Феликсе Волховском.

Война — бедствие всенародное. Не обошла она и Германа Лопатина, его родных и знакомых. Мобилизован и зачислен рядовым санитаром Бруно Барт. Его мать — Зинаида Степановна Горская, человек профессионального долга, — спасает раненых в полевом госпитале. Собрались было уходить в запас по возрасту братья — генералы Сергей и Николай Лопатины, но война оставила их в строю и направила в действующую армию. Призваны и направлены на Западный фронт племянники... Надели косынки с красными крестами племянницы — сестры милосердия...

И куда бы ни приходил Лопатин, всюду говорили о положении на фронтах, об убитых и раненых близких и о неотвратимо надвигавшемся голоде. И, раздумывая о судьбе отечества, Герман Лопатин все чаще приходил к выводу, что с войной можно покончить только так, как предлагают большевики — свержением самодержавия, революцией...

14

Наступил 1917 год. Больной, слепнущий и глохнущий Герман Лопатин дожил до того счастливого дня, когда наконец-то сбылась его заветнейшая мечта: упрямый мрак уступил свету. В дни Февральской революции Герман Александрович с утра до ночи ходил, опираясь на трость, по улицам и площадям восставшего трудового Питера. Возвращался усталый, подкреплялся черным сухарем и чашкой чая и торопливо записывал только что пережитое:

«Пятница, 24 февраля 1917 г. ...Заводы, фабрики, мастерские бастуют. Трамваи остановились. Невский запружен толпами народа. Вдоль обоих тротуаров полиция конная и пешая, жандармы и войска. Полиция хмурится, но не задирает. Войска же, особенно казаки,

выше похвал. Власти знают, что армия ненадежна и не будет стрелять в голодных... Вечером голодные беспорядки; разгромили и разграбили Филиппова и некоторые другие булочные.

25, суббота... Около 5 часов Невский запружен народом. Много студентов. Видны красные флаги с надписями: «Долой самодержавие!», «Требуем объединенного ответственного министерства!»... На Выборгской рота Преображенского полка, охраняя Литейный мост, оказалась ненадежной. Ее отвели. Полиция стала действовать по-своему, но толпа убила полицмейстера Шалфеева, какого-то частного пристава, одного околоточного и двух городовых... Если бы было объединение, общий план, один управляющий Центр, которому можно было бы подать добрый совет! Ведь если бы массы пошли на Царское Село, то, при общей ненависти к царице, можно смело сказать, что войска не оказали бы сопротивления...

Вечером узнал, что взбунтовался Павловский полк, убил командира и пошел (частично) на соединение с манифестантами. По дороге встретился с отрядом конной полиции и открыл по нему огонь.

28, вторник. Чтобы описать все виденное, пережитое и перечувствованное мною в этот навеки незабвенный для меня день, самый счастливейший день моей жизни, — понадобилось бы целые томы. Конечно, я весь день и вечер провел в толпе восставших рабочих и предавшихся на их сторону солдат, присутствуя при их подвигах и поражениях. Ах, что бы я дал вчера, чтобы бродить под руку с какой-нибудь зрячей спутницей! Мои глаза ведь теперь очень плохи. Попадал, конечно, не раз под обстрел из винтовок и пулеметов, оставаясь стоять даже тогда, когда мои случайные товарищи временно разбегались, ибо быть сраженным пулей в такой

торжественный день на склоне моей жизни... я счел бы за счастье»[178].

Высокий, седой, худощавый старик превращается из свидетеля в участника событий. Поздно вечером 28 февраля Герман Лопатин участвовал в заседании думского совета. Утром к нему пришел связной-солдат и принес пакет. Лопатин вскрыл и вытащил кусочек картона, на котором крупно напечатно:

«Билет для входа на совещание Советов рабочих и солдатских депутатов делегату Лопатину»[179].

Герман Александрович тихо спросил связного:

— Простите, товарищ, я сомневаюсь, нет ли здесь ошибки? Ведь я, кажется, и не избирался делегатом.

Солдат лукаво улыбнулся:

— Вы приглашены, как почетный делегат, товарищ Лопатин. Ошибки не может быть. Почетных-то, знаете, раз-два и обчелся. Билет этот вам — в порядке особого уважения.

— Понятно. Передайте товарищам, пославшим вас, что я приду на совещание. Непременно буду!

Солдат по-военному повернулся, вышел.

Лопатин долго смотрел на билет, пытался разобрать подписи члена Исполнительного комитета и секретаря, но так и не осилил торопливо оборванные фамилии...

На совещание Лопатин прибыл за десять минут до начала. Какие-то незнакомые люди встретили его с искренней радостью и теплотой и провели в президиум. Прищурясь, напрягая зрение, Лопатин всмотрелся в бывший Думский зал и увидел, как в тумане, простых людей в пиджаках и гимнастерках.

Председательствующий, прежде чем объявить совещание открытым, представил собравшимся испытанного профессионального революционера, каторжанина, томив-

шегося более 20 лет в одиночной камере, ныне почетного делегата Совета Германа Александровича Лопатина.

И Лопатин встал и по русскому обычаю низко поклонился новым хозяевам Таврического дворца. Грохнули, гулко раскатились по белоколонному залу дружные аплодисменты. Они показались слишком долгими и громкими. Оглушенный и потрясенный ими, Герман Александрович впервые со щемящей грустью подумал о том, что этот дружески-приветственный гул относится к его далекому прошлому, к узнику № 27. После «воскрешения из мертвых» он слишком долго приходил в себя, пять лет лечился за границей и, к глубочайшему сожалению, мало сделал доброго и нужного для своего народа. И горько и обидно, что вот сейчас, когда ум и опыт так нужны вот этим пришедшим к власти людям, у него гаснет зрение и слух и какая-то еще не установленная, но беспощадно-неумолимая болезнь сковывает все тело...

И все-таки Лопатин находит силы, чтобы включиться в общую борьбу. Он не может мириться с преступной медлительностью Временного правительства по изоляции царской фамилии. 3 марта Лопатин пишет открытое письмо военному министру А. И. Гучкову, в котором настоятельно требует немедленно прервать царское путешествие в верноподданническую ставку Главного командования и незамедлительно отстранить великого князя Николая Николаевича от общего командования всеми действующими армиями.

Сомневаясь в исполнительности и добросовестности бывшего монархиста, а ныне министра, Лопатин обращается с письмом в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором подчеркивает «три опасные ошибки»:

1) отпуск бывшего государя в ставку;

2) передачу командования всеми армиями в руки великого князя Николая Николаевича;

3) удержание членов царствующего дома во главе крупных войсковых частей [180].

Лопатин убедительно настаивает: во имя сохранения завоеваний революции необходимо арестовать последних из дома Романовых...

15

...Светлый вечер 3 апреля был тихим и теплым. Герман Лопатин, опираясь на трость, медленно шел по своему прогулочному маршруту — от Карповки к Кронверкскому проспекту. Его сопровождала внимательная и заботливая спутница, соседка по дому, Вера Ивановна Засулич.

На Каменноостровском проспекте было шумно и людно: спутников обгоняли о чем-то оживленно беседующие прохожие. Лопатин вежливо остановил пожилого человека, судя по одежде мастерового, и поинтересовался:

— Скажите, пожалуйста, куда это так спешат люди в пасхальный-то день? Да и вы, вижу, торопитесь.

— А как же! Ведь Ленин приехал. Выступал на Финляндском вокзале и с балкона дворца Кшесинской. Так что и вам советую прибавить шагу.

— Благодарю покорно!

— Ленин приехал! — удивленно и взволнованно повторила Вера Ивановна. — Теперь надо ждать крупных перемен. И в столице и на местах. По всей России.

— Не слишком ли вы преувеличиваете значение этой личности? Мне рассказывали о Ленине разные люди: Горький и Плеханов, Сильвин и Анжелика Балабанова, и супруги Лафарг. Довелось мне и читать кое-что из его сочинений. И у меня сложилось впечатление, что

Ленин — последовательный марксист, талантливый журналист и волевой политик. И, если хотите, весьма доброжелательный и отзывчивый человек.

— Доброжелательный к друзьям! А своих идейных противников люто ненавидит. Я прекрасно знаю Ленина, и дружила и ссорилась с ним еще во времена «Искры». Он никогда не останавливается на полпути к цели. В его руководящем «Письме из далека», напечатанном намедни в «Правде», прямо говорится о переходе ко второму этапу революции — к завоеванию так называемого социализма.

— Позвольте, позвольте! Я тоже читаю «Правду», встречаюсь с социал-демократами, и у меня сложилось мнение, что они не отрицают Учредительное собрание.

— Не обольщайтесь! Все будет зависеть от того, каков установится состав Учредительного собрания. При нынешней многопартийности и многопрограммности большевики, как мне кажется, при выборах не получат абсолютного большинства. А Ленин ни с кем власть делить не будет. А вы вроде бы ускорили шаги. Хотите услышать Ленина?

— Естественно! Очень хочу увидеть и услышать, но, к горести моей, мне этого уже не дано...

Вера Ивановна деликатно промолчала, и до самого дворца Кшесинской они шли молча.

Огромная, настороженно-тихая, простонародная толпа окружила угол здания, выходящего на Кронверкский проспект. Все смотрели на маленький балкон, с которого выступал невысокий, плотный, высоколобый человек. И Лопатин тоже запрокинул голову, но расстояние мешало его слабым глазам рассмотреть оратора. Тихонько тронул руку спутницы, спросил:

— Говорит Ленин?

— Он самый...

— Весьма сожалею, что ничего не слышу.

— А вы другим не мешайте! — оборвал рядом стоящий человек в кепке.

Лопатин согласился и стоял неподвижно, удивляясь тишине и нескрываемой радости присутствовавших на этом необыкновенном митинге. И когда оратор кончил и все ударили в ладоши, он тоже поаплодировал, удивив своим поведением Засулич. А когда они шли обратно, Лопатин спросил:

— Что же он говорил?

— Я расслышала только последние, усиленные голосом, лозунговые слова: «Да здравствует социалистическая революция!»

— Выходит, что вы были правы. Знаете, что меня поразило — это какая-то непередаваемая радость стремительного сближения оратора и слушателей. Они же его не знали до сего часа, а слушали как своего, близкого им человека. Это редкое, я сказал бы, даже уникальное качество. Мне часто приходилось выступать на разных митингах и сходках, но вот такого незыблемого единодушия я никогда не видел.

— В этом вы правы! Влияние этого человека на простых людей беспредельно. Да что там говорить, вы-то не простой, а вот тоже поддались и захлопали в ладоши. За компанию.

— А знаете, мне такая компания определенно нравится. Ведь это — честные, сильные, работящие люди. И само собой разумеется, им принадлежит будущее.

16

16 октября 1917 года Герман Лопатин получил от нарочного глубоко взволновавшее его письмо члена комитета беспартийных Балтийского флота М. Н. Давыдова:

«Глубокоуважаемый Герман Александрович!

Михаил Петрович Миклашевский передал мне по телефону Ваше согласие *выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание* от округа Балтийского флота, не откажите, если не изменили своего согласия, выдать предъявителю сего удостоверение, форма прилагается.

По округу флота полагается два кандидата, второй по нашему списку пойдет Магнитский — матрос, правый эсер, безусловно порядочный человек, бывший председатель Центрального комитета Балтийского флота. Но вернее, мы выставим только одного кандидата, ибо Магнитскому, наверное, не разрешит партия принять кандидатуру от группы беспартийных. По округу заявлены только кандидатуры большевиков Ленина[181] и Дыбенко (товарища председателя последнего съезда Советов Северной области) и социалистов-революционеров. Ввиду этого мы, вообще не занимающиеся политикой, были вынуждены срочно начать хлопотать об оборонческом списке, поэтому все так и делается наспех.

Посылаем два удостоверения на случай Вашего выступления одним и второе — совместно с Магнитским. Из партийных организаций имеем поддержку от эсеров и, вероятно, группы «Единства», но они обе слабы. На успех есть надежда, если большевики к моменту выборов окопфузятся. По выяснению каких-либо новых обстоятельств буду Вас уведомлять»[182].

Герман Александрович обхватил виски ладонями, задумался.

Посыльный, молодой, обветренный и загорелый матрос, потоптался, неловко напомнил:

— Просили не задерживать бумаги. Говорят, дело срочное.

— Вот что, уважаемый товарищ матрос, передайте гражданину Давыдову, что такие ответственные дела наспех не свершаются. И еще скажите — я не разделяю

выраженной в его письме надежды, что большевики к моменту выборов оконфузятся. Их влияние неуклонно растет.

— Да и я так думаю, товарищ Лопатин, поскольку у нас на Балтийском флоте, считай, каждый третий — большевик.

— А вы сами?

— В партии пока не состою, но Ленину весьма сочувствую.

— Значит, если дело дойдет до голосования, кому вы отдадите предпочтение — Ленину или Лопатину?

— Ну зачем вы так... товарищ Лопатин.

— Да вы не стесняйтесь. Начистоту.

— Если начистоту, то скажу — что вам, пожалуй, не устоять. Возраст у вас весьма преклонный. А Ленин, я его видел и слышал, можно сказать, в самом расцвете. Голова!

— Да, голова у него великолепная. Спасибо за откровенность, мой дорогой друг.

— Вы не обижайтесь.. Я передам Давыдову, что дело слишком серьезное и вы решили подумать.

— Вот, вот, так и передайте. И еще скажите: врачи настоятельно советуют мне ложиться в больницу.

17

Октябрьскую революцию Лопатин встретил неизлечимо больным. Врачи установили роковой диагноз — рак желудка и поместили в Петропавловскую больницу. Свое переселение Герман Александрович подытожил грустной шуткой:

— Свою сознательную жизнь я начал в Петропавловской крепости двадцати лет и кончаю на семьдесят третьем — в Петропавловской больнице.

Радовался, когда приходили старые, добрые друзья. Часто навещал отца Бруно с женой Катей. Как-то он привел дочерей Елену и Нину. Девочкам шел седьмой год, они помнили дедушку веселым, высоко подбрасывающим их и качающим на руках и пригорюнились, увидев незнакомые впалые, желтые щеки и высохшие, костлявые руки. Они принесли что-то сладкое в пакетиках, и дед не стал их огорчать — принял и горячо поблагодарил, но когда сын уходил, сунул их ему в карман, наказав:

— Мне это ни к чему. Время трудное, береги маленьких...

Однажды вечером он услышал в палате до боли знакомые шаги. Он узнал бы их из тысячи тысяч. Приподнялся, не веря глазам своим, изумленно спросил:

— Это ты? Зинаида Степановна, Зина...

— Это я. Ты лежи, лежи спокойно. Тебе вредно волноваться.

— Я давно перестал волноваться. Как здоровье? Чем занимаешься?

Зинаида Степановна присела на стул, отвела за ухо седую прядь, сказала, хорошо улыбаясь:

— Пока здорова. Работаю по специальности, которую ты мне дал. Не возражай. Не нужно. Я — в госпитале. В тифозной палате. Лечу красноармейцев.

Лопатин посмотрел на тронутое морщинками, усталое и все-таки красивое лицо. Покачал головой:

— Ведь это очень опасно.

— Ты часто говорил мне там... В те наши лучшие годы... удирая в Россию, — у человека должны быть незыблемо постоянными — чувство долга и чувство свободы. И нужно ли говорить сейчас о чувстве долга врача.

— Хорошо. Не будем. Только ты береги себя. Бабушка...

— Постараюсь.

— Вот и договорились. Спасибо тебе за Бруно. Он хороший человек. И близнятки у него чудесные. Ты поцелуй их за меня...

— Да ты не волнуйся. Это тебе не свойственно...

Подошла сестра. Поставила на столик лекарство.

Зинаида Степановна встала, легко коснулась губами лба больного и быстро вышла.

Лопатин выпил микстуру, повернулся к стене. Долго не мог успокоить, отодвинуть прошлое — и радостное и горестное одновременно. И сожалел и укорял себя, что так и не успел сказать о самом главном: при первой встрече в Вильно и вот сейчас.

18

28 декабря 1918 года в Смольном состоялось первое собрание новоизбранного Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Делегатам было объявлено печальное известие: 26 декабря, в 6 часов вечера, в Петропавловской больнице окончался известный русский революционер, друг Маркса и Энгельса, каторжанин Герман Александрович Лопатин.

Избранники народа, заполнившие исторический Актовый зал, встали и скорбной минутой молчания почтили светлую память своего выдающегося соотечественника.

Собрание приняло обращение к трудовому Петрограду, которое было напечатано на первой полосе «Петроградской правды» 31 декабря:

«Сегодня похороны *Германа Лопатина.*

Товарищи, умер народоволец *Герман Лопатин.*

Чтя революционную память одного из виднейших участников «Народной воли», Петроградский Совет рабочих и красноармейских депутатов на заседании от

28 декабря постановил принять похороны за счет пролетарского государства.

Петросовет призывает почтить память *Германа Лопатина* широким участием в его похоронах».

...Рано утром, 31 декабря, у Дома литераторов, на Бассейной улице, 7, стали собираться с венками и знаменами представители заводов и фабрик, общественных организаций и воинских частей.

В 10 часов 30 минут под звуки похоронного марша ветераны-революционеры вынесли гроб и поставили на катафалк.

...Похоронили Германа Александровича на Волковом кладбище, по соседству с его другом Глебом Ивановичем Успенским.

С прощальными словами выступила подруга по каторжному Шлиссельбургу Вера Николаевна Фигнер.

Николай Морозов прочел стихи, посвященные памяти друга.

От Петроградского Совета должен был произнести речь член Исполкома Максим Горький, но волнение и душевная боль помешали ему сказать то, что он думал о Лопатине. Уходя с кладбища, он сказал сыну умершего Бруно Германовичу:

— Хотел выразить последнее прости и не мог. Извините великодушно. Может, что-нибудь изображу на бумаге.

Вечером Алексей Максимович записал:

«Хоронили Германа Лопатина, одного из талантливейших русских людей. В стране, культурно дисциплинированной, такой даровитый человек сделал бы карьеру ученого, художника, путешественника, у нас он двадцать лет, лучшие годы жизни, просидел в Шлиссельбургской тюрьме» [183].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (ЦГАОРСС), ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1501, л. 2.

[2] Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 30, л. 2.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 25, лл. 5—6.

[4] Г. А. Лопатин имеет в виду В. Д. Костомарова (1837—1865), поэта-переводчика, участника нелегального кружка для литографирования запрещенных сочинений, выдавшего поэта-революционера Михаила Илларионовича Михайлова. По поручению III отделения В. Д. Костомаров изготовил подложные документы для процесса Н. Г. Чернышевского (ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 26, лл. 18, 20).

[5] Государственный исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО), ф. 14, оп. 25, д. 21, л. 1.

[6] В своей автобиографии Г. А. Лопатин указывает: «Родился 13 января 1845 года в г. Нижнем Новгороде. Рос с 5-летнего возраста в городе Ставрополе (Кавказском)...» (Музей Великой Октябрьской социалистической революции в Ленинграде, фонд Г. А. Лопатина).

[7] ГИАЛО, ф. 14, оп. 1, ед. хр. 6241, л. 8.

[8] Там же, л. 7.

[9] Там же, л. 19.

[10] Там же, л. 20.

[11] Имеются в виду: министр императорского двора граф В. Ф. Адлерберг, внук А. В. Суворова военный губернатор С.-Петербурга князь А. А. Суворов и камергер, состоящий при министерстве иностранных дел, князь К. А. Суворов.

[12] К. А. Тимирязев напечатал в журнале «Отечественные записки» за 1864 год работу «Книга Дарвина, ее критики и коммента-

торы». Первое отдельное издание этих статей под заглавием «Краткий очерк теории Дарвина» вышло в С.-Петербурге в 1865 г.

[13] Имеется в виду студенческая касса взаимопомощи и общественная библиотека.

[14] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 22, л. 32.

[15] «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте», СПб., 1865, стр. 160.

[16] Имеется в виду А. А. Слепцов — один из деятельных организаторов общества «Земля и воля».

[17] Журнал «Голос минувшего», 1918, № 10-12, стр. 161—162.

[18] Сейчас набережная Кутузова.

[19] На Английской набережной, дом 30 (ныне набережная Красного Флота).

[20] А. М. Никольский перевел книгу Р. Оуэна «Об образовании человеческого характера». Издана без указания автора и переводчика И. И. Билибиным в 1865 г.

[21] ГИАЛО, ф. 14, оп. 5, ед. хр. 2360, л. 24.

[22] «Герман Александрович Лопатин (1845—1918)». Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография. Подготовил к печати А. А. Шилов. Петроград, 1922, стр. 21—23.

[23] Там же, стр. 25—26.

[24] Ныне Красная улица.

[25] ГИАЛО, ф. 14, оп. 5, ед. хр. 2360, л. 24.

[26] Там же, л. 26.

[27] ГИАЛО, ф. 14, оп. 11, ед. хр. 435. Диссертация Германа Лопатина «Самопроизвольное зарождение», л. 1.

[28] Там же, л. 3.

[29] ГИАЛО, ф. 14, оп. 5, ед. хр. 2360, л. 33.

[30] Ныне Гражданская улица.

[31] «Герман Александрович Лопатин (1845—1918)», стр. 31—32.

[32] Н. Ф. Бельчиков. Рублевое общество. «Известия Академии наук», 1935, № 10, стр. 951.

[33] Там же, стр. 962.

[34] Там же, стр. 967.

[35] «Герман Александрович Лопатин (1845—1918)», стр. 35—37.

[36] Там же, стр. 43.

[37] Лопатин имеет в виду С. Г. Нечаева, с которым М. Ф. Негрескул познакомился во время поездки за границу в 1869 г.

[38] Речь идет о Н. И. Любавине.

[39] Г. А. Лопатин пишет об Иване Ивановиче Билибине, в квартире которого жил в 1867—1868 гг.

[40] Члены «Скита» — кружок переводчиков, возглавляемый Н. Ф. Даниельсоном, в который входил Г. А. Лопатин в 1866—

1868 гг., переводил книгу К. Маркса «К критике политической экономии».

[41] Брошюры Лассаля переводил брат Г. А. Лопатина — Всеволод.

[42] «Герман Александрович Лопатин (1845—1918)», стр. 44—45.

[43] Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР, фонд канцелярии наместника, связка 5915, дело 46.

[44] Там же, дело 44.

[45] «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 132.

[46] Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде (ЦГИАЛ), ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 272, лл. 41 и 60.

[47] Там же, л. 50.

[48] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», М., Политиздат, 1967, стр. 159—160.

[49] ЦГАОРСС, ф. 109, ед. хр. 415, л. 3.

[50] Прогрессивно настроенный помещик П. А. Бахметьев передал в 1858 г. А. И. Герцену часть своего состояния на нужды русской революционной пропаганды. До 1869 г. Бахметьевский фонд оставался неприкосновенным.

[51] Имеется в виду Н. Ф. Даниельсон.

[52] «Cahiers du monde russe et sovietique» vol. VII. Paris, 1966. 4-e Cahiers, pp. 460—476 («Записки русского и советского мира», т. VII. Париж, 1966, 4-я книжка, стр. 460—476).

[53] Там же, стр. 486.

[54] Там же, стр. 682.

[55] Маркс писал Лопатину о третьем судебном процессе над членами парижской федерации Интернационала, происходившем с 22 июня по 5 июля 1870 г. Обвиняемых судили за принадлежность к Интернационалу.

[56] «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе». М., Политиздат, 1969, стр. 129—130.

[57] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 33—35.

[58] «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», стр. 135.

[59] Там же, стр. 139—140.

[60] См. К. Маркс. Капитал, т. I (1872 г.), стр. 92, примечание переводчика, помеченное звездочкой.

[61] В 100-летний юбилей выхода первого тома «Капитала» на русском языке газета «Правда» 8 апреля 1972 г. отмечала: «Создание национальной терминологии в области той или иной науки само по себе — научное достижение. Уже благодаря одному этому первый перевод «Капитала» можно рассматривать как исключительное, поистине этапное явление в истории русской экономической мысли».

[62] «Генеральный Совет Первого Интернационала». Протоколы. 1870—1871. М., Политиздат, 1965, стр. 32.

[63] Там же, стр. 26.

[64] Эмиль Оливье — французский буржуазный политический деятель, глава кабинета министров в 1870 г.

[65] «Генеральный Совет Первого Интернационала», стр. 52.

[66] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 283, л. 37.

[67] Это поручение Лопатина В. В. Берви-Флеровский выполнил — письмо-конспект было отправлено К. Марксу 11 мая 1871 г.

[68] Речь идет о французском журнале «Позитивная философия», о вышедшей в С.-Петербурге в 1869 г. книге Е. В. Де-Роберти «Политико-экономические этюды» и о статьях Н. Г. Чернышевского по крестьянскому вопросу из журнала «Современник». Все эти материалы были получены Марксом.

[69] Имеется в виду статья П. И. Якоби и В. А. Зайцева «О положении рабочих в Западной Европе с общественно-гигиенической точки зрения», напечатанная в «Архиве судебной медицины и общественной гигиены», в 3-ей книге за 1870 г.

[70] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 185—186.

[71] ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, д. 259, л. 609.

[72] Там же, л. 616.

[73] «Герман Александрович Лопатин (1845—1918)», стр. 64—65.

[74] Государственный архив Иркутской области (ГАИО), ф. 24, оп. 4, д. 62, л. 49.

[75] Там же, л. 119.

[76] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 196.

[77] Там же, стр. 197.

[78] Там же, стр. 200.

[79] Там же, стр. 204 и 205.

[80] Там же, стр. 233.

[81] Там же, стр. 241.

[82] Там же, стр. 261.

[83] Там же, стр. 275—276.

[84] Там же, стр. 277.

[85] Там же, стр. 279.

[86] Там же, стр. 281.

[87] ГАИО, ф. 24, оп. 4, д. 62, л. 166.

[88] Телеграмму о побеге Г. А. Лопатина генерал-губернатор Н. П. Синельников послал в С.-Петербург только 20 августа 1873 г.

[89] В статье «Благодушное правительство и его лакеи» все факты принадлежат Г. А. Лопатину. Корректуру статьи он послал П. Л. Лаврову 2 марта 1874 г. (ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, д. 283, л. 267).

[90] Имеется в виду великий князь Николай Константинович Романов, изобличенный в краже бриллиантов.

[91] Журнал «Вперед!», 1874, № 3, стр. 102.

[92] «Volksstaat» («Народное государство») — центральный орган немецкой социал-демократической рабочей партии. Письма Г. А. Лопатина о царской «амнистии» были перепечатаны в этой газете в июле 1875 г.

[93] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 315.

[94] ЦГАЛИ, ф. 285, оп. 1, ед. хр. 15, л. 31.

[95] Очерк «Из Иркутска», газета «Вперед!», 1875, № 10.

[96] Газета «Вперед!», 19 сентября 1875 г., № 18. Авторство Г. А. Лопатина установлено по рукописи в ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 283, л. 177.

[97] Газета «Вперед!», 19 сентября 1875 г., № 18. Авторство Г. А. Лопатина установлено по рукописи в ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 283, л. 179.

[98] Газета «Вперед!», 19 декабря 1875 г., № 24.

[99] Газета «Вперед!», 3 марта 1875 г., № 5.

[100] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, д. 283, л. 174. Под буквой «О» Успенский имеет в виду А. А. Ольхина — сотрудника революционных изданий. «Б» — А. И. Богданович, литературный критик.

[101] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 283, л. 175. Фельетон «Шила в мешке не утаишь» был напечатан в газете «Вперед!», 3 января 1876 г., № 25.

[102] «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», стр. 150.

[103] Газета «Вперед!», 19 июня 1875 г., № 12. «Новая песня» была напечатана в России в нелегальном сборнике «Стихи и песни» в 1886 г. без подписи автора, стр. 9—10. В изданной в Париже в 1898 г. книге «Новый сборник революционных песен и стихотворений» «Новая песня» подписана криптонимом Л. В выпущенном «Советским писателем» в 1968 г. сборнике «Поэты-демократы 1870—1880 годов» «Новая песня» предположительно приписана П. Л. Лаврову, авторство которого устанавливается недавно полученной ЦГАОРСС из Амстердама копией письма П. Л. Лаврова к Г. А. Лопатину («Советские архивы», 1973, № 5, стр. 91).

[104] ГИАЛО, ф. 253, оп. 6, д. 157, л. 15.

[105] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, д. 283, л. 173.

[106] Там же, л. 161.

[107] Там же, л. 108.

[108] «Из-за решетки». Женева, 1877, стр. VIII.

[109] ЦГАЛИ, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 78, л. 3.

[110] М. П. Драгоманов. Воспоминания о знакомстве с И. С. Тургеневым. Казань, 1906, стр. 17.

[111] Лопатин имеет в виду мирный договор после русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

[112] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 353—354.

[113] Второй том «Капитала» вышел в 1885 г.

[114] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 357.

[115] «Научно-информационный бюллетень сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса». М., 1972, № 22, стр. 30—31.

[116] Стрелял в генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна студент Л. Ф. Мирский.

[117] Курсы находились при Алексеевской женской гимназии на Гороховой улице (ныне ул. Дзержинского), д. 20.

[118] Г. А. Лопатин был арестован на Владимирской ул., д. 7, кв. 20.

[119] Е. Е. Коведяев был привлечен к дознанию по делу Г. А. Лопатина и заключен в Петропавловскую крепость. 9 апреля 1880 г. по высочайшему повелению дело Коведяева было прекращено.

[120] По сообщению Н. В. Клеточникова 26 марта 1879 г., «Третье отделение просило не давать свидания кому бы то ни было с Германом Лопатиным, чтобы не повредить выдавшему его лицу» (Архив «Земли и воли», 1932, стр. 175).

[121] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, д. 284, л. 1.

[122] А. А. Абаза — государственный контролер, председатель департамента экономии Государственного Совета; один из лидеров либерального крыла русской бюрократии.

[123] «Литературное наследство», т. 73, кн. II. «Наука», 1964, стр. 43—44.

[124] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, д. 283, л. 233.

[125] Архив «Земли и воли», 1932, стр. 172.

[126] Там же, стр. 178.

[127] В. Ф. Антонов. Герман Лопатин. Липецк, 1960, стр. 100.

[128] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 484.

[129] Там же, стр. 485.

[130] «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», стр. 199.

[131] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 487.

[132] В письме к А. Ю. Фини-Енотаевскому 6 июля 1906 г. Г. А. Лопатин сообщает о письме К. Маркса в «Отечественные записки»: «Хотя это письмо дошло в Россию и через меня (перевод не мой), но мне не довелось говорить по его поводу лично с Марксом, а получил я его от Энгельса». Впервые это письмо было напечатано в России нелегально в 1885 г. В Женеве П. Л. Лавров напечатал письмо К. Маркса в редакцию «Отечественных записок» в «Вестнике Народной воли», № 5, за 1886 год.

[133] «Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе», стр. 200—202.

[134] «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», стр. 635.

[135] ЦГАОРСС, ф. 1762, оп. 4, д. 283, л. 326.

[136] Там же, л. 331.

[137] Газета «Народная воля», 1884, № 10.

[138] Архив Музея Октябрьской социалистической революции в Ленинграде, ф. II, № 14143.

[139] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 24, лл. 2 и 3.

[140] Там же, л. 4.

[141] Ныне Тарту Эстонской ССР.

[142] Газета «Народная воля», сентябрь 1884 г., № 10.

[143] Ныне ул. Радищева.

[144] ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 530, ед. хр. 1079, л. 2.

[145] ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 86, ед. хр. 10937, л. 283.

[146] «Советские архивы», 1970, № 6, стр. 26—28.

[147] ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 86, ед. хр. 10937, л. 325.

[148] Архив Института русской литературы (АИРЛ), ф. 534, оп. 1, д. 85, л. 1.

[149] Сопроцессник Лопатина — Сергей Иванов.

[150] Е. Е. Колосов. Государева тюрьма Шлиссельбург. Ленинград, 1924, стр. 104.

[151] Г. Лопатин. Экзерпта, стр. 196. Музей Октябрьской социалистической революции в Ленинграде, инв. № 213.

[152] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 9, л. 8.

[153] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 53, лл. 1—2.

[154] Там же, л. 4.

[155] В. Ф. Антонов. Герман Лопатин, стр. 145.

[156] АИРЛ, ф. 534, № 16.

[157] Архив Музея Октябрьской революции в Ленинграде, ф. II, № 12711/1, л. 2.

[158] Архив Музея Октябрьской революции в Ленинграде, ф. II, № 12722/6.

[159] Там же, № 1722/8.

[160] АИРЛ, ф. Р-III, оп. 2, № 2304, л. 1.

[161] «Былое», 1907, № 3, стр. 122.

[162] В 1917 г. А. Н. Бах вернулся в Россию и после Октябрьской революции стал крупным ученым-биохимиком, академиком, Героем Социалистического Труда.

[163] «Былое», 1907, № 4, стр. 298—299.

[164] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1.

[165] Эти стихотворения не были напечатаны, и рукописи их пока не разысканы.

[166] ЦГАЛИ, ф. 1185, ед. хр. 558, лл. 2—3. Упомянутый в письме Петр Сергеевич Поливанов — узник Шлиссельбургской тюрьмы—вел записи «перестукиваемых» стихов. Два томика дневника, о которых пишет Г. А. Лопатин, не разысканы.

[167] ЦГАЛИ, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 19, л. 33.

[168] ЦГАЛИ, ф. 1329, ед. хр. 17, л. 1.

[169] Архив Горького, т. IX. М., 1966, стр. 96.

[170] М. Л. Мандельштам. 1905 год в политических процессах. М., 1931, стр. 117.

[171] С 1912 по 1915 г. присяжный поверенный Б. Г. Барт провел свыше 300 защит по политическим процессам (Ставропольский краевой архив. Личное дело Б. Г. Лопатина-Барта).

[172] Архив Музея Октябрьской социалистической революции в Ленинграде, ф. II, № 12722/13.

[173] На основании переписки Г. А. Лопатина со своими друзьями можно утверждать, что им переведены следующие книги: Вильям Карпентер. Столоверчение и спиритизм. С исторической и научной точек зрения. 1876 г.; Грант Аллен. Виньетки с натуры; его же. Научные доказательства органического развития Джорджа Романеса; Ипполит Тэн. Происхождение общественного строя современной Франции, книги I—V, 1880 г. Все эти книги изданы И. И. Билибиным.

[174] Г. А. Лопатин имеет в виду статью Эдуарда Бернштейна «Карл Маркс и русские революционеры», напечатанную в журнале «Минувшие годы», № 10 и 11, за 1908 г.

[175] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1.

[176] Архив Государственного исторического музея, ф. 282, д. 375, л. 133.

[177] ЦГАЛИ, ф. 1329, д. 13, л. 21.

[178] «Одесские новости», 12 марта 1917 г.

[179] ЦГАЛИ, ф. 1329, ед. хр. 38, л. 180.

[180] АИРЛ, ф. 504, № 11.

[181] В. И. Ленин дал согласие баллотироваться в Учредительное собрание от Балтийского флота.

[182] ЦГАЛИ, ф. 1329, оп. 1, ед. хр. 34, л. 2.

[183] М. Горький. Собр. соч., т. 24, М., 1953, стр. 275.

За оказанную помощь в работе над этой книгой автор приносит глубокую благодарность внучке Г. А. Лопатина — Елене Бруновне Лопатиной, а также историкам Анастасии Константиновне Воробьевой, Степану Степановичу Волку, Василию Федоровичу Антонову, Ивану Семеновичу Вахрушеву и Маргарите Григорьевне Агафоновой.

Николай Кондратьев

ОГЛАВЛЕНИЕ

Питомец университета 7
Выстрел, всколыхнувший Россию 62
Идите в народ! 127
Надо бежать 175
«Наш общий друг» 214
На волю! 270
Сердца для чести живы 314
Главное — оставаться человеком 378
Уступит свету мрак упрямый 436
Примечания 495

Николай Дмитриевич Кондратьев

ПОКА
СВОБОДОЮ
ГОРИМ

Редактор Н. Л. Ватагин
Художник О. В. Титов
Художник-редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Л. М. Ван-Заам.

Сдано в набор 21/XII 1973 г. Подписано к печати 5/VIII 1974 г. М-21376. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Усл.-печ. л. 22,05. Уч.-изд. л. 22,09. Тираж 15 000 экз. Заказ № 487. Цена 85 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57